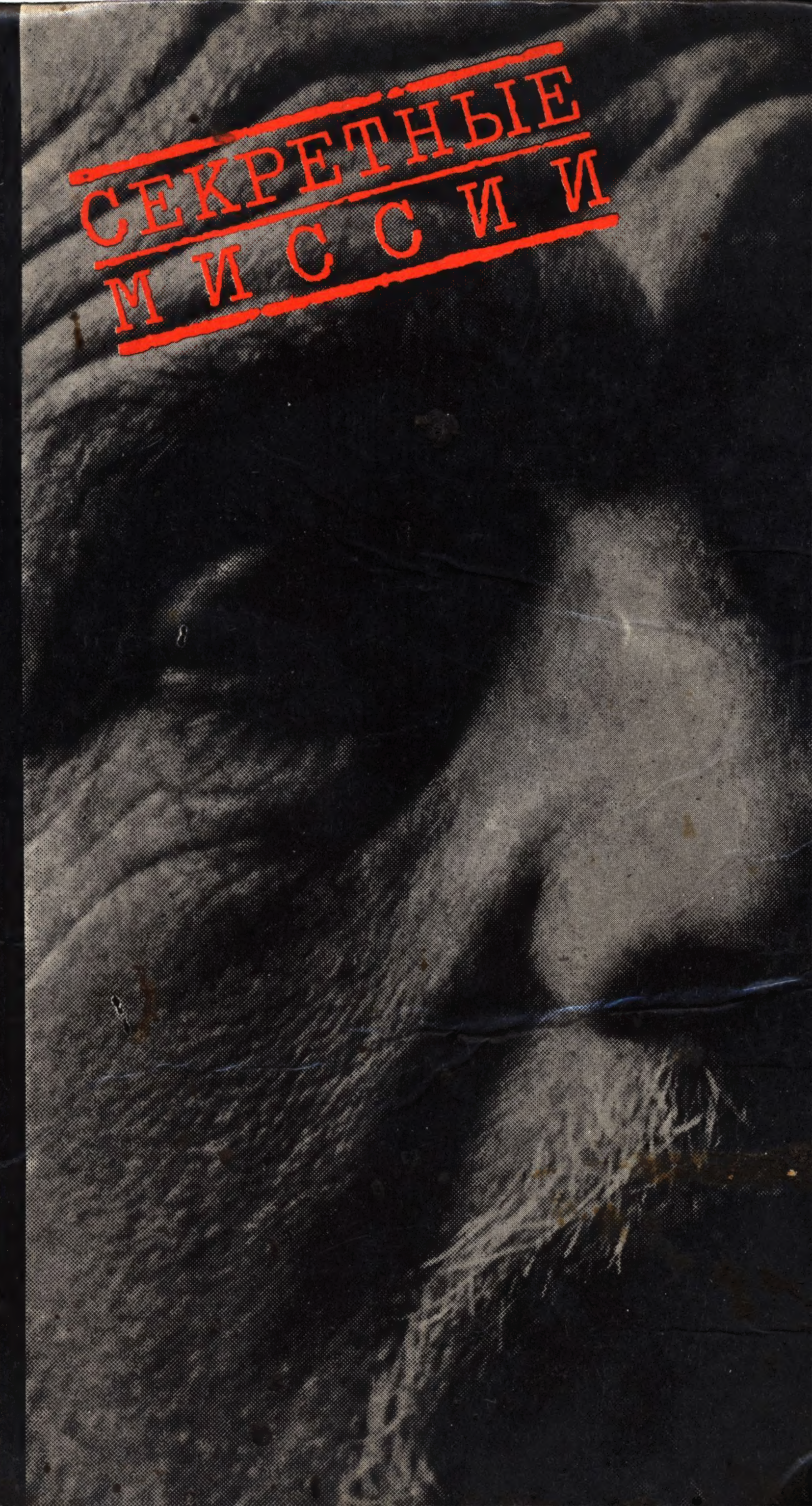
Джордж Блейк ИНОГО ВЫБОРА НЕТ





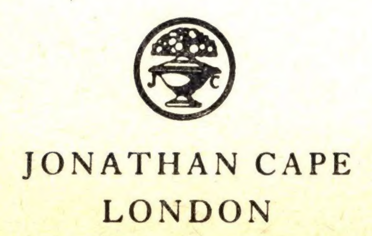
СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ



George Blake

NO OTHER CHOICE

An Autobiography



JONATHAN CAPE
LONDON

Джордж Блейк

ИНОГО ВЫБОРА НЕТ

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1991

ББК 63.3(06)
Б68

Перевод с английского **М. Г. Каминарской,**
М. Ю. Корнеева

Блейк Дж.

Б68 Иного выбора нет: Пер. с англ. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 320 с.

ISBN 5-7133-0427-2

Данная книга – увлекательный рассказ о жизненном пути разведчика-профессионала. Автор, он же главный герой, знакомит с "кухней" западных спецслужб, прежде всего Интеллидженс сервис, известной ему по собственному опыту. Детство, семья, участие в голландском Сопротивлении, служба в Королевском военно-морском флоте, корейская война и плен, мучительные нравственные искания, работа в резидентурах, арест, суд, тюрьма и побег – такова нить автобиографического повествования, перерастающего в остросюжетный детектив. Завершают книгу глава о жизни автора в СССР, размышления о былом и взгляд на кризис, переживаемый нашим обществом.

Для широкого круга читателей.

Б $\frac{0503030000 - 049}{003(01) - 91}$ КБ – 5 – 6 – 1991 **ББК 63.3(06)**

ISNB 5-7133-0427-2

О Джордже Блейке и истории его выбора

Воспоминания Джорджа Блейка вводят читателя в духовный мир разведчика, в мотивы его действий, в моральные нормы его поведения. В книге показана глубина переживаний человека, стремящегося найти свое место в многоплановой борьбе, которая происходила и в новых формах еще продолжается между двумя мировыми политическими системами. И в этом отношении воспоминания Блейка уникальны.

В момент, когда в международных отношениях начинается новый этап, книга Джорджа Блейка приобретает особое значение, поскольку разведывательные службы сохраняются не столько как средство политической борьбы (хотя и она еще не прекратилась), сколько как способ контроля за развитием международной обстановки, проверки выполнения международных договоренностей, все более определяющих перспективы сотрудничества между государствами. Новое мышление, которое бурно ворвалось в международные отношения, заставляет руководителей разведывательных служб и правительства ведущих стран по-новому осмысливать роль и место спецслужб в современном мире. Нельзя сказать, что правительства уже сегодня готовы четко определить новые задачи разведок, допустимые и перспективные методы их действий. Известен ряд директив президента США Джорджа Буша в области разведки, во многих странах обсуждаются проблемы взаимоотношений и контроля за деятельностью спецслужб со стороны исполнительных и законодательных органов власти.

Интерес к делу и истории Дж. Блейка не спадает. Зарубежная, и прежде всего, конечно, английская, пресса часто воз-

вращается к теме разведывательной деятельности Блейка, поскольку еще многие вопросы остались без ответа. Когда он стал советским разведчиком? Не был ли он уже в молодости внедрен в английские спецслужбы? Почему не оправдала себя система проверки при зачислении его на службу в Интеллидженс сервис?

Это не праздные вопросы. Система подбора кадров в английскую разведку, да и в спецслужбы других стран, призвана оградить этот особый вид деятельности от случайных людей и вместе с тем отыскивать таких представителей молодежи, которые по своим личным, деловым качествам, морали и интеллекту соответствуют высоким требованиям, предъявляемым к разведчику. Читая воспоминания Дж. Блейка, убеждаешься в том, что он обладал всеми этими качествами. Что же произошло? Почему Блейк, Маклейн, Берджисс, Филби и другие выдающиеся английские разведчики перешли на другую сторону? Блейк дает ответ за себя. Аналогии с другими могут быть только самыми отдаленными. Судьба каждого из названных разведчиков и иных, назвать которых время еще не пришло, по-своему уникальна.

Советские люди в последние годы узнали многое о деятельности советской разведки, и все же этого ничтожно мало. Народ должен знать своих героев и страдальцев, хотя имена многих не могут быть названы.

В период, когда человечество начинает дышать свободнее, когда опасность глобального военного конфликта отодвигается в прошлое, мы, оглядываясь назад, с глубокой признательностью отдаем должное тем, кто помогал отвратить от Европы грозившую всем нам катастрофу, кто в самый трудный период "холодной войны" встал между двумя мирами, преградив путь конфликту. Почетное место среди них занимает Джордж Блейк.

Английские власти успокоились, когда упрятали, казалось бы, навсегда, Джорджа Блейка за решетку. И вот спустя пять с половиной лет ему удается невероятное – побег из тюрьмы. Он запутал следы и как будто провалился сквозь землю. По крайней мере, высококвалифицированная английская полиция не смогла его обнаружить. А в это время с помощью добрых друзей и сподвижников по разведывательной деятельности он устраивал свою жизнь в Москве.

Некоторые из тех, кто помогал Блейку совершить побег, опубликовали книги воспоминаний о нем, но, естественно,

они не могли достаточно полно рассказать о его необычной жизни и деятельности.

Воспоминания самого Джорджа Блейка, изданные недавно в Англии, Франции, Голландии, Норвегии, позволили приоткрыть завесу тайны над его жизнью и деятельностью. Зная Джорджа много лет, я поражаюсь и восхищаюсь самообладанием и оптимизмом этого человека. Его не сломили тяжкие испытания: борьба с фашистскими оккупантами в рядах голландского Сопротивления, плен во время корейской войны, наконец, годы тюремного заключения...

Дж. Блейк приветствовал окончание "холодной войны" и наступление эры гласности в Советском Союзе. Гласность позволила говорить в полный голос о том, о чем раньше не осмеливались даже шептать друг другу на ухо. Гласность дала возможность Дж. Блейку, уступая настойчивым просьбам с разных сторон, наконец рассказать о себе.

Характер и обстоятельства разведывательной деятельности не располагают к ведению дневников и записям о переживаемых событиях, но память у разведчиков, как правило, цепкая. Воспоминания Блейка, передающие обстановку в Европе в канун и во время второй мировой войны, а также последовавшей за долгожданной победой над гитлеризмом "холодной войны", которая вполне могла перерасти в "горячую", являются ценнейшим человеческим свидетельством. Мечты о вечном мире, которые лелеяли народы в период невыразимых страданий второй мировой войны, быстро поблекли. Разведчики с обеих сторон, которым предстояло работать теперь уже против бывших союзников, первыми ощутили разочарование.

Блейку выпал сложный жизненный путь, полный неожиданных поворотов и внезапных ситуаций, требовавших принятия мгновенного решения.

Детство Джорджа прошло в Голландии, в Роттердаме, а затем в Шевенингене близ Гааги. Его отец родился в Константинополе, где его предки нашли приют после бегства из Испании в конце XV века. Отец Джорджа учился в Сорбонне и вступил добровольцем во Французский иностранный легион. Позднее он перешел на службу в английскую армию на Ближнем Востоке. Как полагает сам Джордж, благодаря знанию турецкого и других языков отец был привлечен к разведывательной деятельности. За большие военные заслуги он получил британское гражданство. Последним армейским

назначением отца был Роттердам, где он участвовал в организации возвращения на родину английских военнопленных, освобожденных из немецких лагерей после первой мировой войны.

Мать Джорджа происходит из интеллигентной голландской семьи, давшей стране врачей, священнослужителей и архитекторов.

В духовном формировании Джорджа большую роль сыграло то, что юношеские годы он провел в доме сестры отца, бывшей замужем за богатым каирским коммерсантом. Интернационализм, в лучшем смысле этого понятия, во многом объясняется происхождением и окружением Джорджа. В доме каирской тети близкие родственники имели гражданство различных стран. Сама тетя и ее муж – итальянское, другой дядя (по отцу) обладал египетским паспортом, младшая сестра отца сохранила турецкое гражданство, один из двоюродных братьев имел французское, другой – египетское гражданство. Сам Джордж был гражданином Великобритании.

Читатель, несомненно, почувствует необычность биографии Дж. Блейка. Очевидно, что детство и юность как нельзя лучше подготовили его к той сложной деятельности, которой он себя посвятил.

В Каире Джордж получил хорошее образование сначала во французском лицее, а затем – в английском колледже. Его двоюродные братья рано включились в политическую жизнь. Один из них изучал Маркса и Ленина и был убежденным социал-демократом, другой стал одним из основателей Коммунистической партии Египта. Несомненно, благодаря их влиянию Джорджа заинтересовали идеи научного социализма. Тем не менее он серьезно взвешивал перспективу получить богословское образование и стать священником. Однако под воздействием складывавшейся в Европе обстановки Джордж пришел к убеждению о необходимости политической борьбы. Из воспоминаний Блейка следует, что разведка является не только одной из возможных форм политической борьбы, но в определенных условиях наиболее целесообразной, если не единственно возможной ее формой.

"Секретная" жизнь Джорджа Блейка началась в годы второй мировой войны, когда он выполнял обязанности связного в голландском движении Сопротивления. О его странст-

виях в оккупированной немцами Европе можно было бы написать отдельную увлекательную книгу.

Военную службу Джордж проходил в английском военно-морском флоте. В последний год войны он – уже на службе в Ителлидженс сервис. Участвуя в организации разведывательной деятельности в оккупированной нацистами Европе, Блейк убедился в значимости разведки для борьбы с нацизмом и, что было не менее важно, для определения будущего Европы. В рамках сотрудничества британской и голландской разведок он непосредственно занимался подготовкой и засылкой агентов на территорию Голландии, включая тех, кто мог бы возглавить восстановление демократического порядка в послевоенной Голландии.

Трудно без волнения читать о тяжелых потерях, которые несли английская и голландская разведки в результате нередких провалов. Джорджу Блейку безусловно удалось сохранить объективность в описании и больших успехов в деятельности английской разведки, и ее серьезных просчетов. Так, в ходе операции "Северный полюс" немецкой контрразведке удалось поставить под контроль работу 18 агентурных групп, заброшенных английской и голландской разведками. И все из-за того, что в Лондоне вовремя не обратили внимания на отсутствие оговоренных условностей в работе агентурных радиопередатчиков. Проведение этой операции позволило нацистам захватить 49 агентов союзников, выявить 430 связей в голландском движении Сопротивления и сбить 12 английских бомбардировщиков.

Представляют безусловный интерес воспоминания Блейка о первом послевоенном периоде, когда на высшем уровне руководства английской разведкой производилась оценка расстановки сил в мире после войны и разрабатывалась новая структура разведки. Как пишет Блейк, уже тогда было ясно, что главными объектами ее деятельности будут Советский Союз, новые социалистические страны Восточной Европы и международное коммунистическое движение. Речь идет о корнях "холодной войны", наложившей столь мрачный отпечаток на значительный период мировой истории.

В наши дни, когда "холодная война" объявлена законченной и делаются попытки разоблачить ее инициаторов и виновников, воспоминания Блейка неопровержимо свидетельствуют об активном привлечении разведок к операциям "холодной войны". Повествование Дж. Блейка заставляет заду-

маться, была ли "холодная война" неизбежным следствием второй мировой войны и где причины того, что союзники по антигитлеровской коалиции оказались на пороге новой схватки – уже между собой.

Вскоре после победоносного завершения второй мировой войны Блейк был переведен в Гамбург, где стал руководить передовой группой английской военно-морской разведки. В интересах решения оперативных задач, поставленных перед ним, ему пришлось устанавливать контакты с офицерами германских вооруженных сил, которым он еще совсем недавно слал проклятья и с которыми боролся. В его новом положении офицеры побежденной германской армии представляли собой многообещающий "человеческий материал" для использования в борьбе против коммунизма и Советского Союза, который, согласно распространенной тогда точке зрения, являл собой нового врага и главную опасность для западной цивилизации, западного образа жизни. Блейк не скрывает, что разделял этот взгляд.

Руководством Интеллидженс сервис Джордж был направлен на учебу в Кембриджский университет. Ему предстояло пройти подготовку по русскому языку.

Вспоминая учебу в университете, Блейк говорит о том глубоком воздействии, которое оказали на него изучение русского языка и знакомство с русской культурой. До этого Джордж не делал большого различия между понятиями "русский" и "советский" и поначалу видел в русских полудикарей, угнетаемых жестокой, безбожной диктатурой, которая неустанно преследовала все христианское. Под влиянием учебы, талантливых профессоров и чтения произведений русских писателей у Джорджа рос интерес ко всему русскому, менялись взгляды. У него появилось чувство восхищения русским народом, его добросердечностью и великодушием, отвагой в борьбе с агрессорами с востока и запада. Поражало бесконечное терпение этого народа, столько страдавшего от своих собственных тиранов.

Не один Дж. Блейк с симпатией и признательностью отзывается о системе подготовки в Кембриджском университете по русской и советской проблематике. Автору этих строк пришлось быть непосредственным участником открытых политических дискуссий, устраивавшихся различными колледжами с приглашением советских специалистов. И это в один из самых острых периодов "холодной войны"! Старшее поко-

ление помнит, что в то время (в начале 50-х гг.) в советских вузах любое доброе слово в адрес "капиталистического Запада" предавалось анафеме.

Практическая разведывательная деятельность во время войны, дополнительная подготовка в Кембридже, рекомендация руководства разведки – и Джордж становится кадровым офицером британской секретной службы. Он считал за честь быть принятым в этот "легендарный центр тайной власти, обладавший, как считалось, решающим влиянием на важнейшие мировые события". В своей книге Блейк отмечает, что открывавшаяся перед ним перспектива работы в разведке превосходила все его ожидания.

Война в Корее вызвала к жизни соперничество разведок с обеих воевавших сторон. Джордж Блейк, к тому времени сотрудник голландской секции английской разведывательной службы, был командирован в Южную Корею.

Обстановка здесь оказала большое, может быть, определяющее влияние на политические настроения Джорджа. Аресты и издевательства над лидерами оппозиции и другие наблюдения за режимом Ли Сын Мана порождали в нем растущую неприязнь к этому стареющему диктатору и политической системе, которую он олицетворял. Правление Ли Сын Мана демонстрировало явные фашистские наклонности. Джордж не мог оставаться равнодушным к открытому проявлению нацистских симпатий у министра образования Южной Кореи, выставлявшего портрет Гитлера в своем кабинете. Джордж знал о пытках, которым подвергались арестованные, подозревавшиеся в симпатиях к коммунистам.

Работа в разведке, встречи с людьми различных национальностей привели Блейка к убеждению в несостоятельности взгляда на отдельные национальности как изначально добродетельные, на другие – как ущербные. Все нации способны показывать примеры высшей добродетели и храбрости, но также все нации могут являть образцы жестокости и зла. Такое понимание помогало ему найти свое место в обществе, как бы ни было оно отлично от условий и атмосферы его детства и юности. Это относилось к его жизни среди англичан, так же как к общению с голландцами, евреями, немцами, японцами, корейцами или людьми любой другой национальности.

Оставшись в осажденном Сеуле, где Дж. Блейк осуществлял разведывательную деятельность по советскому Дальнему

Востоку, он попал в плен. Пленение при всей логичности развития описываемых событий и объяснений самого Блейка содержит намеки на проблему, которая осталась за рамками повествования, но заслуживает, тем не менее, внимания. Речь идет о следовании разведчика полученным инструкциям, в результате которых он оказывается в опасности, о возможности принятия им самостоятельного решения в нарушение инструкций, чтобы спасти себя в данном случае от плена, но, вполне возможно, и от гибели. Разведчик занимается добыванием информации, которая не лежит на поверхности и требует от него неординарных действий. Блейк мог бежать из осажденного Сеула, но не сделал этого, поскольку такое развитие событий не было предусмотрено полученными из Лондона указаниями. Он остался в Сеуле и попал в плен. Мог ли он рассчитывать, что в результате такого решения добудет информацию, которая соответствовала поставленным перед ним задачам? Мог, и выбор, который стоял перед ним, хорошо известен многим разведчикам, которым легко представить себя в аналогичной ситуации. Разведчик склонен пойти на риск с непредсказуемыми последствиями, руководствуясь в первую очередь интересами страны, которой он служит, и, естественно, так, как он их понимает. Поразному складываются судьбы разведчиков, мы знаем много примеров, когда такие поступки приносили лавры, но нет недостатка и в трагедиях.

Нельзя не остановиться на философии жизни Дж. Блейка. Пройдя сложный жизненный путь, он делится с читателем своими мыслями о роли высшего разума, о предначертанности судьбы человека. Блейк преклоняется перед величием подвига Христа. Не исповедуя религию в ее обычном понимании, он не сомневается в существовании божественных начал в мироздании, исключающих случайность в происходящих вокруг событиях. В то же время Джордж не склонен безропотно, без борьбы принимать удары судьбы, видя, впрочем, и в своей борьбе проявление высшего разума, управляющего миром.

В лагере для военнопленных Джордж пережил моральный и психологический перелом, который давно вызревал и отныне обусловливал его поступки. С высоты прожитых лет он анализирует влияние окружающей обстановки на решения, принятые им несколько десятилетий назад и определившие его жизненный путь. Блейк не скрывает, что в условиях спо-

койной жизни в уютной лондонской квартире он мог бы и не сделать выбор в пользу сотрудничества с Советским Союзом. Но, видя, как американские бомбардировщики сбрасывают свой смертоносный груз на беззащитные деревни Кореи и расстреливают мирных деревенских жителей, большей частью женщин и детей, он чувствовал, что не может сделать иного выбора, чем тот, который стал его уделом. Он понимал всю тяжесть последствий и вины перед страной, верность которой он был обязан сохранять, и тем не менее не мог предать интересы благородного дела, которое олицетворяло в его глазах совесть мира.

После освобождения из плена в апреле 1953 года он возвратился в Англию. Руководство Интеллидженс сервис определило его в новый отдел, занимавшийся разведкой против советских учреждений с использованием весьма секретных новейших технических средств. Этот отдел занимался обработкой материалов, полученных в результате прослушивания телефонных линий советских учреждений в Австрии и внедрения микрофонов в представительства Советского Союза и других социалистических (в то время) стран в Великобритании и других странах Западной Европы. Руководитель отдела нуждался в заместителе с хорошим знанием русского языка, которым Блейк к тому времени овладел, и выбор пал на него.

В этот период "холодной войны" иностранные разведки, и в частности английская, испытывали большие трудности с вербовкой агентов для добывания информации по советским учреждениям. Это заставило их искать другие пути. Поиск позволил руководителю резидентуры английской разведки в Австрии выявить несколько кабельных линий, проходивших через территорию английского и французского секторов Вены, которые использовались штабом советских войск для связи со своими частями, аэродромами и другими учреждениями в советской зоне оккупации.

В октябре 1953 года Дж. Блейк встретился в Лондоне с сотрудником советской разведки и передал список в высшей степени секретных технических операций, проводившихся английской разведкой против советских объектов, с точным обозначением их местонахождения и характера операции. Передача столь ценной информации способствовала закреплению отношений с советскими коллегами. Как пишет Дж. Блейк, передав весьма ценные сведения, он понял значе-

ние своего шага. Он сравнивает свое состояние с ощущением приземления после первого прыжка с парашютом.

Получение информации от секретного сотрудника в обычном понимании сопровождается получением вознаграждения. Сотрудничество Дж. Блейка происходило на другой основе. Он никогда не принимал денег и, хотя не был богат, не рассматривал свое сотрудничество как средство обогащения. На одной из первых рабочих встреч, когда ему было предложено вознаграждение, он ответил, что ценит внимание, но достаточно обеспечен и денег не примет. При этом добавил, что, если с ним произойдет что-либо "нежелательное", он рассчитывает, что мы не оставим его без внимания и поможем обеспечить мать и семью.

Таков Дж. Блейк. Руководство советской разведки также было верно своему моральному долгу перед ним и сделало все возможное, чтобы помочь ему устроить жизнь в нашей стране достойным его заслуг образом.

На следующей встрече Дж. Блейк получил портативный фотоаппарат "Минокс", который показался ему поначалу громоздким, он ожидал чего-то более миниатюрного – в виде пуговицы или зажигалки. В то время (не забудем, что это был 1953 г.) у нас еще не было более совершенных и проверенных образцов фототехники, чем "Минокс". С этого времени Блейк постоянно носил его с собой.

Не удивительно, что, обеспечив источник важной информации о советских вооруженных силах и учреждениях в Австрии, отдел разведки, где заместителем руководителя был Дж. Блейк, приступил к расширению своего поля деятельности, задавшись целью организовать добывание информации о советских объектах в ГДР. Наиболее обещающей представлялась операция в отношении трех советских кабельных линий, которые проходили недалеко от границы с американским поселком в Альтглинике, пригороде Берлина, который глубоко вклинивался в территорию ГДР.

Стремление к ценным источникам информации подстегивало разведчиков, особенно когда было установлено, что кабельные линии связи соединяют советский штаб в Карлсхорсте и другие учреждения с Москвой.

Дж. Блейк передал своему советскому коллеге микрофильм с заснятыми протоколами подготовки операции и ее схемы. Он подчеркнул в высшей степени секретный характер операции и предупредил об осторожности. Смелость,

если не сказать наглость, операции впечатляла. Не вызывало сомнений, что американская и английская разведки, осуществив намеченную операцию, смогут получить доступ к большим военным и государственным секретам СССР.

В то же время забота о безопасности Дж. Блейка исключала проведение каких-либо мер, которые могли бы выдать нашу осведомленность о планах операции. Осуществление операции пошло своим ходом. Перед руководством КГБ встала задача чрезвычайной важности – не посвящая никого, сделать так, чтобы переговоры по вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы страны, проходили по другим каналам, а не по кабельным линиям, находившимся отныне под контролем ЦРУ и английской разведки. Джорджу Блейку было сказано, что его безопасность является определяющим мотивом действий советской стороны.

Дело о подслушивании советских кабельных линий связи на одной из окраин Берлина занимает важное место в воспоминаниях Дж. Блейка. Хотя он достаточно подробно пишет об оперативно-технической стороне этого дела, получившего название "Туннель", которое в свое время наделало много шума и является, очевидно, одним из ярких эпизодов "холодной войны", настал черед дать оценку "Туннелю" и другим подобным операциям с точки зрения международного права и перспектив развития международных отношений. Нет сомнений в том, что методы внедрения в собственность другого государства с целью нанести ему ущерб несовместимы с Заключительным актом и последующими документами хельсинкского процесса. Но есть и другая сторона проблемы. Государство, чья разведка стремится проникнуть в военно-политические секреты другой страны, преследует, как правило, цель оградить себя от неожиданных, агрессивных акций правительства этой страны. Пока открытость и гласность в международных отношениях сочетаются с соперничеством и скрытыми замыслами, деятельность специальных служб будет продолжаться. В то же время в интересах дальнейшей разрядки назрела необходимость и в государственном плане, и в межгосударственных отношениях ввести деятельность разведок в рамки государственно-конституционного и международного права.

В последние годы международные отношения получили мощный импульс для выработки новых общепризнанных норм. Видя на горизонте радужные перспективы сотруд-

ничества между государствами, нельзя забывать и о разведчиках, внесших свой весомый вклад в фундамент мира. В эпоху "холодной войны", когда действовал Джордж Блейк, разведчики с двух сторон обеспечили предсказуемость развития межгосударственных отношений, и в этом их огромная заслуга.

Большое мужество проявил Джордж Блейк, опубликовав в 1990 году свои воспоминания, когда его представления о прогрессе социалистического общества подверглись столь жестокому испытанию нашей действительностью в период перестройки.

СЕРГЕЙ КОНДРАШЕВ,
кандидат исторических наук

Предисловие

Несколько раз по разным поводам мне предлагали написать о своей жизни. Однажды я сделал подобную робкую попытку, но это ни к чему не привело. Во-первых, меня не слишком воодушевляла идея писать о себе, излагать самые сокровенные мысли, объяснять свои поступки. Когда перед моим мысленным взором проходила день за днем вся жизнь, мне казалось, что в ней нет ничего особенного, такого, что стоило бы описания. Представлять это иначе казалось мне слишком самонадеянным. Кроме того, я всегда придерживался мнения, что секретные разведывательные операции должны оставаться тайной, а тот, кому пришлось в них участвовать, должен об этом молчать, если только разговор не идет в узком кругу "посвященных". Наконец, нужно сказать, что я всегда считал шпионаж "печальной необходимостью" или, выражаясь более резко, "необходимым злом", навязанным государствам их же собственными соперничеством, конфронтацией, войнами или угрозой войн, и дело это скорее достойно сожаления, чем прославления и возвеличивания.

После побега из тюрьмы и приезда в Советский Союз я старался избегать встреч с иностранными журналистами, сторонился всякой огласки и в целом был доволен, что "лег на дно". Но, несмотря на это, мое имя и связанные с ним события продолжали упоминаться в прессе и книгах, и чаще всего моя история выставлялась в ложном свете.

Между тем в Советском Союзе, Восточной Европе и во всем мире произошли большие изменения. "Холодная война" во всех своих проявлениях подошла к концу. Гласность, которую я приветствую, открывает обществу глаза на тщатель-

но скрываемые раньше аспекты жизни, она стала повседневной реальностью в СССР. Маятник качнулся в другую сторону. Многое, о чем раньше не решались даже пошептаться в кругу близких друзей, теперь говорится во весь голос. В связи с этим предложения и от английских, и от советских издателей стали еще настойчивее.

Я возражал, указывая на то, что, не будучи профессиональным писателем, вряд ли смогу создать интересную и хорошую книгу. Мне же отвечали, что биографию стоит написать просто как свидетельство времени и что человек, который одновременно был офицером Сикрет Интеллидженс сервис (СИС) – секретной британской разведки и агентом советской разведки в самый разгар "холодной войны", имеет уникальный шанс поведать о некоторых моментах этой конфронтации. Случилось так, что в это время моим английским друзьям, которые помогли мне организовать побег из тюрьмы, пришлось, написав книгу, открыть правду о своей роли в этом деле, и впоследствии они могли предстать перед судом со всей вытекающей отсюда оглаской. И тогда я сдался. Я понял, что, промолчу ли я или напишу книгу, в любом случае мое имя будет упоминаться в средствах массовой информации и лучше я сам изложу все, что со мной случилось.

Против меня выдвигалось множество обвинений, а мое имя окружали разнообразные догадки и домыслы. Это неизбежно должно было произойти, ведь, идя против общепринятых взглядов, я встал на сторону тех, с кем боролся, и свел на нет многие достижения недавних друзей и коллег, тем более что все это происходило в сфере деятельности, окруженной особой секретностью. Я всегда принимал это как часть наказания, которого я, несомненно, заслуживал, перейдя на сторону Советов. Должен сразу сказать, что я до последнего времени был не в курсе этих догадок и домыслов. Последние двадцать пять лет я имел очень нерегулярный доступ к английской прессе и не мог познакомиться со многими книгами о шпионаже, которые появились в Великобритании в последнее время. Поэтому я был не в состоянии и не пытался ответить авторам или опровергнуть их утверждения, кроме нескольких, на которые специально обратили мое внимание. Я понял, что, поспорив с одним и оставив другие без ответа, я создам впечатление, что мне просто нечего сказать и мои оппоненты правы. Лучше всего, по-видимому, будет честно рассказать о своей жизни, о том, что в действительности про-

исходило и чего не было; объяснить ход мыслей, описать, с чего я начал, как и при каких обстоятельствах менялись мои убеждения и что в конце концов привело меня к коммунистическому выбору; как мечта о построении коммунистического общества, которое я и сегодня считаю высшей ступенью развития человечества, повлияла на мои позицию и действия в великом противостоянии между Востоком и Западом, которое, похоже, теперь счастливо прекращается.

Я старался рассказать о себе, не увиливая и не приукрашивая, и, надеюсь, избежал дешевой сенсационности, с помощью которой авторы повествований о шпионаже нередко стремятся представить их более увлекательными, чем они есть на самом деле. Думаю, то, о чем я расскажу, опровергнет ложные измышления и подтвердит те суждения обо мне, которые соответствуют истине.

Люди вправе спросить: как мы можем верить ему? Он долго и успешно обманывал всех – как же поверить ему теперь? Мне некого винить, кроме самого себя, за то, что я оказался в таком положении, – ведь этот вопрос правомерен. Я принимаю его вместе с остальными упреками. Могу ответить одно: я пытался правдиво рассказать обо всем, как мне это представлялось, без всякого умолчания и стеснения, кроме тех случаев, когда это могло отразиться на моей семье или друзьях. Я хочу, чтобы читатели сделали собственные выводы и сами судили, говорю я правду или лгу.

Хочу отметить, что в силу характера своей профессии я никогда не вел дневников и не делал заметок, поэтому полагаюсь лишь на свою память. Из нее могло что-либо ускользнуть, особенно когда речь идет о событиях, имевших место 30 – 40 лет назад. У меня не было доступа к документам, которые бы освежили воспоминания и восстановили определенные факты. Забыл я и имена многих людей, с которыми меня так или иначе связала жизнь. Не желая искажать их, я предпочел в таких случаях ограничиться общими характеристиками.

Эта книга – не оправдание и не покаяние. Она – всего лишь объяснение. Я пытался, как мог, рассказать о себе, о своих взглядах на жизнь и описать факты, невзирая на то, свидетельствуют ли они за или против меня.

Дж. БЛЕЙК
Москва, 31 марта 1990 г.

Глава первая

Благородное уединение переулка Карлтон-гарденз, находившегося между улицами Мэлл и Пэлл-Мэлл, делили между собой два дома: резиденция министра иностранных дел и красивое старинное здание с лепным фасадом, тяжелыми зелеными двустворчатыми дверями, медным молотком, мраморным вестибюлем с канделябрами и монументальной лестницей, золочеными витыми перилами, которому суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Со временем ему предстояло стать местом действия двух событий, одно из которых принесло мне много счастья, а другое – много страданий. Здесь я встретил и полюбил свою будущую жену, и здесь же состоялся допрос, за которым последовал суд надо мной.

Впервые я попал в этот дом по случаю коронации королевы 2 июня 1953 г. В узеньком палисаднике, выходящем на улицу Мэлл, построили трибуны для избранных сотрудников разведки, чтобы они могли посмотреть королевскую процессию, шествующую в Аббатство. Я удостоился приглашения на прием с шампанским, который состоялся в гостиных нижнего этажа.

В апреле этого года я вернулся в Англию из Кореи, где работал резидентом британской разведки и был взят в плен. По возвращении меня вызвали в управление кадров, чтобы обсудить новое назначение. С Джорджем Пинни, начальником управления, я был хорошо знаком. В последний год войны он работал в политическом управлении, а я был новичком в голландском отделе английской разведки, мы не раз виделись по делам. Он сердечно встретил меня и после обычного об-

мена комплиментами – Пинни обладал превосходными манерами – сообщил, что я остаюсь в отпуске до 1 сентября. После этого мне предстояла работа в сравнительно новом отделе "Y", который занимался строго секретными техническими операциями против русских. Отдел отвечал за обработку материалов, полученных при подслушивании телефонных разговоров советских объектов в Австрии, и установку подслушивающих устройств в представительствах СССР и других социалистических стран в Великобритании и странах Западной Европы. Руководителю нового отдела нужен был заместитель с хорошим знанием русского, и выбор пал на меня. Это интересная работа, сказал он, и, если я справлюсь, она может положительно повлиять на мою карьеру. Отдел – новое важное предприятие, к которому очень внимательно относится руководство.

Мой кабинет располагался в длинном узком помещении, раньше, должно быть, служившем одной из спален, поскольку там был большой встроенный гардероб. С одной стороны к нему примыкала ванная, в которой теперь устроили склад канцелярских принадлежностей, с другой стороны была, очевидно, большая туалетная комната, которую теперь занимали секретари начальника отдела полковника Джимсона и мои.

Кабинет полковника Джимсона был в следующей комнате – большой, солнечной, с застекленными дверями на балкон, выходящий на Мэлл, и лепным потолком. Джимсона подчиненные звали просто Томом, в разведке он был недавно. Кадровый офицер, он, перед тем как оставить армию, служил в Ирландской гвардии. Высокий и прямой, всегда очень тщательно одетый в строгие костюмы темных тонов в полоску, он был красивым мужчиной, исполненным то ли застенчивого, то ли печального обаяния. Джимсон страдал от постоянных болей в колене, что в сочетании с военной выправкой придавало его движениям некоторую скованность. Он перешел в разведку, как и многие другие старшие офицеры, в тот момент, когда возраст или здоровье начинают мешать дальнейшему продвижению по военной службе. Они находили работу, соответствовавшую их положению, где могли применить свой опыт и получать прибавку к пенсии до тех пор, пока не наступало время окончательно уйти в отставку. Они больше не были озабочены карьерой и не рвались к постам.

Со времен Раав*, иерихонской блудницы (и, несомненно, задолго до нее), самую ценную информацию и помощь разведка получала от так называемых "внутренних" агентов, то есть людей во вражеском лагере, которые по разным (одним им известным) причинам хотели работать на противника. Такие люди всегда составляли то, что можно назвать "обычными силами" разведки. Явное превосходство в этой области долгое время было за советской стороной. Причина тому, по-моему, двоякая. Во-первых, Советский Союз как признанный оплот коммунизма способен находить поддержку у многих людей, которых привлекают его цели и задачи. Хотя ничто не заставило бы их предать свою страну в пользу национальных интересов другого государства, но по идейным соображениям они были готовы работать на Советский Союз. У Запада такого преимущества не было.

Во-вторых, Советский Союз с самого его основания был осажденной крепостью. Поэтому, чтобы оградить себя, он должен был развить такую систему безопасности, какой не знают на Западе и, сказать по правде, там бы не потерпели. Эта система в целом успешно препятствовала тому, чтобы западные разведслужбы могли войти в контакт с теми людьми в СССР, которые захотели бы на них работать.

Столкнувшись с этой проблемой в первые годы "холодной войны", изобретательные головы в западных разведках начали обдумывать пути и средства ее преодоления. Если ценная информация уже не могла, кроме исключительных случаев, быть получена традиционными методами, то надо было работать нетрадиционно. В британской секретной службе одна из таких изобретательных голов принадлежала Питеру Ланну. Сын сэра Арнольда Ланна, основателя и главы известного туристического агентства, который много сделал для популяризации лыжного спорта в Британии, Питер, как и многие другие, переведенные на нестроевую службу, пришел в СИС во время войны.

Это был хрупкий человек небольшого роста, с преждевременно поседевшими и быстро редеющими волосами. Он говорил тихо и заметно шепелявил. У тех, кто его мало знал,

---

* Раав-блудница – библейский персонаж, содержательница постоялого двора в Иерихоне, спрятавшая соглядатаев Иисуса Навина. Когда город был разрушен, Раав и ее род были пощажены. (Здесь и далее – примечания переводчиков.)

могло создаться впечатление, что он человек робкий и пассивный. Но это было далеко не так. Напротив, по натуре он был победителем, что доказывал в любом деле, за которое брался. Он был истовым католиком и, естественно, воинствующим антикоммунистом. Эти черты в сочетании с сильной волей и недюжинной природной одаренностью позволили ему стать чрезвычайно деятельным, неутомимым и преуспевающим офицером разведки. Он был к тому же страстным любителем лыжного спорта и отцом семейства, число членов которого выражалось, если я не ошибаюсь, двузначным числом.

Благодаря своим качествам он быстро продвигался по службе. В 1950 году его назначили резидентом британской разведки в Вене. Здесь он столкнулся с трудностями при попытках проникновения в Советский Союз, страны социалистического блока и, в частности, в штаб советских вооруженных сил, расположенный совсем рядом.

Однажды, вскоре после своего назначения, он просматривал кипу донесений от осведомителя в австрийской телефонной службе. При этом он отметил, что несколько телефонных кабелей, реквизированных Советской Армией и связывающих штаб советских войск в Вене с некоторыми соединениями, аэродромами и другими важными объектами, проходили через английскую и французскую зоны оккупации. Внезапно его осенила идея, что, подключившись к этим линиям и записывая разговоры, можно извлечь ценную информацию о советских войсках.

Конечно, в подслушивании телефонов полицией или службой безопасности не было ничего нового, но такие операции по большей части проводились в отношении отдельных подозреваемых и в основном в целях безопасности. Прослушивание же целых линий, используемых иностранными вооруженными силами, было совершенно новым и многообещающим направлением шпионажа.

Дальнейшее изучение кабельной сети и местности, по которой она была проложена, показало, что наиболее удобным пунктом, где можно было устроить пост прослушивания, являлось здание британской военной полиции, как раз напротив которого, метрах в шести, залегал телефонный кабель, связывающий советский военный штаб в Вене с аэродромом в Швехате. Был разработан детальный план, который сразу стал воплощаться в жизнь. Согласно плану был прорыт не-

большой туннель из подвала полиции, установлено ответвление от кабеля и оборудован прослушивающий пост с необходимой записывающей аппаратурой.

Успех операции превзошел все ожидания и воодушевил на установку подслушивающих устройств еще на двух советских линиях связи. К концу 1952 года материал, получаемый из этих трех источников, первый из которых имел кодовое название "Конфликт", обеспечил устойчивый поток ценной разведывательной информации.

Одна из двух новых операций, известная под кодом "Сахар", направлялась из здания, занятого английской фирмой бижутерии. Торговля здесь шла не слишком успешно, но это не имело особого значения, ибо фирму – идеальное прикрытие для поста прослушивания – финансировала разведка. Многие жительницы Вены, посещавшие магазин, вряд ли могли вообразить, что прямо у них под ногами магнитофоны записывали телефонные разговоры высших чинов советского военного штаба.

Операция "Лорд" велась из элегантной современной виллы в одном из фешенебельных предместий Вены, окруженной зеленой лужайкой, которую содержали в отличном состоянии английский майор и его привлекательная молодая жена. Эту пару хорошо знали и очень охотно принимали в пестром интернациональном обществе Вены тех дней, а вечеринки, которые они часто устраивали, длились до утра.

Материал, полученный в результате трех операций, со временем достиг такого объема, что у перегруженных сотрудников накопилась трехмесячная задолженность, отчеты им приходилось теперь готовить не ежемесячно, а раз в две недели плюс промежуточные доклады по отдельным вопросам.

Очень скоро после начала операции "Конфликт" стало ясно, что двое сотрудников, бегло говорящих по-русски, которых прислали в Вену расшифровывать записи телефонных разговоров, не могут справиться со всем поступающим материалом. Надо было искать новых работников. Это оказалось довольно сложным делом. Всякий, кто когда-нибудь изучал иностранный язык, знает, что надо достичь высокого уровня, чтобы следить за телефонным разговором. Если учесть, что собеседники были, конечно, не дикторами телевидения или радио, а военными, употреблявшими сленг, технические термины и немало крепких выражений, то становится

ясно, что с работой мог справиться лишь тот, у кого русский был родным языком. Но таких людей найти было непросто, тем более что они должны были быть абсолютно надежны с точки зрения безопасности. Была и еще одна сложность: количество сотрудников венской резидентуры было весьма ограниченным, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Поэтому было решено одну из частей операции – стадию обработки материала – перевести в Лондон.

В это время в Центре существовал небольшой отдел, известный под кодом "N", который наряду с такими задачами, как вскрытие пакетов с дипломатической почтой, когда предоставлялась такая возможность, также изучал разговоры иностранных дипломатов, чьи телефоны прослушивались на тот случай, если в них содержались данные, интересные для разведки. Поначалу хотели возложить на "N" и обязанности по обработке материалов, поступающих в ходе операции "Конфликт", но "N" находился в главном здании, его нельзя было расширить, не говоря уже о том, что небольшой штат пожилых и достойных лингвистов привык к неторопливому темпу работы и вряд ли бы справился с непрерывным потоком информации. В результате решили образовать совершенно новый отдел, штат которого можно было бы расширять по мере необходимости. Это стало тем более актуальным, что Питер Ланн, вдохновленный успехом "Конфликта", уже строил планы двух новых операций против специальной советской связи в Вене. Так родился отдел "Y".

Основу отдела составили расшифровщики, которые прослушивали пленки, доставляемые три раза в неделю из Вены специальным самолетом британских ВВС. Они записывали материал, а потом передавали его группе из двенадцати офицеров сухопутных войск и ВВС (одни – в отставке, другие – временно откомандированные), хорошо знавших русский язык. Их работа заключалась в изучении разговоров, извлечении содержавшейся в них информации и объединении ее с информацией предыдущих бесед в регулярное донесение о советском военном контингенте в Австрии. На третьем этапе работали полковник Джимсон и его заместитель, которым помогали четыре секретаря. Джимсон и его заместитель отвечали за деятельность отдела в целом и за связь с руководством и заинтересованными министерствами. Еще одним важным членом команды был мистер Ньюолл, офицер-администратор, на котором лежала трудная задача

подыскивать надежных и знающих русский язык сотрудников.

Многих он находил среди выходцев из так называемых санкт-петербургских англичан. Несколько поколений британских купцов жили в России, особенно в Санкт-Петербурге, где они торговали лесом и мехами, открывали свои фабрики. Нередко женатые на русских, они оставались англичанами и обычно посылали своих детей учиться в Англию. Дети их, как правило, были двуязычны. После революции последнее поколение этих торговцев и промышленников покинуло Россию и поселилось в Англии.

Другие расшифровщики были дочерьми русских иммигрантов, часто благородного происхождения, вышедшими замуж за англичан. У большинства уже выросли дети, и они были рады возможности получить выгодную работу, позволяющую использовать родной язык.

Третью категорию составляли бывшие польские офицеры – работники польской разведки, которой во время войны руководили из Лондона. Все они свободно говорили по-русски.

Эти разные группы расшифровщиков придавали отделу неповторимое своеобразие, делали его непохожим на другие подразделения британской разведки. Среди русских, как и среди англичан, множество эксцентричных личностей, что особенно заметно в сочетании этих двух национальностей. Каждый, кто имел дело с сотрудниками отдела "Y", скоро убеждался в этом. Здесь сосредоточилась бездна славянских темпераментов и настроений, и требовалось немало такта и деликатности, чтобы поддерживать мир и слаженную работу всего механизма. Том Джимсон с его превосходными манерами, сдержанностью и застенчивым обаянием оказался тем человеком, которому это удавалось. Я помогал ему как мог.

Моя работа в основном заключалась в поддержании связей с Военным министерством и Министерством авиации. Часто эти ведомства интересовались конкретными вопросами, ответы на которые мы искали в расшифрованном материале. Если нужная информация находилась, я составлял специальный доклад. К тому же я отвечал за обработку материалов микрофонных операций. Это оказалось самой неблагодарной работой, так как, по моему опыту, эти операции редко давали дельную информацию. Они были полезны лишь

как источник вспомогательных сведений о характере, привычках и контактах людей, которых подслушивали, и, таким образом, облегчалась вербовка.

В это время среди высших чинов британской разведки, особенно тех, кто занимался нашим отделом, многие верили, что будущее шпионажа – за техникой, а человеческий элемент становится все менее важным. В определенном смысле жизнь подтвердила их правоту, но полностью разделить такой взгляд на вещи я не могу. Конечно, большая часть сведений, которые в минувшую войну доставляли сотни агентов, сегодня может быть получена с помощью технических средств, например через спутники. Однако остаются такие важные элементы, как действительные намерения и планы противника, о которых можно узнать лишь от человека, присутствовавшего на военном совете. Кроме того, все технические новации в сфере разведки рано или поздно (чаще – рано) приводят к изобретению того или иного оборудования, которое сводит на нет недавнее достижение. Впрочем, возможно, я пристрастен.

Как бы то ни было, когда я пришел в отдел "Y", техника была в моде, и ни один уважающий себя резидент не мог обойтись без действующей или хотя бы планирующейся микрофонной операции. В результате скопилось множество пленок, а так как большинство прослушиваемых были из России или Центральной Европы, естественно, все они попадали в наш отдел.

Хотя, как я уже говорил, несколько таких операций было запущено и микрофоны установлены, количество чисто записанных разговоров оказалось невелико. Этому было несколько причин. Во-первых, проникнуть в нужные кабинеты или квартиры часто бывало довольно трудно, поэтому микрофоны приходилось устанавливать с помощью так называемых зондов из соседних помещений. На практике это могло быть осуществлено только с помощью разведок тех стран, где располагались объекты. Поэтому поле деятельности ограничивалось теми государствами, с секретными службами которых британская разведка имела тесные связи. Получалось, что устройство нередко ставилось в офисах или квартирах не потому, что там жили важные для нас люди, а потому, что туда был доступ. Были и другие трудности. Недостаток информации о назначении каждой комнаты превращал всю операцию в игру наудачу. Бывало, что микрофоны действо-

вали в детской или редко используемой комнате для гостей. Там, где все-таки записывались разговоры, они часто оказывались заглушенными звуками радио, гомоном улицы, смехом играющих детей. Честно говоря, пока я работал в отделе "Y", среди всех такого рода пленок ни разу не попалось ценной информации. Конечно, это было "детство" операций такого рода, и, скорее всего, с тех пор многое изменилось. Я не исключаю, что, по мере того как совершенствовались оборудование и техника, приобретался опыт, да еще при определенной доле удачи, которая всегда была и будет важным элементом разведки, случалось, нужные сведения добывались именно таким способом.

Моя работа требовала контактов со всеми секторами отдела, и скоро у меня появилось много друзей среди расшифровщиков, а также офицеров, которые анализировали материал. Контакты и дружба возникали потому, что мне нравились эти люди и они отвечали мне тем же, а вовсе не потому, что у меня были особые мотивы и я специально подыскивал себе знакомых. Я имел доступ ко всей необходимой информации, и не было нужды выпытывать у людей что-то большее. Я вообще никогда не использовал дружеские связи в СИС для целей разведки, и отношения всегда складывались на основе обоюдной приязни. Не говоря уже о том, что чрезмерное любопытство привлекло бы внимание и вызвало подозрения, информация, к которой я имел доступ в силу своих прямых обязанностей, была достаточно ценной и надежной, и не было необходимости в дополнительных сведениях, почерпнутых из слухов и сплетен.

В комнате секретарей, примыкавшей к моей, сидела Пэм Пенякова, личный помощник Тома Джимсона. Она была вдовой легендарного "полковника Попского" – белого офицера, который прославился во время войны как командир десанта в североафриканских пустынях. Ее русская фамилия скрывала истинно английский характер. Она была высокая, стройная, очень элегантная. Решительность, острый язык делали ее довольно грозной фигурой. Думаю, и сам Том Джимсон, человек мягкий, ее побаивался. Впрочем, она была хорошим товарищем, и вместе с тремя более молодыми секретарями мы составляли маленькую команду, которой хорошо работалось вместе.

Наверное, девушки думали, что у их нового начальника странные привычки. Хотя я вернулся из Кореи целым и невре-

димым, условия, в которых мы там жили почти три года, оставили свой отпечаток. Например, там никогда не было нормальной обуви, и теперь ботинки меня утомляли. Как только я садился за стол в кабинете и мог надеяться, что меня никто не потревожит, туфли сбрасывались, и я чувствовал удивительное облегчение. Секретарши не могли не заметить эту необычную манеру, не свойственную, я думаю, никому из их прежних начальников. Когда я объяснил причину, они отнеслись сочувственно, а одна даже принесла мне пару тапочек. Такое же понимание они продемонстрировали по отношению к другой привычке, которая мне доставляла больше беспокойства. В Корее мы жили в маленьком сельском домике, без всякой работы, а очень подолгу и без чтения, единственным времяпрепровождением кроме разговоров было хождение взад-вперед по крошечному дворику. Комнату освещала примитивная масляная лампа, а масло быстро кончалось. Зимой в Корее ужасно холодно, дни короткие. Отопление в корейских сельских домах осуществляется с помощью труб, проложенных в глиняном полу, которые идут от кухонной печи. Система хорошая, если топлива достаточно. Поэтому, чтобы согреться, нам приходилось лежать на полу, укрывшись старыми одеялами. Скука и постоянное желание согреться заставляли нас проводить большую часть времени во сне. Так как мой организм привык к долгому сну не только ночью, но и днем, я через некоторое время после возвращения из плена почувствовал, что не могу бороться с желанием поспать после обеда. К счастью, получилось так, что я без больших осложнений мог потакать этой привычке. В помещении рядом с моим кабинетом сохранилась покрытая досками ванная. Когда потребность в сне была слишком сильна, я говорил одной из девушек, где меня найти и что отвечать, если будет искать начальство, и, приняв эти меры предосторожности, запирался в ванной и мгновенно засыпал, подложив под голову стопку бумаги. Через полчаса меня будили, и, отдохнувший, я снова принимался за работу. Постепенно "сонная болезнь" прошла. Благодаря удобному расположению моего кабинета и пониманию со стороны девушек мало кто узнал об этом, и неприятностей не последовало.

Другим "наследством" корейского плена было почти помешательство на еде. Три года подряд я не видел ничего, кроме маленькой чашки риса и вареной капусты три раза в

день, иногда не доставалось и этого. Тогда-то я и стал ценить гастрономические радости. Я взял за правило два-три раза в неделю посещать разные рестораны, особенно маленькие и уютные, которые один за другим появлялись в Челси и Кенсингтоне. Конечно, я ходил туда не один, а в компании друзей или приятельниц. Одной из них была Джиллиан Аллан, самая молодая из секретарш, высокая и привлекательная, чье общество мне очень нравилось, поэтому я приглашал ее чаще других. Я тогда был неплохо обеспечен и мог позволить себе дорогие удовольствия: после освобождения мне выплатили все жалованье за три года плена и еще 500 фунтов компенсации. Это сделало меня, как никогда, состоятельным, хотя по нынешним временам мой тогдашний банковский счет кажется довольно скромным.

Прошло всего две недели моей работы в отделе, когда однажды в середине сентября я получил срочный запрос из отдела СИС, занимавшегося контрразведкой. Мелинда Маклейн, жена пропавшего дипломата Дональда Маклейна, исчезла со своими тремя детьми из квартиры в Швейцарии, где она жила вместе с матерью. Подозревали, что она бежала в Советский Союз к мужу. Существовала вероятность того, что она могла переехать из Швейцарии в советскую зону в Австрии и оттуда была доставлена военным самолетом в Москву. Нас просили обращать внимание на все необычные телефонные разговоры, которые могли бы это подтвердить. Мы проверили весь материал, но никаких намеков на то, что Мелинда и ее дети проследовали через Австрию, не нашли. Через много лет в Москве, когда мы подружились, я рассказал ей об этом. Ее очень развеселило, что я, пусть даже очень косвенно, имел отношение к ее розыску. Она в самом деле проехала через Австрию, оттуда на машине ее доставили в Прагу, а затем самолетом в Москву.

В октябре 1953 года я впервые встретился с советским агентом в Англии.

Я покинул офис, как обычно, после шести вечера и не спеша прошелся через Сохо на Оксфорд-стрит. Времени еще оставалось достаточно. В одном из кафетериев АВС я выпил чашку чаю с пирожным. Ужинать не хотелось. Я все время смотрел, не следят ли за мной, хотя причин для этого не было. Я проверил, на месте ли во внутреннем кармане сложенный листок, который собирался передать. Выйдя из кафе, я вошел в метро на Чаринг-кросс. Когда подошел поезд, подож-

дал, чтобы в него вошли все пассажиры, и вскочил в вагон в последний момент. На следующей станции выбежал, когда двери уже закрывались, переждал два поезда, сел в третий, наблюдая, нет ли чего-либо подозрительного. На Белсайз-парк я выскочил опять за секунду до того, как двери закрылись. Теперь я был уверен, что за мной нет слежки, и гораздо спокойнее направился к выходу, зажав в левой руке газету – знак того, что все в порядке. В это время людей на улице было немного, и чем больше я удалялся от станции, тем становилось малолюднее. Из тумана навстречу мне появился мужчина тоже с газетой в левой руке. В мягкой серой фетровой шляпе и элегантном сером плаще, он казался частью тумана. Я узнал в нем того человека, с которым впервые встретился в Отпоре – станции на границе СССР и Китая, когда ехал по Транссибирской магистрали из Кореи в Англию.

Мы остановились, поздоровались и вместе пошли в ту сторону, куда я шел.

Это был плотный мужчина среднего роста, лет пятидесяти, он говорил по-английски хорошо, но с заметным славянским акцентом. Когда мы вышли на тихую улицу, я протянул ему сложенный лист бумаги, который он спрятал во внутренний карман. Не дожидаясь вопросов, я объяснил, что это список строго секретных операций, проводимых английской разведкой на советских объектах, с точным описанием их сути и указанием места. Операции были двух видов: перехват телефонных разговоров и записи с помощью встроенных микрофонов. Первые были более важными, так как сосредоточивались в Вене. Как и Германия, Австрия после войны была разделена на четыре оккупационные зоны – американскую, советскую, английскую и французскую. Но, в отличие от Берлина, четыре части которого управлялись независимо друг от друга, Веной, хотя и разделенной, управляли совместно все державы-победительницы, и улицы всегда патрулировались "джипами" военной полиции, в которых сидели американский, советский, французский и английский солдаты. Это внешнее единство тем не менее не могло скрыть острого антагонизма между западными странами и Советским Союзом, антагонизма столь сильного, что он справедливо был назван "холодной войной". Война велась по всем правилам этой новой формы боевых действий: с использованием огромного количества лжи и всяческой грязи в открытую и с непрерывной беспощадной борьбой за кулисами, главным образом

между различными разведывательными службами – реальными армиями этой битвы.

Микрофонные операции, перечисленные в записке, проводились посредством установки микрофонов в советских и восточноевропейских миссиях в Великобритании и других западных странах.

После того как я объяснил суть операций и ответил еще на несколько вопросов, мы договорились встретиться снова примерно через месяц в другом лондонском предместье и установили резервные даты и места встреч на случай, если один из нас не сможет прийти. Пока мы шли по пустынным улицам, увлеченные разговором, все время поворачивали направо, чтобы в конечном счете маршрут закончился на той же дороге, где и начался. Я чувствовал, что отношение спутника ко мне постепенно теплеет. Это было понятно: я предложил свои услуги Советам, и, естественно, они согласились. Но поскольку до этой встречи они не получали от меня никакой информации, то не могли определить, было ли мое предложение искренним или я действовал по инструкции британской секретной службы. Будучи опытным офицером разведки, каким, как я позже выяснил, оказался мой спутник, он, должно быть, сразу понял, что сведения, которые я ему передал, слишком ценные и секретные, чтобы какая-то разведка могла с ними добровольно расстаться. Поэтому было непохоже, чтобы я вел двойную игру. Что касается его лично, то, как мне кажется, его подозрения улетучились тогда раз и навсегда.

Спустя час я сидел за ужином и рюмкой вина в гостиной у матери. Я не был женат и жил в ее квартире на Баронз-корт. Моя мать замечательно готовит, а этот ужин остался в памяти не только потому, что еда была вкусной, но главным образом из-за того, что комната мне показалась особенно уютной и надежной после влажного ночного тумана улицы и опасностей тайной встречи, которые я только что пережил.

Я предупредил мать, что задержусь в тот вечер, потому что встречаюсь со старым другом. Теперь она спрашивала, как я нашел его после стольких лет разлуки. Пришлось в деталях описать ей, как несколько дней назад встретил коллегу из Германии, которого не видел со времен возвращения из Кореи. Я рассказал все, как было, единственным отступлением от истины было время, когда встреча состоялась. Хотя мне приходилось вести жизнь, в которой многое надо было

скрывать, я старался говорить как можно больше правды или, еще лучше, не говорить ничего. Мой начальник в Корее, покойный Вивиан Холт, посланник Великобритании в Сеуле, дал мне однажды хороший совет. Он обратил мое внимание на то, что люди не очень-то интересуются твоим мнением или тем, что ты им хочешь рассказать, а предпочитают рассуждать сами. Им нравится, когда их внимательно слушают, ограничиваясь поощрительными замечаниями или уточняющими вопросами. Они уйдут с убеждением, что вы – прекрасный собеседник, разделяющий их взгляды, хотя на самом деле вы вообще не высказывались, а лишь внимательно слушали. Я старался следовать этому совету, и во многих случаях успешно.

Именно в этот вечер я полностью осознал, что, передав сверхсекретную информацию советской разведке, я окончательно отрезал себе пути к отступлению. Как ни странно, это принесло мне чувство облегчения, подобное тому, которое я испытал после первого прыжка с парашютом. Радостное чувство приходит всегда, когда преодолены страхи и сомнения.

В следующий раз он принес мне маленькую камеру "Минокс" на брелке в виде рулетки. Он объяснил мне, как она действует, это оказалось довольно просто. Сначала я был ошарашен, когда увидел аппарат, – он выглядел большим и неуклюжим. Я ожидал, что это будет нечто миниатюрное и хитроумное, вроде камеры, вмонтированной в пуговицу или зажигалку. Мой советский коллега объяснил, что все эти штучки только выглядят впечатляюще, а на самом деле с ними не так просто управляться и они не всегда точны. По его мнению, "Минокс" был лучшим и самым простым в обращении аппаратом для нашей работы. Он меня убедил, я взял камеру, и с тех пор, идя каждый день на службу, клал "Минокс" в задний карман брюк, как привычно совал бумажник во внутренний карман пиджака. В любой момент на моем столе мог оказаться интересный документ, а второй возможности его сфотографировать могло не представиться.

Фотографией я никогда не увлекался. Когда я ехал в отпуск, никогда не брал с собой камеру, оставляя другим заботу о снимках. Конечно, мои первые опыты не все оказались удачными, и нужны были практика и терпеливые объяснения моего русского друга, прежде чем результаты стали удовлетворительными.

Весь первый год после возвращения на работу я продолжал встречаться с советским резидентом каждые две-три недели.

Встречи всегда происходили после работы в заранее условленном месте недалеко от метро на окраине, обычно в северной части Лондона. Уже во вторую или третью встречу я передал ему экземпляр последнего бюллетеня отдела "Y" о советских вооруженных силах в Австрии. Это была копия доклада на 30 – 40 страницах с высоким грифом секретности, который рассылали избранным сотрудникам Военного министерства, Министерства авиации, Объединенного управления разведки и Министерства иностранных дел. Один экземпляр посылался в Вашингтон для ЦРУ. Теперь вот копия попала и в Москву, в КГБ. Так как копии бюллетеней были пронумерованы и за ними следили, мне пришлось собирать доклад по отдельным страницам, напечатанным сверх нужного количества и подлежавшим уничтожению.

Между тем ободренные успехами, которые знаменовали вступление британской разведки в эру техники, сотрудники отдела "Y" задумали гораздо более дерзкое предприятие. В случае удачи это должно было превратить отдел в обширную организацию, не имевшую себе равных по объему информации о Советской Армии.

К середине 1953 года, когда поток телефонной информации стал постоянным и репутация Питера Ланна упрочилась, он стал одной из самых влиятельных фигур в разведке, и его назначили берлинским резидентом. Если пост вашингтонского представителя СИС был заманчив с точки зрения престижа, то глава берлинской резидентуры был наиболее важен в оперативном аспекте.

Неудивительно, что после успеха в Вене Питер Ланн взялся за проблему сбора информации в Восточной Германии точно таким же образом. Со свойственной ему энергией он сначала занялся организацией специального технического отдела, во главе которого поставил офицера связи. Этот отдел получил задание изучать разведданные, поступающие от осведомителей из телефонной службы Восточной Германии, с прицелом на разработку в будущем операций по подслушиванию. Вскоре отдел внес три конкретных предложения. Самым многообещающим из них был план операции с тремя советскими кабелями, проходящими рядом с границей американского сектора в Альтглинике под Берлином, где амери-

канский сектор глубоко вдавался в территорию, контролируемую СССР. Чтобы провести эту операцию, требовались две вещи: прорыть туннель по территории ГДР длиной более 600 ярдов и обеспечить сотрудничество с американцами.

Количество и протяженность кабелей, а также расстояние до них делали эту операцию гораздо более сложной, чем та, которая проводилась в Вене. Кроме того, из-за постоянной напряженности вокруг "берлинского вопроса" она была гораздо опаснее в политическом отношении. Когда закончилось предварительное обсуждение в СИС и проект в принципе был одобрен, обратились за консультацией в МИД и соответствующие министерства. На этот план возлагались столь большие надежды, что сомнения были отброшены и все согласились с тем, что результаты должны окупить риск и затраты.

Следующим шагом был контакт с ЦРУ. Так как в Америке получали венские бюллетени и сразу поняли, что берлинский план, получивший название "Золотой секундомер", предоставит неизмеримо большие возможности, то соответственно уговоров не потребовалось. В феврале 1954 года ЦРУ прислало в Лондон сильную группу экспертов для детального обсуждения и разработки плана будущего сотрудничества. Группу, состоявшую из пяти офицеров, возглавил Роулетт, который был начальником советского отдела ЦРУ. Был в ней и Билл Харви – берлинский резидент ЦРУ. Этому техасцу был свойствен подход к разведке в духе "дикого Запада", и, как бы желая привлечь внимание к этому, он всегда носил в кобуре под мышкой шестизарядный револьвер. Неприличное вздутие, которое образовывалось из-за этого на его тесном пиджаке, совершенно не соответствовало элегантной обстановке офиса Тома Джимсона на Карлтон-гарденз, где проходили встречи.

Со стороны британской разведки присутствовали Джордж Янг, тогда еще начальник аналитического отделения, скоро ставший первым заместителем главного; Питер Ланн как инициатор проекта; Том Джимсон, эксперт по обработке материалов. Остальных английских специалистов приглашали по мере необходимости. Я вел протоколы встреч.

Сначала наметили общие контуры сотрудничества. Американцы должны были предоставить деньги, необходимые средства прикрытия в Берлине и рабочие руки. Англичане обеспечивали техническое оснащение, экспертов в разных

областях и штат станции прослушивания. Обработка и оценка информации должны были выполняться командами, составленными из сотрудников ЦРУ и СИС. Результатами же могли пользоваться обе разведки. Так как центр руководства операцией разместился в Лондоне, то начальником должен был стать офицер английской разведки, а его заместителем – американец.

В Берлине на территории Альтглинике решено было построить американские военные склады, чтобы скрыть раскоп и разместить большую станцию подслушивания. Туннель должен был пройти на глубине 24 футов от склада мимо кладбища к дороге на Шёнефельд, под которой проходили три военных кабеля. Среди них были прямой провод, соединявший штаб в Карлсхорсте с Москвой, и много других важных телефонных линий. Сами перехватчики должны были разместиться в шахте на глубине в несколько футов. Станцию перехвата, оборудованную трансформаторами, усилителями, записывающими устройствами и самой разнообразной современной электроникой, предполагалось поместить под складами. Сложная система тревоги должна была давать мгновенный сигнал, если в туннеле окажется кто-либо посторонний. Тяжелые стальные двери делали туннель непроницаемым с востока. На пересечении туннеля с границей между зонами он согласно плану перекрывался мешками с песком. И наконец, специальная воздушная служба получала задание перевозить ежедневный "улов" в Лондон для изучения.

Здесь уместно рассказать об отношениях между СИС и ЦРУ в то время.

В целом сотрудничество между этими двумя службами было тесным, но до известных пределов, ибо по причинам, вытекающим из характера деятельности подобных организаций, каждая сторона имела от другой определенные тайны. Действительно, СИС с ее исторической репутацией и огромным опытом сыграла роль повивальной бабки при рождении ЦРУ сразу после войны, когда США ощутили необходимость в постоянной разведслужбе. В лице Кима Филби американцы получили наставника, направлявшего их деятельность, и в свете последовавших событий это, возможно, была не единственная направляющая рука. Но вскоре ученик перерос учителя и, имея в своем распоряжении гораздо больше люд-

ских и материальных ресурсов, превратился в старшего партнера. Методы ЦРУ были в целом не по душе большинству офицеров английской разведки, которые по традиции применяли более тонкие подходы и предпочитали осторожные способы добывания данных. Однако ЦРУ одной только силой денег и численности могло получать такую информацию, о которой СИС с ее опытом и отработанными методами не могла и мечтать.

Контакт между СИС и ЦРУ открывал широкое поле деятельности, и многие крупномасштабные операции велись совместно. Например, американцы и англичане вместе финансировали и контролировали в целях шпионажа антисоветскую эмигрантскую организацию НТС ("Народно-трудовой союз"). Операция под названием "Шрапнель" обошлась довольно дорого и принесла мизерные результаты. Придя к выводу, что НТС почти полностью контролируется властями Советского Союза, СИС в 1955 году решила выйти из игры и оставить неблагодарную работу общения с русскими эмигрантами американскому партнеру.

Взаимодействие между английской и американской разведками осуществлялось через резидентуру СИС в Вашингтоне и ЦРУ – в Лондоне. У лондонской резидентуры был офис с большим штатом, связанным со многими министерствами и департаментами (МИ-5*, Объединенным управлением разведки, Министерством иностранных дел и др.). Но больше всего они контактировали с СИС, которая, по большому счету, отвечала за деятельность ЦРУ в Соединенном Королевстве.

До того как поставить в известность госдепартамент, ЦРУ всегда обсуждало свои планы с СИС. Приходилось следить за тем, чтобы в телеграммах английского МИД не упоминались совместные планы ЦРУ – СИС. Бывало, что эта предосторожность не соблюдалась и в госдепартаменте узнавали о планах ЦРУ раньше, чем они представлялись на его одобрение. Это создавало трудности в отношениях между ЦРУ и СИС.

Существовала договоренность, что ЦРУ не будет вербовать граждан Великобритании без согласия СИС, и наоборот. Также ЦРУ не должно было проводить операций на территории Соединенного Королевства без согласования с СИС.

Не все в Интеллидженс сервис приветствовали такие тесные связи с американцами. Джордж Янг, как-то беседуя

---

* Военная разведка.

со старшими офицерами СИС об англо-американских отношениях в целом и между двумя разведками в частности, сказал: "Если бы Англия была той же, что и во времена Елизаветы I, а мы были бы столь же неразборчивы в средствах, как авантюристы-елизаветинцы, то правительству было бы проще... Но Великобритании надо было бы сохранять свободу действий, как была свободна в отношениях с Испанией, Францией, Нидерландами и Московией Елизавета. Плохо это или хорошо, но мы делим судьбу с американцами, взаимозависимость ведет к тому, что мы все чаще и чаще в каждом большом проекте сталкиваемся с ЦРУ. Такова политика премьер-министра – как говорится, "тащить с собой американцев". Проблема заключается в том, что в некоторых сферах кооперации коллеги могут тянуть нас назад или даже вместе с собой на дно. Это весьма деликатная и трудная проблема".

Без сомнения, это личные взгляды Джорджа Янга, но, думаю, они точно отражали молчаливое мнение большинства офицеров СИС.

Хочу также отметить, что, кроме участия в подготовительной стадии операции "Золотой секундомер", я никогда больше по работе в СИС не контактировал с ЦРУ и не был задействован в объединенных акциях этих двух разведок.

Уезжая, американцы взяли с собой в Вашингтон детальные планы каждой части операции. Получилось так, что через два дня после их отъезда я вышел на связь с советским резидентом. Я передал ему пленку с протоколами совещания, а также набросками и планами, которые мне удалось сфотографировать накануне во время обеденного перерыва. Я рассказал ему в общих чертах о берлинском проекте и обратил внимание на секретность, которой была окружена операция, а также на необходимость позаботиться о том, чтобы контрмеры советской стороны выглядели естественно и не вызывали подозрений. Мой советский коллега был поражен дерзостью и размахом плана и попросил меня о скорейшей новой встрече, чтобы обсудить все более подробно, а я бы информировал его о новостях.

Когда мы встретились через неделю, он сообщил мне, что ввиду важности материала он лично отвез в Москву сфотографированные документы. Теперь они там изучаются с целью выработки соответствующих защитных мер. Для

начала наиболее важные и секретные сообщения предполагалось рассредоточить по другим каналам. Но ему специально поручили заверить меня: не будет предпринято шагов, которые могли бы навести на мысль о том, что советская сторона что-либо знает или хотя бы подозревает. Моей безопасности придавалось первостепенное значение. Поэтому операция должна идти своим чередом. Более того, ее можно было даже использовать в интересах СССР.

Как же получилось, что я, который был так горд в то утро в августе 1944 года, когда полковник королевской морской пехоты Кордо, начальник управления Северной Европы, сообщил мне в своем кабинете на девятом этаже дома 54 по Бродвею, что я теперь сотрудник легендарной британской разведки, я, который с трудом верил в свое счастье, теперь по доброй воле открывал тайны самых секретных операций своей службы представителю Советского Союза? Чтобы объяснить это, мне придется начать с истории моей жизни, и прежде всего рассказать о том, как формировались мои религиозные и идейные убеждения и как я попал в ситуацию, в которой теперь находился.

Глава вторая

Первые изменения в моей жизни произошли, когда мне было двенадцать, – умер отец. До этого вся семья, состоявшая из родителей, двух младших сестер и меня, жила в достатке в Роттердаме, а позже в Шевенингене – модном морском курорте неподалеку от Гааги. Отец владел маленьким заводом по изготовлению кожаных рукавиц для клепальщиков роттердамской судоверфи. Последним годам его жизни сопутствовали болезни и волнения из-за тяжелого кризиса в судостроении, последовавшего за катастрофой на Уолл-стрите. Переживания из-за нехватки денег ускорили его кончину. На нас, детях, семейные неурядицы почти не отражались, так как, несмотря на сгущавшиеся тучи, маме всегда удавалось сохранять в доме спокойную атмосферу.

Мой отец, Альберт Бехар, родился в Константинополе, где его предки нашли убежище после изгнания евреев из Испании в конце XV века. Дед был богатым купцом, торговавшим коврами, имел много сыновей и дочерей. Процветание семьи длилось до смерти деда, затем старшие сыновья ухитрились быстро промотать его значительное состояние. В доме отца на Босфоре говорили по-испански, но бабушка писала своим многочисленным детям, которые после первой мировой войны поселились в разных странах Европы и Ближнего Востока, по-испански в транскрипции иврита.

Подобно большинству богатых и образованных евреев с Востока, родственники отца воспринимали Францию как колыбель цивилизации, культуры и хорошего вкуса. Они преклонялись перед всем французским и, будучи равнодушными к стране, в которой жили, были готовы принести любую жерт-

ву во имя Франции. Но мой дед, который умер до войны, был человеком достаточно осмотрительным, и, несомненно, из-за сильного влияния Германии в Турции того времени он послал одних сыновей учиться в немецкие университеты, а других – во французские. Отец – младший из сыновей – учился в Сорбонне. Я так никогда и не узнал, чему он там учился. Он едва успел начать курс, как разразилась первая мировая война. Настроенный страстно профранцузски, он сразу бросил университет и вступил добровольцем в Иностранный легион. Для турецкого подданного это была единственная возможность сражаться на стороне французской армии. Многое из того, о чем я говорю, – мои предположения, потому что отец никогда не распространялся о своем происхождении и прошлой жизни. Я знаю, что он служил в Иностранном легионе, потому что он говорил об этом матери и сохранилась его фотография в форме.

Как и почему он впоследствии оказался у англичан, я не знаю, он не рассказывал. Но какое-то время в войну он служил в британской армии в Месопотамии, и я могу предположить, что его хорошее знание турецкого языка пригодилось для каких-нибудь разведывательных операций или чего-нибудь в этом роде. На войне он отличился и имел внушительный ряд медалей, среди которых были британский и французский военные кресты. Отец принял британское подданство, был несколько раз ранен и так до конца и не поправил свое здоровье. Он имел право на пенсию по инвалидности и ежемесячно получал ее в английском консульстве в Роттердаме. Последнее место его военной службы было именно в этом городе, где он со своей частью наблюдал за возвращением домой через Голландию английских пленных из немецких лагерей. Тогда он и встретил мою мать, влюбился в нее и решил жениться.

Мать происходила совсем из другой семьи. Она принадлежала к голландской фамилии, которая в XVII веке переехала из Вестфалии в Роттердам, и хотя предки были торговцами, но произвели на свет множество чиновников, врачей и священников. Ее отец работал архитектором при роттердамском муниципалитете, а дед матери, происходивший из гугенотов, был архитектором на государственной службе. По иронии судьбы, он спроектировал несколько тюрем в разных частях Голландии, и в результате его дети родились в разных городах, знаменитых большими темницами. Мой дед умер в

последний год войны от "испанки", которая тогда свирепствовала в Европе. Бабушка осталась с пятью детьми – тремя девочками, старшей из которых была моя мать, и двумя мальчиками-подростками. Именно старший из моих дядей, заинтересованный в практике английского языка, познакомился с моим отцом и как-то пригласил его в гости на чашку чая. За первым визитом последовали другие, и отец стал другом семьи.

Бабушка, скорее всего, жалела этого одинокого солдата, оторванного от родины, а детям, наверное, он казался весьма романтической фигурой. Он был стройным, со смуглым приятным лицом, которое, впрочем, портили два шрама, по одному на каждой щеке – отметины шрапнели. Недостаток искупали глаза – большие, темные и действительно красивые. Неудивительно, что все три девушки втайне влюбились в него. Моя мать, без сомнения, была самой привлекательной из них. Тогда, в двадцать три года, она была высокой, с правильными чертами лица, обрамленного белокурыми волосами. В ней была бездна обаяния, которое она сохраняла всю жизнь, и самые разные люди невольно проникались к ней симпатией. Она была женщиной того типа, который привлекает восточных мужчин, и, по логике вещей, отец неизбежно должен был влюбиться. Они стали встречаться, и вскоре последовало предложение. У отца еще оставались кое-какие деньги из наследства, и он решил поселиться в Роттердаме, основав свое дело.

Бабушка наблюдала за развитием событий с растущей тревогой. Она, конечно, надеялась, что ее дочери выйдут замуж за голландцев из хороших семей, и ей совсем не пришлась по сердцу перспектива получить в зятья этого смуглого иностранца, о котором она мало что знала и чьи виды на будущее были слишком туманны. Если бы она знала, что отец еврей, то противилась бы браку еще сильнее. В сравнении с другими странами антисемитизм в Голландии не слишком развит, но это не значит, что люди круга моей бабушки были начисто лишены предрассудков в отношении этого древнего народа. Когда говорилось о евреях, они не могли удержаться от пренебрежительных замечаний. Конечно же, она бы не приняла с распростертыми объятиями еврея в качестве члена семьи. Отец, видимо, понимал это и, сознавая, что и так столкнется с достаточно сильным противодействием, решил не ухудшать положение и не сказал будущей жене

о своем еврейском происхождении. Потом ему, вероятно, становилось все труднее и труднее начать разговор на эту тему, и он продолжал молчать. О том, что он был евреем, мы узнали только после его смерти, когда я жил в Египте у его сестры.

Чтобы избежать неприятных ситуаций из-за бабушкиного недовольства женитьбой, молодая пара уехала в Лондон, где в Челси в отделе записи актов гражданского состояния они зарегистрировали брак без церковной церемонии. Вернувшись в Роттердам, родители поселились в старинной части города неподалеку от памятника Эразму. Я хорошо помню эту статую с тех пор, как маленьким мальчиком играл на площади, где она стояла. Говорили, что Эразм переворачивает страницу книги, которую держит, всякий раз, когда часы на церкви Св. Лаврентия отбивают час. Но, как внимательно я ни следил, никогда не поймал этого момента. Этой части города с ее узенькими улочками и маленькими площадями теперь нет – ее полностью уничтожила немецкая бомбардировка в мае 1940 года. Старый дом, в котором я родился и который помню очень смутно, был разделен на две части: в нижнем этаже находились мастерская и контора отца, а верхние были жилыми.

Бабушка, сначала возмущенная побегом моих родителей, некоторое время даже запрещала остальным детям навещать мать, потом поостыла и смирилась со свершившимся фактом, особенно когда родился я – первый внук, которым она гордилась и сразу полюбила.

Случилось так, что в течение жизни мне не раз приходилось менять имя, и первый раз это произошло довольно рано. Моих дедушек с обеих сторон звали одинаково – Иаковы: голландского дедушку в латинской форме – Якобус, поэтому было решено, что я тоже буду зваться Якобом в честь них обоих. Так что когда после родов семейный врач поинтересовался у моей мамы, как меня зовут, она ответила – Якоб. Но придя вечером узнать, как себя чувствуют роженица и младенец, и спросив, как поживает маленький Якоб, он с изумлением услышал ответ, что ребенок больше не Якоб, а Джордж. По дороге в ратушу отец передумал. Я родился 11 ноября – в День перемирия, положившего конец первой мировой войне. Будучи ветераном войны, он в порыве патриотизма решил дать мне имя Джордж в честь английского короля Георга. Поступок для отца вполне характерный – сделать что-нибудь, не посоветовавшись с матерью. Самое

смешное, что я никогда не любил имя Джордж, домашние и друзья меня так никогда не звали, а употребляли прозвище Пок, которое я получил в раннем детстве. Еще удивительнее, что когда я начал читать Библию, то испытывал сильное влечение к тому, кого звали Иаковом, и отождествлял себя с ним. Это было еще до того, как я узнал, что я наполовину еврей. Может быть, память навсегда сохранила воспоминание, как мама звала меня этим именем в первые часы жизни. А не любил я имя Джордж скорее всего потому, что оно редкое для Голландии и из-за него я чувствовал свое отличие от сверстников. Между прочим, русская версия – Георгий (так меня зовут последние двадцать три года) – звучит для моего уха более приятно.

С самого начала мать и ее многочисленные родственники, в первую очередь бабушка, дяди и тетки, стали играть важную роль в моей жизни. Отец, которого мы любили и даже благоговели перед ним, был для нас почти недосягаем: мы мало его видели, особенно после того, как семья переехала на новую квартиру на окраине города, а отец перенес свой бизнес в другое помещение в центре. Мы видели его по воскресеньям да во время короткого завтрака. В те времена детей рано укладывали спать, и мы никогда не встречались по вечерам, потому что он редко возвращался раньше восьми часов, хотя всегда заходил в детскую поправить одеяло и поцеловать нас спящих. По воскресеньям он, усталый, предпочитал оставаться дома с хорошей книгой, пока мать, ее младшая сестра и я подолгу гуляли. У него было слабое здоровье, и все силы уходили на работу. Перед ним оказалось множество трудностей: он был иностранцем и не говорил по-голландски, плохо знал национальные характер и обычаи, поэтому часто совершал поступки, казавшиеся здешним жителям странными, а это отталкивало покупателей. Беды были бы поправимыми, если бы он все-таки выучил язык и прислушивался к советам матери, что он всегда отказывался делать. Будучи евреем, он не походил на тип ловкого еврея-дельца. Когда дела шли хорошо, он был в приподнятом настроении и щедро тратил деньги, часто идя наперекор маминому здравому смыслу. В плохие времена становился нервным и подавленным. Огромной заслугой моей матери было то, что среди этих приливов и отливов судьбы и настроения она сумела удержать на плаву семейную лодку и оградить нас, детей, от их последствий.

Отец свободно говорил по-французски и хорошо по-английски, хотя мне и трудно судить, потому что я сам начал учить английский уже после его смерти. Дома с матерью, которая, как большинство голландцев, знала английский лучше французского, хотя учила в школе два языка, он объяснялся по-английски. Мы, дети, говорили по-голландски и с родственниками, и в школе, а так как мы мало видели отца, то английского не выучили. В семье сложилась необычная ситуация: дети и отец говорили на разных языках. Правда, это обстоятельство нас мало волновало, и, как мне помнится, мы отлично понимали друг друга. Был только один случай, когда это причинило мне печаль и боль. Последние три месяца своей жизни отец провел в больнице в Гааге, где мы тогда жили. Он умирал от рака легких – последствие газовой атаки во время войны. Мы знали, что он умирает, врачи с самого начала сказали маме, что положение безнадежно. Каждый день после школы – я учился в первом классе муниципальной гимназии – я навещал его. В палате, где он лежал, занавески вокруг его кровати всегда были отдернуты. Однажды, когда я сидел у его ложа, он попросил задернуть полог, а я никак не мог понять, чего он хочет. Чем больше я старался, тем меньше понимал. Он рассердился, а я отчаянно, до слез расстроился. К счастью, больной сосед понял его и объяснил мне, что делать, и все обошлось. Этот случай я никогда не забуду. Вскоре отец умер.

Родные матери представляли собой сплоченную семью. Они не всегда соглашались друг с другом, но были очень дружны, и я часто видел бабушку, теток и кузин. Как первый из внуков, я был бабушкиным любимцем. Высокая, видная женщина с румяным лицом и красивыми седыми волосами, всегда одетая в длинные черные платья (такова была мода тех лет для пожилых женщин), с тростью черного дерева, потому что у нее болело колено, она производила внушительное впечатление. Обладая сильным характером, она всегда говорила то, что думала. Дети ее любили и уважали, но слегка побаивались, как, наверное, и дед, который, по рассказам, был человеком мягким. Я просто обожал ее. Сестры и кузины были менее восторженны, думаю, в глубине души их обижало, что любимчиком был я. Семья была не слишком богата, и бабушка жила на пенсию за покойного мужа, которую платил роттердамский муниципалитет. Каждый месяц она отправлялась в ратушу за пособием и всегда брала с собой

меня, устраивая из похода маленький праздник. Ратуша с ее монументальной лестницей и длинными сводчатыми коридорами, с бело-черными мраморными плитами и тяжелыми дубовыми дверями поражала меня. Здесь я чувствовал себя важной персоной, обстановка как бы бросала на меня отблеск своего великолепия, казалось, что я тоже причастен к таинству управления городом. Получив деньги, она всегда вела меня "к Хеку", в одну из лучших кондитерских Роттердама, где маленький оркестрик играл легкую музыку, а я лакомился пирожными или мороженым.

Нельзя сказать, что в детстве я был лишен мужского влияния: в отличие от вечно занятого отца, дяди уделяли мне много времени. Летом они брали меня с собой на Маас плавать на яхте. Зимой мы катались на коньках, чему я научился лет в пять. Мой старший дядя тогда готовился стать инженером-гидротехником. Помню, как мы с бабушкой навещали его на практике, где он жил в деревянном сарайчике и занимался осушением польдеров. Он ходил в высоких резиновых сапогах, все это вместе с отвратительной грязью и водой кругом навсегда отвратило меня от этой профессии. Когда он закончил учебу, правительство послало его в Вест-Индию, там он женился и навсегда пропал из моей жизни. Другой дядя работал в фирме своего зятя, занимавшейся торговлей зерном, тоже женился, а потом основал собственное сельскохозяйственное дело. До самой своей смерти в конце 60-х годов он продолжал играть значительную роль в моей жизни. Оба дяди были высокого роста, и мальчишкой я надеялся, что стану таким же. Мои мечты не сбылись, и сам я ростом всего 5 футов 7 дюймов, но один из моих сыновей дорос до 6 футов, а другой, родившийся уже в России, – до 6 футов 2 дюймов.

Большое место в моей жизни занимала тетя Труус (уменьшительное от Гертруды), младшая сестра моей матери, самая высокая из сестер с довольно острым языком и таким же, как у бабушки, независимым характером. Она обладала редким даром рассказчика и могла превратить любое повседневное событие в интересное и забавное приключение, изображая интонации, произношение и особенности речи всех его участников. Она не вышла замуж и работала в известной банковской фирме. По субботам, когда была свободна, она обычно брала меня с собой на прогулки, длившиеся по три, а то и больше часов. Мне нравилось ее общество, тем более что она рассказывала бесконечные истории про дальних род-

ственников или сослуживцев, которых я никогда не видел, но уже хорошо узнал. Слушать ее было одно удовольствие, я часто заливался смехом, особенно когда она передразнивала людей. Гуляя с ней, я приобрел два свойства характера. Одно – это глубокое убеждение в том, что высшая степень юмора – пародирование. Второе – я привык больше слушать, чем болтать. Так, отчасти из лени, отчасти из природного интереса к тому, что скажет собеседник, я всегда предоставляю возможность говорить другим, предпочитая слушать или, если мне скучно, думать о своем.

Когда мне исполнилось пять лет, я пошел в муниципальную школу, которая находилась в десяти минутах ходьбы от дома. С первого дня я хорошо успевал и был всегда среди первых четырех учеников. Моим любимым предметом стала история, конечно, история Голландии. Я очень рано прочитал новеллы о 80-летней войне Голландской республики с Испанией, рассказы об открытиях мореплавателей и морских сражениях де Рёйтера и Трампа. На подобное чтение меня вдохновил дядя Том, который когда-то сам любил такие книги, а потом передал их мне. Моими героями были принцы Оранские: Вильгельм Молчаливый, чей портрет висел в моей комнате, его сыновья и великий внук – король-статхаудер Вильгельм III. Я проникся любовью к династии Оранских и, читая о долгой борьбе за власть между статхаудерами и мощной купеческой олигархией, всегда симпатизировал первым.

Еще раньше мое воображение захватили библейские герои – Авраам, Исаак, Иаков, Исайя, Иосиф и его братья, Самсон, Давид, Савл и другие. Первая книга, которую я получил в подарок, была детская иллюстрированная Библия. С огромным удовольствием я сначала слушал, а потом и сам читал истории Ветхого Завета. Его герои произвели на меня глубокое впечатление и полюбились гораздо больше, чем персонажи Нового Завета, с которыми оказалось гораздо труднее себя сравнивать.

Семья матери принадлежала к арминианской церкви, так звали себя последователи голландского богослова XVII века Якоба Арминия. Он проповедовал свободу воли и утверждал, что раз Христос искупил людские грехи, то все спасутся независимо от предопределения, если будут верить. Голландская реформатская церковь более или менее строго придерживалась доктрины Кальвина о предопределении. Разногласия

между арминианами и кальвинистами в начале XVIII века привели к гражданской войне, где богатые купеческие фамилии были на стороне арминиан, а простые люди, возглавляемые статхаудером Морицем, сыном Вильгельма Молчаливого, стояли за кальвинизм. Борьба закончилась победой кальвинистов, в 1619 году синод объявил Арминия еретиком и отлучил арминиан от церкви. Я пишу об этом споре так подробно, потому что он сыграл роль в моих религиозных, а позднее философских убеждениях. Было бы естественным, если бы мои симпатии, как у всей семьи, были отданы последователям Арминия, но я был на стороне голландской реформатской церкви. Конечно, десятилетний мальчишка не понимал, что такое свобода воли или предопределение, все было гораздо проще: статхаудер поддерживал кальвинистов, я – тоже. Много лет спустя я понял, что мой тогдашний выбор вел к искренней вере в предопределение и избранность по милости Божией, а позже и к детерминизму.

Моя ранняя приверженность книгам и интерес к истории совсем не мешали общению с ребятами моего возраста. У меня было много друзей и в школе, и по соседству. Чаще всего мы играли на улице, и игры сменяли друг друга в строгом порядке, следуя неписаному таинственному закону, подчиняющемуся временам года и такому же непреложному, как законы природы. Большую часть свободного времени мы, мальчишки, болтались на набережной и многочисленных пристанях в порту. Я обожал сидеть на швартовой тумбе, наблюдая, как деловитые маленькие буксиры тянут на место стоянки величавые океанские лайнеры. Там я провел много счастливых сред (в этот день не было уроков), глядя на движение кораблей по реке и стараясь угадать национальность судов по флагам и компанию, к которой они принадлежали, по указателям на трубах. Есть известное стихотворение, в котором говорится, что если ты рос в Роттердаме, то в любой точке мира будешь чувствовать себя как дома. Везде ты будешь ловить запахи, знакомые с детства, когда ты играл на пристани: кофе из Бразилии, пряности из Индии, кожи из Аргентины, лес из России. Где бы ты ни был, всегда можешь сказать: пахнет, как в Роттердаме. Может быть, поэтому я очень быстро привыкаю к новому месту, в каком бы государстве мне ни приходилось жить.

Мои отношения с сестрами всегда были очень близкими и оставались такими всю жизнь. Мы будто чувствовали себя

связанными общей судьбой, которой не страшна разлука. Мы с сестрами были погодками, много играли друг с другом, с их и моими друзьями. Одна из самых любимых игр была "в доктора". Ванная превращалась в подобие операционной, я был врачом, сестры – пациентками. Или чердак становился церковью со скамейками, сделанными из досок, и импровизированной кафедрой. Я, одетый в старое бабушкино черное платье, изображал священника, а сестры – прихожан. Правда, мне эти игры нравились больше, чем им, и иногда даже приходилось их задабривать, чтобы они согласились участвовать в моих затеях.

В 1929 году произошел крах на Уолл-стрите. Разрастаясь, мировой кризис начинал угрожать благополучию нашей семьи. Из-за резкого спада в мировой торговле многие корабли оказались на приколе, новые перестали строиться. Это, естественно, отразилось на состоянии дел отца, и хотя он производил разные кожаные изделия, но основной доход был от продажи рукавиц для клепальщиков судоверфей. Когда закрылись верфи и заказы иссякли, отцу пришлось уволить часть рабочих. Фирма тетиного мужа, который торговал зерном, обанкротилась. Подобно многим разорившимся и ожесточившимся обывателям, тетя и дядя стали искать спасения в национал-социализме. Дома, независимо от того, улучшалось или ухудшалось положение, ежедневно велись разговоры вокруг бизнеса, трудностей с оплатой кредитов, увольнения рабочих. Да и не только дома, но и на улице – везде чувствовались приметы экономического кризиса. В магазинах плясали ослепительно красные цифры ценников в отчаянных попытках привлечь покупателей. Многие предприятия, не выдержав, лопнули и закрылись. Сотни тысяч людей оказались без работы. Каждый день они собирались на бирже труда, где должны были засвидетельствовать, что не устроились тайком на работу и поэтому достойны более чем скромного пособия, которого хватало только на то, чтобы семья не умерла с голоду. Здесь часто бывали митинги и демонстрации. Армия спасения организовала передвижные кухни и собирала вещи для нуждающихся. И в школе было несколько мальчиков, чьи отцы остались без работы. Нельзя сказать, что в 10 – 12 лет я уже испытал протест против несправедливости системы, породившей всеобщее унижение, скорее я чувствовал что-то вроде смирения перед лицом невероятного бедствия, которое невозможно было отвратить, как болезнь или

смерть. Дело в том, что болезнь и смерть остались в моей памяти неотделимыми от мирового экономического кризиса.

Из-за финансовых волнений, упорной борьбы за сохранение дела и неопределенности будущего уже и так подорванное здоровье отца стало стремительно разрушаться. Он возвращался с работы таким измотанным, что с трудом мог подняться по лестнице. На второй день Рождества он слег и больше не поднимался. Мать позвала врача, который велел немедленно ехать в больницу. Назавтра отцу поставили диагноз – рак легких, и мать сказала нам, что надежды на выздоровление нет.

Это было началом трудного периода. Мать взяла на себя руководство делом, чтобы сохранить то, что еще можно было сохранить. Вместо того чтобы смотреть за домом, ей приходилось каждый день отправляться на работу в Роттердам. К тому же она старалась как можно чаще навещать отца, что было невероятным напряжением. Чтобы кто-нибудь был с отцом, если она не сможет вечером пойти к нему, я взял за правило каждый день после школы ходить с сестрами в больницу. Мать сразу сказала нам, что надежды нет, но, мне кажется, я не мог до конца в это поверить, и какая-то часть меня была убеждена в том, что однажды он вернется домой. Хотя отец мало занимался нами, мы его нежно любили и не представляли жизни без него. Что же касается самого отца, то он, хоть и осознавал, что страшно болен, думаю, до последних дней не верил, что умирает. Он часто говорил о том, что будет делать, когда выйдет из больницы. Один из планов был поехать к его матери, которая тогда жила в Ницце, для окончательного восстановления сил.

Отец умер апрельским утром. Накануне вечером маме позвонили из клиники, состояние отца ухудшилось, и ей надо было провести ночь у его постели. Утром я, как всегда, поехал в школу на велосипеде в компании друга, по дороге мы встретили такси, в котором ехала моя мать. Она остановила машину и сказала, что отец умер. Я вернулся домой.

Хотя я знал, что он умирает, это был тяжелый удар. Его хоронили из больницы, в закрытом гробу, я так никогда и не видел его мертвым, и очень долго сохранялась тайная вера, что он жив, живет где-нибудь и вдруг неожиданно приедет.

Между тем жизнь продолжалась. Конечно, в сложившихся обстоятельствах матери было невозможно сохранить фирму, и вскоре мы обанкротились. После того как были уплачены

основные долги, у нас не осталось никаких средств, и жить стало не на что. Семья матери помогала нам, как могла, но все там существовали на пенсию или зарплату, и им было почти нечем делиться. Мать начала с того, что сдала комнаты двум медицинским сестрам из ближайшей больницы. Она хорошо готовила и принялась стряпать ужины для девушек из соседней конторы. Вот на эти деньги, маленькое государственное пособие и благодаря жесткой экономии ей удавалось содержать семью так, что мы не почувствовали резкого изменения жизни.

Незадолго до смерти, очевидно поняв, что он умирает, отец продиктовал адрес одной из сестер, которая жила в Каире, и сказал, что мать должна обратиться к золовке за помощью.

Она так и сделала. Тетя была замужем за банкиром, жила в роскошном доме и имела двух сыновей. С ними жила и незамужняя младшая сестра отца. Это была богатая еврейская семья. Они все поняли и с готовностью согласились помочь, но, вместо того чтобы регулярно посылать деньги женщине, о которой они в конечном счете почти или совсем ничего не знали, они предложили, чтобы я – единственный сын – приехал в Каир жить у них, а они позаботятся о моей учебе. Предложение сулило и материальное облегчение семье, и хорошее образование мне.

Сначала мать была смущена такой идеей и не хотела со мной расставаться, но, поразмыслив и обсудив все с родственниками и друзьями, решила отпустить меня. Она понимала, что расти в роскоши и космополитичном окружении тетиного дома будет полезнее для меня и лучше подготовит к будущему, чем гораздо более скромный и достаточно ограниченный провинциальный стиль жизни голландского среднего класса. Бабушке мой отъезд был очень не по душе, но, не будучи в силах предложить большей материальной поддержки, она была вынуждена согласиться. Меня же раздирали противоречивые чувства. Я был очень привязан к дому, родным, особенно к бабушке, а перспектива жизни в доме незнакомых дяди и тети, даже языка которых я не знал, пугала меня. Но, с другой стороны, привлекали предстоящее далекое путешествие в экзотическую страну, совершенно новая жизнь и приключения, которые меня там ждали. Жажда приключений и неизведанного оказалась сильнее страха, и после нескольких дней раздумий я сказал матери, что готов ехать.

Спустя два месяца прекрасным сентябрьским вечером я стоял на палубе голландского грузового судна и смотрел на белые дюны, исчезающие в заходящем солнце. Капитан пообещал присматривать за мной и передать прямо в руки кузену, который должен был встретить меня в Александрии. В команде оказался юнга двумя-тремя годами старше меня, брат моего школьного друга. Это дало мне возможность попасть в каюты экипажа – мир, населенный, по моему разумению, настоящими мужчинами, поэтому горечь расставания с семьей быстро прошла. Команда отнеслась ко мне по-доброму, думаю, все немного жалели меня. Две недели плавания пролетели очень быстро, и вскоре наш корабль, медленно огибая английские крейсера и суда разных стран, пришвартовался к александрийской пристани. На молу ждал кузен Рауль, чтобы доставить меня в дом своих родителей в Каире. Когда мы спускались на берег, вся команда вышла на палубу пожелать мне удачи и помахать на прощание. Кузен говорил по-французски и немного по-английски, я – плохо на обоих языках, но незнание искупалось желанием общения и старанием понять собеседника. Как все в семье отца, он был темноволосый и изящный. Хрупкое сложение и очки придавали его внешности ученый вид. Он действительно в это время изучал в Париже санскрит, а позже стал известным археологом.

На каирском вокзале нас встретили обе тети, одетые в черное в знак траура по моему отцу. Машина, которую вел личный шофер, привезла нас к дому, известному в Каире как "вилла Кюриэль", где они жили. Построенный в стиле итальянских палаццо, с террасами и балконами, он был чем-то вроде большого особняка или маленького дворца. Дом стоял в окружении пальм в саду на северной оконечности острова Замалек между двумя ответвлениями Нила. Здесь было не меньше дюжины спален. Мой дядя Даниэль Кюриэль, хотя и был слепым, оказался страстным любителем антиквариата, и столовую, библиотеку и гостиную украшала мебель разных стилей и эпох. На стенах висели картины и гобелены, а полы устилали восточные ковры; они, как я позже узнал, были большей частью из тетиного приданого.

Меня сразу повели к дяде, лежавшему на софе, рядом с которой стоял радиоприемник. Радио играло важную роль в его жизни – он жадно слушал в те годы все новости о поднимающемся национал-социализме и антисемитизме в Германии и растущей угрозе войны.

Это был маленький человек с покатыми плечами и довольно дряблой фигурой, с выдающимся носом и густыми рыжими усами на бледном лице. Он всегда носил темные очки, что придавало его внешности что-то таинственное. Дядя ослеп в возрасте десяти месяцев, когда его случайно уронила нянька. Он был большим любителем музыки и прекрасно играл на фортепиано.

Тетя подвела меня к софе, и я наклонился поцеловать дядю. Он ощупал мое лицо пальцами – жест, к которому мне еще предстояло привыкнуть, – и ласково сказал несколько приветственных слов.

К ленчу приехали гости, среди которых были старые друзья семьи, знавшие отца по Константинополю. Им было любопытно посмотреть на меня. Все обращались со мной очень сердечно, а я чувствовал себя довольно неловко в совершенно непривычных условиях, к тому же не понимал половину того, что мне говорят. Грандиозный ленч состоял из шести блюд, которые подавали слуги-нубийцы в белых одеяниях, подпоясанных красными кушаками.

Тетя Зефира вышла замуж за дядю, который был на десять лет старше нее, когда ей было шестнадцать. По договоренности между двумя семьями ее послали из Константинополя в Каир, чтобы вступить в брак со слепым человеком, которого она никогда не видела и который никогда не сможет увидеть ее. Но брак оказался счастливым. Когда я приехал в Каир, тете было около пятидесяти. Худенькая, уже седая, с очень четкими чертами лица, она вся излучала доброту. Тетя была набожна и склонна к мистицизму. Думаю, замужество за слепым было для нее жертвой и выполнением предначертания. Много времени она уделяла благотворительности по отношению и к евреям, и к католикам. В еврейской общине в Египте было много бедных, их семьи жили здесь с библейских времен, говорили по-арабски и, кроме религии, ничем от египтян не отличались. Тетя и дядя давали деньги школам и приютам, особенно приюту монашеского ордена Сионской богоматери, тетя часто там бывала и жертвовала крупные суммы. На это была своя причина: одна из сестер отца, будучи совсем молодой, обратилась в католичество, стала монахиней и жила в обители ордена в Константинополе.

Незамужняя тетя Мария с черными, как смоль, волосами была на пять лет моложе сестры и страшно похожа на моего отца. Поэтому очень скоро я почувствовал себя с ней легко,

хотя поначалу нам было трудно разговаривать. Она проводила много времени за вязанием вещей для бедных и всегда сопровождала сестру в ее благотворительных поездках. Она же ухаживала за всеми больными в доме и знала удивительное количество народных средств, хотя больше всего верила в магическую силу банок, которые ставила на спины своих многочисленных родственников при каждом удобном случае.

Довольно колоритной фигурой в семье был дядя Макс, младший брат дяди Даниэля, – высокий, широкоплечий, с приятной внешностью. Компаньон, мало участвующий в делах фирмы, он совсем не работал и вел образ жизни бонвивана: имел любовниц, поздно вставал, долго одевался, после ленча отправлялся играть в бридж, навещал друзей, ходил на вечеринки, а заканчивал день в модном ночном клубе. Ко мне он был добр, но относился слегка отстраненно.

Хотя обитатели дома состояли в том или ином родстве, все были подданными разных стран. Семья Кюриэлей происходила из Тосканы, и дядя с тетей сохраняли итальянское гражданство. Дядя Макс по неведомой причине имел египетский паспорт, тетя Мария оставалась турецкой подданной, кузен Рауль – французским, а его брат Анри, о котором я расскажу позже, из солидарности с арабской беднотой взял египетское гражданство, я считался англичанином.

Родня начала с того, что послала меня во французскую школу, чтобы я как можно скорее выучил язык. В те годы перед войной образованные люди на Ближнем Востоке говорили по-французски. Они хотели отдать меня в иезуитский колледж, где учились оба их сына. Но я решительно воспротивился, потому что был воспитан в протестантской традиции, и одна мысль, что придется ходить в католическую школу, особенно иезуитскую, ужаснула меня. Я сказал, что голландская семья будет недовольна, если узнает, что я посещаю католическое учебное заведение. Тетя сразу поняла, в чем дело, и решила послать меня во французский светский лицей, у которого были хорошая репутация и классы для обучения детей богатых египтян. Год, который я провел в лицее, был не очень счастливым, но говорить по-французски я выучился. Мои соученики были в основном египтяне, избалованные сынки преуспевающих родителей, и несколькими годами старше меня. Вне школы они говорили друг с другом по-арабски, на языке, которого я тогда не знал, и поэтому

мы мало общались. Я подружился только с одним мальчиком-коптом.

Часто я задумывался о том, что бы случилось, если бы я пошел в католический колледж, ведь я вполне сам мог стать отцом-иезуитом.

Тети и дяди были очень добры ко мне и делали все, чтобы я чувствовал себя как дома. Скоро между мной и дядей возникла привязанность, часто я сопровождал его на прогулки и приемы в министерства. Время от времени он брал меня с собой в контору, и я сидел в его кабинете, наблюдая, как заключаются сделки. К этому времени он уже перестал возлагать надежды по части бизнеса на своих сыновей, которые придерживались ультралевых взглядов. И тогда, мне кажется, он начал подумывать обо мне. Сомневаюсь, чтобы я оказался подходящим материалом – меня никогда не привлекал бизнес, и я даже не жалел, что фирма отца обанкротилась. Вскоре резкие перемены положили конец этим замыслам.

Тетя и дядя, чтобы избежать палящего солнца египетского лета, каждый год проводили несколько месяцев в Европе, обычно во Франции, где у них было много родственников. Мне предоставлялся выбор – сопровождать их или провести каникулы в Голландии. Без колебаний я выбрал второе: хоть мне и было хорошо в Каире, но я скучал без голландских родных и считал часы до начала вакаций, вычеркивая день за днем из маленького календарика над кроватью.

Один из наших знакомых в Роттердаме был судовым агентом, и он забронировал мне пассажирское место на норвежском фрегате, который курсировал между Антверпеном и Пиреем, заходя в разные порты Средиземноморья. Когда в начале июня в греческом порту Патры я поднялся по трапу корабля "Брюзе Ярл", начался незабываемый период моего детства. Весь следующий месяц я вел жизнь, о которой мечтают все мальчишки в четырнадцать лет. Сначала я был просто пассажиром, но потом стал участвовать в жизни корабля и к концу поездки превратился в полноправного члена экипажа. Я стоял у штурвала, драил и красил палубу, а если было туманно, то поднимался в корзину на верхушке мачты для наблюдения.

Последним городом, в который мы заходили перед Антверпеном, был Лондон, и я впервые ступил на землю, гражданство которой имел, а восхищение и уважение к которой

унаследовал от отца. Когда мы проходили Ла-Манш, во мне начало расти волнение, как в предвкушении великого события, усиливающееся обычной суматохой при приближении к большому порту. Стояло прекрасное летнее утро с легким туманом, когда я впервые увидел Англию, ее низкую береговую линию и черно-белый маяк, где мы взяли лоцмана. Я смотрел на него с интересом, так как видел в этом моряке особенного человека – первого англичанина, живущего в Англии. Чуть позже маленький буксир протащил нас сквозь шлюзы в ист-эндский док. Как только корабль причалил и спустили трап, я вышел на берег. Проведя детство в Роттердаме, я был хорошо знаком с атмосферой большого порта, его доками и домами рабочих, пабами и складами, железнодорожными путями, сомнительными кафе и матросскими клубами. Первый путь в Лондон вдоль Коммершиал-роуд не принес мне ничего нового, кроме впечатления, что здесь грязнее и обшарпаннее, чем в моем родном городе. Но больше всего меня поразили люди. Неужели эти в большинстве своем низкорослые, с резкими чертами, суетливые и жилистые человечки принадлежали к той же нации, что и высокие, приятной внешности, спокойные молодые офицеры, за чьей игрой в поло я наблюдал в Каире в спортивном клубе? Тогда я еще не слышал о теории двух наций Дизраэли, но таково было мое собственное впечатление: Англию населяли два народа, рознившиеся не только привычками, языком и культурой, но даже и внешностью.

Через два дня я встретился с матерью и сестрами после первой долгой разлуки. Потом в жизни было много разлук, и более долгих и более тягостных, но всегда в них присутствовала надежда на радость будущей встречи.

Лето прошло мгновенно. В сентябре я снова покинул семью, чтобы сесть на "Брюзе Ярл" в Антверпене и вернуться в Египет.

После того как я овладел французским – языком, на котором говорили в доме, тетя и дядя решили, что мне надо заняться английским, тем более что я – гражданин Великобритании. В Каире была отличная английская школа для детей англичан, которые служили в Египте, в нее принимали и других учеников. Меня послали туда, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в Лондонский университет. В этой школе я чувствовал себя гораздо лучше, чем во французском лицее. Здесь жили по законам частных привилеги-

рованных английских учебных заведений, хотя большинство учеников были приходящими. Учителя здесь носили мантии, существовали старосты, утренние молитвы и телесные наказания. Я приобрел там несколько хороших друзей, среди которых был американский мальчик голландского происхождения. Он очень любил английскую литературу, и под его влиянием я стал большим поклонником Диккенса, прочитал его целиком и восхищался тем больше, чем сильнее отличались его книги от жизни в Египте. Другими моими друзьями были американские ирландцы, мальчик и девочка, и дети греческого посла, которые оказались родственниками лучшего друга моего кузена Генри. Через них я познакомился с детьми голландского посла, мальчиком и девочкой моих лет. Неплохо ко мне отнеслись и жены представителей "Филипса", поэтому иной день мне удавалось провести в атмосфере Голландии.

Оглядываясь на те годы, я думаю, что пережил тогда внутренний кризис осознания себя. Кем я был? Еврейский космополитичный дом, английская школа, отражавшая блеск британской имперской мощи, к которой я тоже имел отношение, и в сердце постоянная тоска по Голландии и всему голландскому.

Я был очень религиозным мальчиком и каждое воскресенье ходил в церковь, иногда даже дважды. Первый мой год в Египте я не мог этого делать, так как не знал языка и не способен был следить за службой, но на второй год я уже хорошо говорил по-английски и стал посещать американскую реформатскую церковь, где церемония похожа на голландскую. Позже, привлеченный красотой литургии, я полюбил англиканский собор. В дядиной библиотеке нашлась большая французская Библия, я забрал ее в свою комнату и каждые утро и вечер читал оттуда по главе. Тетки не препятствовали моему хождению в церковь, а, скорее, приветствовали это. Они никогда не пытались обратить меня в иудаизм, этот вопрос возник лишь один раз, я вежливо отказался, и об этом больше не говорили. Я не мог вообразить, как, познав Мессию, можно было вернуться к жизни без Него. Тот факт, что во мне текла еврейская кровь, не огорчал меня, напротив, я гордился этим. Мне казалось, что я оказался избранным дважды: первый раз – по рождению через обещание, данное Аврааму, а второй раз – благодатью Христова искупления.

Мой религиозный пыл подогревался спорами с кузеном

Анри, младшим сыном тети, изучавшим право в Каирском университете. Он был высокий и худой, уже тогда очень сутулый, с черными вьющимися волосами, бледным лицом с резкими чертами. Огромное обаяние и ослепительная улыбка делали его неотразимым не только для женщин, но и для всех, кто с ним встречался. Он интересовался политикой и придерживался левых взглядов. Нищету арабов он видел вокруг себя с детства, старший брат Рауль увлек его работами Маркса, Энгельса и Ленина. Рауль всю жизнь оставался социал-демократом и в то время был молодым протеже Леона Блюма, главы правительства Народного фронта во Франции. Анри видел единственное спасение для Египта в коммунизме и использовал полученные от отцов-иезуитов навыки для пропаганды своей веры. Потом он стал одним из создателей коммунистической партии Египта и провел много лет в тюрьме. Когда его выслали из страны, он поселился во Франции, где поддерживал борьбу Алжира за независимость, активно искал сближения между Израилем и ООП. Его убили в 1978 году в Париже правые экстремисты.

Будучи на восемь лет старше, он любил разговаривать со мной и часто брал с собой к крестьянам отцовского имения в пятидесяти милях от Каира. Условия их жизни были ужасны, многие болели, Анри всегда привозил для них лекарства. Дядя не одобрял этих поездок и вообще левых взглядов. Он был добрым человеком, но его благотворительность распространялась только на еврейские общины, а не на египетских крестьян. Вскоре Анри сам стал осознавать тщетность своих усилий: одних лекарств было мало, требовалось изменить систему.

Я очень любил его и хорошо с ним ладил, но его пример и разговоры не имели на меня никакого влияния, напротив, вызывали обратное действие. Меня трогали страдания египетской бедноты, хотя в те годы я смотрел на эти проблемы не как на громадное социальное зло, а как на традиционные для Востока. Не могу отрицать, что коммунистические идеи мне казались привлекательными, но для принятия этих взглядов было одно непреодолимое препятствие – коммунизм был извечным врагом Бога, и, где бы он ни побеждал – в Советском Союзе или в Испании (шла гражданская война), немедленно начинались преследования христианской церкви и священников. Этого одного было для меня достаточно, чтобы разбить все аргументы кузена.

Так я прожил три года, проводя зиму в Египте, а лето частью на борту "Брюзе Ярл", частью с матерью и сестрами в Голландии. Потом наступило лето 1939 года. Я закончил год успешно, получив награды по истории и латыни, и перешел в шестой класс, а будущей весной должен был держать экзамены в Лондонский университет. Мне было шестнадцать лет, и жизнь приносила мне пока одни удовольствия. Я провел приятное лето, общаясь с родственниками, и через неделю собирался возвращаться в Египет. Тогда-то стало известно, что Германия напала на Польшу. Через два дня, в воскресенье, когда мы с мамой и сестрами после церкви пили кофе, по радио выступил Чемберлен, сообщивший, что война объявлена. Я задумался, чем она станет для нас, останемся ли живы. Сразу решили, что в Египет я не вернусь. Время было таким опасным, а будущее столь неопределенным, что мать чувствовала: нам надо держаться вместе. Я не противился. В глубине души я был рад, что теперь можно, как я надеялся, вернуться к нормальной жизни в Голландии.

Глава третья

Новый этап моей жизни наступил, когда было решено, что я пойду в последний класс роттердамской школы, жить буду у тети с бабушкой, а на уик-энды ездить к матери в Гаагу. Я был рад, что снова вернулся в Голландию. Голландская школьная программа, конечно, сильно отличалась от каирской, по некоторым предметам я отстал, по другим – был впереди одноклассников, особенно по языкам, но в целом привыкнуть оказалось несложно. У меня появились новые друзья, и я чувствовал себя на своем месте и более естественно, чем в Египте. Пришла холодная зима 1940 года, реки и каналы замерзли, и я часто отправлялся на долгие конькобежные прогулки вокруг Роттердама. Продовольственное снабжение еще оставалось хорошим, но уже ввели карточную систему. Войну, которая для нас пока по-настоящему не началась, мы почти не чувствовали. Иногда нарушивший наш нейтралитет английский или немецкий самолет оказывался сбитым над Голландией. Оставшихся в живых членов экипажа интернировали, погибших – хоронили с воинскими почестями.

Среди населения, в общем-то, существовала уверенность, что Нидерландам, как и в первую мировую, удастся сохранить нейтралитет, нельзя только злить вспыльчивого восточного соседа. Вторжение в Норвегию и Данию сильно поколебало это убеждение, и настроение стало более пессимистическим. Поддерживая нейтралитет, большинство населения открыто симпатизировало Англии и Франции, особенно первой. Несмотря на колониальное соперничество, во времена серьезных национальных опасностей, например в 80-летнюю войну

или французскую наполеоновскую оккупацию, голландцы всегда ждали помощи от Англии. И никогда не ошибались с тех пор, как британская политика на континенте в отношении северных стран стала постоянной. Будучи нацией коммерсантов и моряков, голландцы были гораздо ближе по духу к англичанам, чем к немцам, чьи захватнические традиции были чужды и пугали, особенно в последних национал-социалистических проявлениях.

Когда рано утром 10 мая меня разбудил звук взрыва, первая мысль была о лопнувшей шине проезжавшей мимо машины. Я перевернулся на другой бок, чтобы снова заснуть, но раздался новый взрыв, сопровождавшийся автоматной стрельбой. В спальню вошла взволнованная бабушка, спрашивая, что бы это могло быть. "Возможно, немецкий или союзный самолет", – ответил я, то ли действительно веря в свои слова, то ли стараясь ее успокоить.

Я встал и подошел к окну. Люди, в основном полуодетые, выглядывали из окон или толпились маленькими группками на улице, некоторые залезли на крыши. Все смотрели в небо, где несколько самолетов гонялись друг за другом, обмениваясь пулеметными очередями. Со стороны порта раздался звук мощного взрыва. Было ясно, что все намного серьезнее, чем просто нарушение воздушного пространства. "Война, вторжение, немцы" – эти грозные слова донеслись до меня с улицы. Я включил радио. Диктор голосом, не предвещавшим ничего хорошего, повторял те же новости. На рассвете германские войска перешли границу, и теперь шло сражение с голландской армией, которая получила приказ не сдаваться. Война была объявлена, голландский посол в Германии отозван, правительство обратилось к союзникам за помощью.

В то утро внешне все напоминало народное гуляние. Улицы были полны людьми, у которых не было ни малейшего военного опыта, и они совершенно не обращали внимания на опасность, грозившую с неба. Их настроение отражало патриотический подъем, усиленный негодованием из-за предательского нападения сильного соседа на маленькую страну, которая хотела одного – жить в мире. Вопрос, идти или не идти в школу, даже не возникал, и мы с друзьями отправились в центр города, откуда доносились звуки сражения. Все мы были в состоянии радостного возбуждения, совершенно не соответствующего случившемуся. Настроение улучшилось

новостями – правительство в знак неприязни к врагу упразднило преподавание немецкого в школе. Конечно, это была довольно странная мера, в нашем положении стоило подумать о более серьезных вещах, но нам, школьникам, заявление понравилось.

До центра дойти не удалось: мы были остановлены шквалом огня. Пересекая границу, немцы одновременно сбросили на Роттердам парашютный десант, чтобы занять аэродромы и мосты через Маас, соединяющие Северные и Южные Нидерланды. Эти объекты охраняли моряки роттердамского гарнизона, но они несли большие потери, а нацисты сбрасывали все новых и новых парашютистов. Неподалеку от нашего дома упала бомба и сгорело здание.

В течение дня война стала восприниматься как реальность, и эйфория первых нескольких часов прошла сама собой. Вопроса, ехать или нет в Гаагу, чтобы соединиться с матерью и сестрами, не было – немцы сбросили парашютистов на аэродром между Роттердамом и Гаагой, использовав для приземления автостраду между двумя городами. Проехать по дороге стало невозможно, лишь через несколько дней, когда ситуация прояснилась, я смог предпринять это путешествие.

Бой в центре Роттердама продолжался несколько дней, и хотя враги захватили плацдарм, моряки продолжали держаться. Везде голландская армия отступала на запад, помощи от Франции и Англии или не было, или она была незначительной, так как союзные войска удерживали натиск немцев в Бельгии и Северной Франции.

А потом наступило 14 мая. Небо было по-прежнему безоблачным, как и все четыре дня войны. Мы как раз садились завтракать, когда о н и пришли. Завыли сирены, их звуки слились с глухим ревом самолетов. Один за другим низко над головой проносились бомбардировщики, сбрасывая бомбы и зажигалки на центр города. Снова и снова налетали самолеты, опять и опять звучали взрывы, и мы думали, что пришел конец. Наверное, атака длилась не больше двадцати минут, но показалось, что мы просидели за кухонным столом с кастрюлями на головах (так советовала радиоинструкция) целую вечность. Постепенно шум стих, будто угомонившийся шторм. Удаляющийся рев неповоротливых тяжелых машин, отдельные редкие взрывы, потом все стихло до тех пор, пока снова не раздался треск. Сначала мы не могли понять, в чем дело, а потом

стало ясно, что это шум пожара. Я выглянул в окно – площадь была на месте, но над ней висела черная плотная пелена, полностью закрывающая небо. Весь старый центр города горел.

Улицы запружены людьми, бегущими из огненного ада. Некоторые были полуодеты, другие тащили тюки и ручные тележки с пожитками, которые удалось выхватить из огня. Многие были в шоке, ранены и плакали. В соседней церкви был немедленно организован лазарет, я работал там всю ночь вместе с другими соседями. Мы чувствовали себя одновременно счастливыми и виноватыми, что у нас сохранилась крыша над головой.

Той же ночью последовал еще один тяжелый удар: было объявлено, что Голландия под угрозой таких же налетов на другие большие города капитулировала. Королева и правительство почти со всем флотом отплыли в Англию, чтобы оттуда продолжать борьбу. На следующий день германские войска вошли в город. Это было тягостное зрелище, но, глядя на их танки и машины, я почувствовал внутреннюю уверенность в том, что наступит день, когда по тем же улицам пройдут в освободительном марше английские войска. Перед моими глазами встали шотландские полки в развевающихся юбках-кильтах, под звуки труб спускающиеся по дороге к нашей площади. Я наблюдал их много раз в Египте и сейчас увидел буквально воочию.

Вскоре со всей страны стала поступать помощь. Когда прошел первый шок, выяснилось, что война была слишком быстротечной, чтобы оказаться очень разрушительной. Вновь воцарился порядок, мертвых похоронили, а завалы расчистили. Через несколько дней все успокоилось, и я отважился поехать в Гаагу, чтобы узнать, что с матерью и сестрами. Я позвонил в дверь квартиры, но никто не ответил. Позвонил снова, а потом открыл дверь своим ключом. Никого не было. Это было странно, но еще более странным было то, что на столе стояли грязные чашки, – мать никогда не выходила, не вымыв посуду. Я решил справиться у соседей. Увидев меня, женщина из квартиры рядом всплеснула руками: "Как! Вы еще здесь?! Мы думали, вы уехали в Англию с матерью и сестрами".

"В Англию? – удивился я. – Первый раз слышу!" Как британские подданные, мы были зарегистрированы в консульстве. На третий день войны матери позвонили и сказали,

что если она хочет воспользоваться последней возможностью отплыть в Англию, то ей надо прийти в консульство в пять часов. Она сказала, что хочет уехать, но вместе со мной, ей ответили, что мне тоже сообщат. Сестры были в это время очаровательными подростками, и, опасаясь хамства немецкой солдатни, мать хотела укрыть их в надежном месте. В спешке они сложили самое необходимое и ушли в надежде встретить меня на корабле. Больше соседка ничего не знала.

Наверное, из-за военных действий невозможно было оповестить каждого англичанина в Роттердаме, да и телефона у бабушки не было. Может быть, объявляли по радио, но я не слышал. Так или иначе, в том состоянии, в котором был тогда, я бы в любом случае не уехал из Голландии, для меня это значило бы бежать с тонущего корабля, кроме того, нельзя было бросить бабушку одну в это время. В своей недальновидности я убедился очень скоро и к концу года пришел к прямо противоположному мнению.

Мы, мальчишки-школьники, думали, что война нарушит рутину школьной жизни, но вскоре были разочарованы. Через неделю после нападения наша школа, которая не пострадала от бомбежки, снова открылась, а месяц спустя, как и положено, начались экзамены. Мне было нечего бояться, но я втайне надеялся, что война избавит меня от этого испытания. Ко всеобщему удовлетворению я получил хорошие отметки.

Было решено: чтобы оправиться от потрясений, бабушка вместе со мной проведет летние месяцы у дяди Тома, торговца зерном, который жил в деревушке неподалеку от Зютфена. Это красивейшая часть Голландии, холмистая и лесистая, со множеством древних замков, прекрасных вилл и старинных городков. Мне нравилось жить с дядей, с которым я хорошо ладил. Он часто возил меня на машине к фермерам и мельникам, с которыми был связан делами.

Примерно через две недели, когда я лежал с книжкой в саду, пришел старший констебль деревни. Извиняющимся голосом он объяснил, что получил инструкции арестовать меня как британского подданного и доставить в Роттердам. Он не мог сказать, что со мной будет дальше, но продолжал извиняться – приказ есть приказ. Мы должны были ехать следующим утром, и он обязан был запереть меня на ночь в местном отделении полиции. Из уважения к дяде он готов был разрешить провести ночь дома, если мы пообещаем не злоупотреблять его добротой.

Такое совершенно непредсказуемое развитие событий повергло семью в оцепенение. Оглядываясь назад, я удивляюсь, что мы были захвачены врасплох, ведь все можно было предвидеть и вовремя предотвратить. Но и семья, и я сам привыкли считать меня обычным голландским мальчиком, и мысль о том, что я могу быть интернирован как британский подданный, просто не приходила нам в голову. А когда дядя пообещал констеблю, что я не убегу, предпринимать какие-либо шаги оказалось невозможно. Особенно большим ударом это было для бабушки. Я старался успокоить ее и заодно убедить себя, что меня тут же отпустят, как только увидят, что я обычный школьник. Наутро за мной пришел констебль, он надел гражданскую одежду, чтобы не привлекать к нам внимание и чтобы в деревне не подумали, что я – хулиган, конвоируемый в кутузку. В Роттердаме меня сразу отвели в штаб полиции и там объявили, что в соответствии с инструкциями немецких властей я должен быть интернирован.

В тот же день меня зашла навестить тетя, она плакала, больше всего ее поразило то, что, согласно правилам, у меня отобрали галстук. Она принесла мне вишен, смену одежды и побеседовала с полицейскими, объяснив им, правда, в туманных выражениях, что она думает о голландских властях, которые выполняют немецкие приказы и сажают в тюрьму маленьких мальчиков – именно таковым, по ее мнению, я все еще был.

Я провел ночь в камере, а на следующее утро два полицейских доставили меня на поезде в Схурл – маленькую деревню на побережье севернее Амстердама. На станции нас ждал сержант гестапо, который отвез меня в тюремном фургоне в близлежащий лагерь. У меня отобрали паспорт, обыскали сумку и зарегистрировали в журнале, а потом отвели в барак, где было уже много молодых французов и англичан, там я получил койку.

Хотя я скоро освоился в новых условиях, сначала оставались некоторые опасения, ведь нам было известно о страшных условиях в фашистских концентрационных лагерях. То, что лагерь охраняли войска СС с эмблемой в виде костей и метлы на фуражках, отнюдь не вселяло оптимизма. Но, к счастью, жизнь в лагере оказалась не такой ужасной, как я предполагал. Все заключенные были английские или французские подданные. Тех, кто был моложе двадцати, поместили в особый барак под присмотром молодого и порой аг-

рессивного сержанта СС, который заставлял нас все делать парами. Весь день был занят перекличками, уборкой территории, мытьем полов в бараке и чисткой картошки. Кормили нормально. Мы ведь были гражданскими интернированными лицами, а немцы знали, что тысячи их соотечественников тоже были интернированы английскими властями во всех частях мира, так что они пока еще соблюдали международные законы.

Я был в лагере уже две недели, когда стало известно о капитуляции Франции. Эта новость произвела удручающее впечатление, хотя большинство, даже французы, понимали, что разгром одной страны не означает конца войны и победы Германии и что Англия будет продолжать сражаться. Но немцы были уверены, что все кончено, и заявляли, что через несколько недель они высадятся в Англии и быстро доведут войну до победного конца.

Однажды после обеда – я сидел в лагере уже месяц – сержант вызвал всех из нашего барака и, построив во дворе, приказал тем, кому не исполнилось восемнадцати лет, сделать шаг вперед. Пятеро – я в том числе – вышли из строя. Он сказал, что, так как мы не достигли призывного возраста, а война в любом случае почти окончена, решено нас отпустить. Мы могли вернуться на следующее утро домой.

Тогда я уже подружился со многими заключенными и, радуясь неожиданной свободе и перспективе вернуться к родным, расстраивался, что покидаю новых друзей. Я слышал, что через неделю или около того все французы были тоже освобождены, а англичан задержали, они оставались в лагере до начала зимы, когда немцы, убедившись, что война не кончится так быстро, как они предполагали, перевели их в другой лагерь, в Восточной Силезии, откуда их освободили только весной 1945 года русские войска.

Родственники пили чай в саду, когда я возник перед ними, как пришелец с того света. Их удивление и радость были неописуемы, меня встретили как героя, хотя ничего героического я не совершил, позвали соседей и друзей послушать мой рассказ, который я должен был повторять снова и снова. В первые дни войны арест немцами гражданских лиц был для голландцев новостью, прошло совсем немного времени, и это стало обычной историей, а рассказы тех, кто выжил и вернулся, стали трагически отличаться от моего.

Минуло лето, и у немцев явно ничего не получилось с

вторжением на Британские острова. Из битвы за Англию Королевские военно-воздушные силы вышли победителями. По слухам, в дельте Шельды оккупанты сконцентрировали много кораблей и десантных соединений, говорили, что была предпринята попытка нападения с моря, но врагов встретили стеной огня. Было это правдой или нет, одно только не вызывало сомнений: немцам не удастся высадиться в Англии этой осенью. По запрещенному Би-би-си мы слушали взволнованные речи Черчилля. Они вселяли надежду и укрепляли желание сопротивляться.

Все говорило о том, что война кончится нескоро. Не вызывал сомнения и тот факт, что, когда в ноябре мне исполнится восемнадцать, немцы меня снова интернируют. Я не хотел, чтобы это случилось, и меня полностью поддержал дядюшка. Среди его знакомых оказался фермер, который жил в деревушке под названием Хаммело в двадцати милях от Зютфена, в глубине страны. Этот человек согласился предоставить мне каморку в своем доме и разрешил за небольшую плату жить в его семье. Другой друг дяди – бургомистр деревни – выдал мне голландское удостоверение личности на чужое имя. На все запросы властей дядя должен был отвечать, что я пропал. Все эти предосторожности давали мне реальный шанс избежать фашистского лагеря, к тому же немцы не прилагали особых усилий, чтобы разыскать меня.

Известий от матери и сестер не было. Мы слышали, что в день капитуляции несколько английских и голландских эсминцев покинули порт с беженцами на борту. Некоторые из кораблей были потоплены, так что мы не были уверены, что семья благополучно добралась до Англии.

В начале октября я переехал на ферму. Хотя я собирался там работать, мое будущее существование представлялось скучным, но оно оказалось совсем иным из-за событий, которые сделали этот период моей жизни одним из наиболее волнующих и во многом определивших будущее.

Я продолжал регулярно ходить в церковь, по религиозным убеждениям я принадлежал к тем, кого сегодня называют фундаменталистами. Я уже решил, что, когда война закончится, попытаюсь стать священником голландской реформатской церкви. Я испытывал сильное влечение к церковной службе, и, казалось, кроме веры у меня были еще и способности к этому.

Между тем первый шок от поражения прошел, и в народе

нарастало сопротивление оккупантам. Продуктов становилось все меньше, усилились немецкий террор и попытки насадить национал-социализм, началось преследование евреев, а стремление бороться распространялось все шире и шире. Для большинства имя королевы Вильгельмины стало символом свободы и объединяющим лозунгом Сопротивления. Она была женщиной выдающегося благородства и духовной силы, и люди сохранили к ней уважение, ведь она руководила делами из страны, которая продолжала бороться. Этот факт вселял надежду, что в один прекрасный день цепи падут и захватчики будут изгнаны. Абстрактная жажда борьбы обретала цель и смысл.

Я слишком ненавидел немцев и был настроен пробритански, поэтому мои мысли тоже стали обращаться к Сопротивлению. Мне казалось, что я был в идеальном положении для подпольной работы: уже жил в нелегальных условиях по фальшивым документам, не был обязан ходить в школу или на работу, никому не давал отчета в своих действиях. Я стал активно искать контакты с подпольной организацией.

В Зютфене я познакомился с Домиником Паттом – местным священником, ходил к нему в воскресную школу, он несколько раз приглашал меня в гости на чашку чая. Это был вдохновенный проповедник, который с помощью тонких аналогий с библейскими персонажами и событиями поддерживал в своих прихожанах – а их было немало – надежду на то, что день освобождения придет. Друзья были убеждены, что он связан с подпольем.

Однажды в начале весны 1941 года я решил пойти к нему и поговорить о возможности предложить свои услуги бойцам Сопротивления.

Патт был худой, аскетичного вида мужчина с темными глазами и мягким голосом, который под высокими сводами церкви – она прежде была католическим собором – обретал необыкновенную силу и выразительность. Он выслушал меня с пониманием, но твердого ответа не дал, а велел зайти на будущей неделе. Когда я пришел снова, он сказал, что говорил с другом, который захотел повидать меня. Могу ли я через три дня поехать с ним в Девентер, большой провинциальный город в тридцати милях от Зютфена. Я, конечно, сразу согласился.

В назначенный день мы поехали в Девентер, там прошли к рыночной площади и сели на террасе большого кафе, где

заказали напиток из концентрата ячменя и цикория, который в то время заменял кофе. Минут через десять к нам присоединился человек, который приветливо поздоровался с Домиником Паттом. У него было приятное открытое лицо, и хотя короткая седая борода свидетельствовала о немалых годах, живые голубые глаза, крепкое тело и быстрые движения казались удивительно молодыми. Его представили мне как Макса, больше о нем я так ничего и не узнал.

Он попросил меня рассказать о себе и внимательно выслушал мою историю. Я принес с собой английский паспорт, чтобы подтвердить свое происхождение. Тщательно изучив документ и удовлетворенно кивнув, он сказал, что ему нужен помощник-курьер, я для этого дела вполне подойду. Мне придется ездить по всей Голландии, отдавая и получая записки и посылки. Я должен был отправиться в будущий понедельник в деревню Херде, к северу от Девентера, там найти местного бакалейщика – от дал мне имя и адрес, сказать, что меня прислал Пит, и забрать товар. Дальнейшие инструкции мне даст бакалейщик.

Обсудив дела, мы немного поговорили о военной ситуации. Все время ходили слухи, что Германия готовится напасть на Советский Союз. Макс слышал о нескольких случаях того, что расквартированные в Голландии офицеры получали назначение в Польшу, где были сконцентрированы большие силы. Он задумчиво заметил, что если Гитлер нападет на СССР, то ему дадут почувствовать, что он откусил больше, чем может проглотить.

Когда в следующий понедельник я вошел в маленькую бакалейную лавку на деревенской улице неподалеку от станции, в магазинчике никого не было. На звук дверного колокольчика вышел высокий человек с серебристо-седыми волосами, в очках с металлической оправой, одетый в белую куртку, и спросил, чего я хочу. Когда я сказал, что приехал от Пита забрать товар, он сразу предложил мне последовать за ним в заднюю комнату. Это была уютно обставленная гостиная, где его жена, крепкая женщина средних лет с веселым взглядом, сидела за столом, пересчитывая талоны. Когда муж сказал, что я от Пита, она не выразила удивления, а встала и подала мне чашку чая с печеньем. Я хорошо запомнил этот эпизод, потому что чай был настоящий – редкость по тем временам. Бакалейщик сказал, что я переночую у него, а рано утром сяду на поезд, идущий в Ассен – большой

город на севере Голландии. Там я должен передать посылку местному зубному врачу, у которого получу конверт и привезу его в тот же день сюда.

Бакалейщик и его жена оказались очень приятной добросердечной парой, своих детей у них не было. Мы понравились друг другу и провели вместе приятный вечер. Я не раз останавливался в их гостеприимном доме, который служил своего рода базой, где я получал инструкции. Мое дело состояло в разъездах по Голландии, иногда поездом, иногда на велосипеде, в зависимости от расстояния, для доставки посылок с нелегальной литературой и листовками. Если я не мог вернуться домой в тот же день, то останавливался в доме одного из членов группы. Примерно раз в месяц я встречался в условленном месте с Максом, он давал мне новые задания и немного денег на дорогу. Я вспоминаю этот период жизни как один из интереснейших. Я встретил много прекрасных людей, не помню их имен, а некоторых даже и не знал, как и они не знали меня, но мы чувствовали крепкую связь, потому что делали общее опасное дело во имя освобождения. Противясь власти ненавистного захватчика, мы на оккупированной территории стали снова свободными людьми.

Хотя я был лишь маленьким звеном в цепи организации, о чьей деятельности знал довольно мало, мои поездки тем не менее представляли определенную опасность. Во-первых, постояннс был риск, что нашу организацию, которая издавала нелегальную газету "Врий Нидерланд", раскроют немцы и в один прекрасный день, когда я приеду по указанному адресу с посылкой, там будет ждать гестапо. В то время, когда я работал в подполье, несколько его организаторов были арестованы, но уцелевшие смогли довольно быстро снова наладить выпуск газеты. Мне повезло, что из тех, с кем я непосредственно имел дело, никто не пострадал.

Другой постоянной опасностью была тщательно разработанная оккупационными властями с помощью голландской полиции система проверок для борьбы с черным рынком. Пассажиров поездов и других видов общественного транспорта часто проверяли, осматривали их багаж, на дорогах подвергали проверке машины и велосипеды. Я был все время настороже и заранее готовился к таким проверкам – в поездах всегда клал свой сверток или портфель на багажную полку где-нибудь подальше от своего места, так что всегда мог сказать полиции, что эти вещи не мои. Выручало и то, что

я выглядел довольно молодо для своих лет, и когда люди видели мою сумку, они, наверное, думали, что я – ученик, возвращающийся из школы или идущий туда.

Однажды я чуть было не попался из-за своей собственной беспечности. Это случилось в Ассене, где я заходил в кафе, хозяин которого был членом подпольной организации. В задней комнате он дал мне сверток с газетами. Я торопился на поезд, чтобы вернуться домой в тот же день, и поспешно переложил газеты в свою сумку. Для шести штук не хватило места, и я, засунув их между рубашкой и пуловером под плащ, побежал на станцию. На перроне газеты вывалились и рассыпались вокруг меня. Единственным, кто еще ждал поезда, был пожилой немецкий офицер. Когда я опустился на колени и торопливо пытался собрать газеты до того, как тот их разглядит, он тоже нагнулся и стал помогать мне, потом подал газеты, даже не взглянув на них. Я преувеличенно поблагодарил его и сел в вагон. Никому из друзей я об этом приключении не рассказал.

В те годы нелегальная пресса играла важную роль, ведь все политические партии, кроме нацистской, были запрещены, а официальная пресса контролировалась немцами. Все, что не могло быть напечатано в легальных газетах, находило место на страницах подпольной печати: ненависть к национал-социалистам, возмущение немецким террором, призыв к свободе и вера в будущий разгром врага. Пресса звала к сопротивлению, постоянному духовному противоборству, неповиновению нацистским властям при любой возможности. Голландия – маленькая густонаселенная страна, почти целиком возделанная, без густых лесов или неприступных гор, которые скрывали бы партизан. Здесь борьба должна была вестись по-другому, более скрытно и тихо, при этом следовало избегать открытых столкновений с врагом. "Врий Нидерланд", как и другие подобные газеты, не только печатала и распространяла нелегальную литературу, но старалась организовать разведсеть, установить передатчики и сообщать голландскому правительству и английским союзникам сведения о передвижениях противника, фортификационных сооружениях, штабах и аэродромах. Сообщались адреса, где могли укрыться сбитые английские летчики, которых потом переправляли в Англию. Правда, об этой стороне деятельности я узнал позднее, а тогда даже и не подозревал о ней.

В поездках по стране мне все чаще приходилось проезжать или заезжать в города и деревни, которые германские власти сделали еврейскими гетто. Это было частью тщательно продуманной системы унижений, призванной изолировать и измотать еврейское население, сделать жизнь для этих людей невозможной, предваряя депортирование в Польшу для "окончательной очистки". Хотя, как большинство голландцев, я ненавидел эти меры, но меня самого они не затрагивали. На это было несколько причин. Во-первых, я воспринимал себя как христианина, а не иудея. В конечном счете я до тринадцати лет даже не знал, что во мне течет еврейская кровь. Я не рос в еврейском окружении, не состоял ни в одной еврейской общине или организации, у меня не было в Голландии ни одного родственника-еврея. Моя тогдашняя фамилия Бехар была, конечно, иудейского происхождения, но малоизвестной в Северной Европе и не сразу ассоциировалась с еврейством, как, например, Коэн, Розенцвейг или Гольдштейн. Кроме того, я жил под чужим именем. Хотя я был темноволосым, но не выглядел как типичный семит, и не знавшим меня не приходило в голову, что в моих жилах течет еврейская кровь, тем более что немцы интересовались мной лишь в связи с британским подданством. Преследование евреев оказывало на меня единственное действие – усиливало ненависть к нацистам и всему, что они творили.

Как-то утром в середине лета 1941 года, в воскресенье, вскоре после того, как я начал работать на Макса, стало известно, что немцы перешли границу Советского Союза. Под трубы и фанфары музыки Вагнера было объявлено, что фюрер решил раз и навсегда избавить Европу и всю планету от "красной заразы" и положить конец еврейско-коммунистическому стремлению к мировому господству. В тот день кругом появились плакаты, изображающие германского орла, клюющего многоголового красного монстра. Вечером мы слушали по Би-би-си Черчилля, приветствовавшего новый мощный и героический союз во имя общего дела, в который теперь вошел СССР.

Новость принесла новую надежду и всколыхнула волну оптимизма. Все думали, что это начало конца: то, что не смог Наполеон, не сможет и Гитлер. Но первые месяцы русской кампании не принесли ничего утешительного. Немецкая армия казалась и вправду непобедимой, когда продвинулась по всему фронту в глубь советской территории и стояла почти

у стен Москвы и Ленинграда. Так было до зимнего наступления Советской Армии, которое остановило немцев, и мы вновь воспрянули духом.

Когда мне случалось бывать по соседству, я навещал бабушку. Здоровье ее ухудшалось. Как человеку патриотичному и независимому, немецкое нападение и оккупация Голландии глубоко оскорбляли ее. Она волновалась за мою мать и сестер, к тому же ей было трудно справляться с нехваткой еды и топлива. Бабушка сильно сдала и умерла весной 1942 года на семьдесят седьмом году жизни. Ее смерть стала для меня большим ударом. Кроме матери это был самый близкий мне человек. Теперь, когда она умерла, я понял, что могу покинуть страну со спокойной совестью и попытаться осуществить то, о чем давно мечтал.

Как многим молодым людям, во время оккупации мне хотелось бежать из страны и попасть в Англию. Работа в Сопротивлении только усилила это желание. У меня был амбициозный план добраться до Великобритании, пройти там соответствующее обучение и вернуться в Голландию агентом, связывающим Сопротивление и британскую разведку. Кроме этого честолюбивого замысла была, конечно, надежда встретиться с матерью и сестрами.

Мы с друзьями часто обсуждали возможности побега, думали о том, как достать лодку и пересечь Северное море. Это было непросто: немцы запретили пользоваться частными лодками во всех водах, сообщающихся с морем, и зорко следили за побережьем. Время от времени доходили слухи об убежавших другими способами. Одни попадали в Швейцарию, а потом через Францию в Испанию, другим удавалось достичь Швеции. Ходила даже история о том, что самолет британских ВВС опустился на одно из голландских озер и взял на борт людей, но для этого надо было быть очень важной персоной.

В конце концов я решил переговорить с Максом, который выслушал меня с обычным вниманием и терпением. Он понимал мое желание попасть в Англию, но ему было жаль меня отпускать. Сам он ничего не знал о маршрутах, но мог связать меня с кем-нибудь на юге страны, кто может помочь. Несколько недель спустя я получил от него записку: он назначал мне встречу в вокзальном ресторане на станции Бреда. С собой я должен был взять паспорт. Когда я пришел, Макс ждал меня с молодым человеком лет тридцати. Тот представился как Де Бий. Это было известное в тех краях имя. Де Бий был вла-

дельцем большого лесопитомника в местечке Зюндерт на границе Голландии и Бельгии, он сказал, что узнал обо мне от Макса и готов помочь. Вскоре планируется побег очередной группы в Швейцарию, и он постарается включить меня в нее, хотя окончательное решение зависит не от него. Он предложил, чтобы я закончил здесь свои дела и ехал на юг, готовый отправиться в путь по первому сигналу. Ожидая отправки, я буду жить в его доме.

Я оставался около трех недель в гостеприимном доме семьи Де Бий, там было много молодежи и царила оживленная атмосфера. Потом хозяин сообщил мне, что организаторы побегов не могут мне помочь. Они готовы были принимать только тех, кто сразу мог участвовать в войне, – пилотов ВВС, голландских сухопутных или морских офицеров, людей со специальной подготовкой. Я не подпадал ни под одну из этих категорий. Что было делать? Я чувствовал, что хоть и не уехал еще далеко и оставался в Голландии, но уже начал свой "путь", и не могло быть и речи о "возвращении". Я сказал, что как-нибудь попробую перейти голландско-бельгийскую границу, а там посмотрим.

Младшие сестры хозяина, с которыми я очень подружился, сразу вызвались мне помочь. Они знали много тропинок, которыми пользовались контрабандисты, и могли отвести меня к своей тете в Антверпен, будучи уверены, что она даст мне на несколько дней приют.

Мы отправились в Бельгию прекрасным воскресным утром и были примерно в ста ярдах от границы, проходившей по кромке соснового леса прямо перед нами, когда неожиданно из-за стога сена вышел немецкий солдат и преградил нам путь винтовкой. Он уже собирался что-то закричать, как вдруг лицо его просияло – он узнал девушек. "Что, ей-богу, вы здесь делаете? – спросил он на смеси двух языков. – Это же запретная зона!" Старшая девушка поспешно объяснила, что мы – кузены и хотим навестить тетю, которая живет в монастыре через границу – в Бельгии. Солдат улыбнулся и кивнул: "Ну, ладно. Я пропущу вас, будто и не видел. Если будете возвращаться этим же путем сегодня вечером, я снова буду дежурить между девятью и двенадцатью и пропущу вас. Счастливого пути". Мы прошли, а он приветливо помахал рукой.

Я наблюдал эту сцену сначала с опаской, а потом с растущим недоумением. Объяснение оказалось простым. Девушки,

как большинство людей в южных провинциях, были католичками и членами местных католических молодежных организаций. Солдат оказался австрийцем и тоже католиком, единственным из всего гарнизона посещавшим мессы в Зюнберте и занятия католической молодежной организации. Там девушки и познакомились с этим дружелюбным человеком, тоскующим по своим австрийским горам. Ободренные чудесным совпадением – тем, что именно он дежурил именно здесь и сегодня, – мы продолжили путешествие без особых приключений. В полдень мы уже были в Антверпене, где нас сердечно приняла тетя девушек, которая согласилась меня спрятать на несколько дней.

Еще раз в тот день я испытал чувство, которое возникало потом неоднократно, – чувство того, что слова бессильны выразить всю меру благодарности и восхищения людьми, которые подвергались риску из-за меня.

На следующий день хозяйка дала мне рекомендательное письмо к монаху-доминиканцу в Лувенском университете, который мог, по ее мнению, мне помочь. Однако он сказал, что ничего сделать не может, но тоже даст мне рекомендацию к своему хорошему другу в Париже, доминиканцу, который свяжет меня с нужными людьми.

Между Антверпеном и Парижем существовало постоянное сообщение. На границе, как мне сказали, французские и бельгийские таможенники проверяли только багаж, потому что Бельгия и оккупированная Франция составляли один германский военный район. На другой день я отправился в Париж. В поезде было столько народу, что мне пришлось стоять в коридоре. Когда мы приблизились к Монсу – последнему бельгийскому городу перед границей, я увидел в конце коридора двух немецких полевых жандармов. Это было одно из самых страшных подразделений немецких вооруженных сил. В форме со стальными нагрудными знаками на тяжелых цепочках и устрашающим германским орлом на касках, они медленно, но верно приближались ко мне, проверяя документы. Все, что у меня было, – британский паспорт, спрятанный в буханке хлеба. Когда они подошли уже близко, поезд замедлил ход, въезжая на вокзал. Я выпрыгнул из вагона и пробежал по платформе к выходу еще до того, как состав остановился. Выйдя из вокзала, я затерялся среди узких улочек, зашел в старую церковь и присел на скамейку, чтобы отдышаться, успокоиться и обдумать дальнейшие

действия. Я решил рискнуть перейти пешком границу, которая, очевидно, была неподалеку, вышел из церкви и направился на юг.

Должно быть, я шел верно, потому что со временем оказался у указателя на Лилль. Маленький паровой трамвай проезжал по дороге, я впрыгнул в него, потом он остановился на деревенской площади, и все вышли. Это была конечная остановка, и я снова пошел на юг. Через некоторое время я оказался в небольшой деревушке – всего несколько домов, стоявших вдоль тихой проселочной дороги, перекрытой полосатым шлагбаумом. Двое бельгийских таможенников болтали возле караульной будки на обочине. Это был пограничный пост. Немецкий летчик с велосипедом курил сигарету, прислонившись к шлагбауму. Он бросил окурок, сел на велосипед и пробурчал что-то похожее на "хайль Гитлер!". Бельгийцы сделали вид, что не расслышали, и ничего не ответили. Когда он уехал, один из них что-то сказал. Хотя я и не понял фразы, но, судя по выражению лица, замечание было язвительное. Другой издал презрительный смешок. Я слишком долго жил на оккупированной территории, чтобы догадаться по разговору, который только что наблюдал, что эти двое не любят немцев, и решил рискнуть.

Я подошел к шлагбауму, будто был уверен, что меня пропустят. Один захотел посмотреть, что я несу в сумке. Все было в порядке. "А как насчет удостоверения личности?" "У меня его нет, – ответил я. – Я англичанин, еду во Францию". Реакция была замечательной. Оба смотрели на меня улыбаясь. "Почему вы сразу не сказали этого? Пойдемте в контору и решим, что мы можем сделать". Они отвели меня в маленькое здание на обочине, предложили сесть. Я достал из сумки хлеб, вынул из него паспорт и протянул им. Они внимательно изучили документ. Паспорт был весьма примечательный, за пять лет с тех пор, как я его получил, я много ездил, и страницы были заполнены штампами и визами. Документ их полностью удовлетворил, они обсудили, что надо делать. Решили, что один отведет меня домой обедать, пока другой попробует найти для меня ночлег. И сегодня я вспоминаю очень уютную атмосферу обеда у этого офицера с его полной приветливой женой и двумя маленькими дочерьми. В конце обеда хозяин достал бутылку бренди, которую держал для торжественных случаев, и мы выпили за победу союзников. Я провел ночь на близлежащей ферме, а рано утром один из

таможенников пришел разбудить меня, чтобы самому отвести во Францию. Спустя примерно час мы прибыли в городок Мобеж, а там направились прямо в дом местного начальника таможни. Он уже был предупрежден и ждал нас завтракать. Через час я уже шел с французским начальником таможни, одетым в форму, на рыночную площадь, откуда отправлялся автобус в Лилль.

В шесть часов в тот же вечер я стоял у Северного вокзала. В Париже я был впервые. Тогда в городе не хватало бензина, и некоторые предприимчивые люди открыли службу велотакси, сделанных из тележки с сиденьем на двоих, которую вез велосипед. Я остановил велотакси и дал водителю адрес, полученный от доминиканца в Лувене.

Я вышел у типично парижского многоквартирного дома. Оказалось, что монах, к которому у меня было рекомендательное письмо, – член маленькой религиозной организации, которая занималась социологией и располагалась в двух смежных квартирах. Пожилой портье проводил меня в заставленную книгами комнату. Высокий худой монах лет тридцати пяти поднялся из-за стола навстречу мне. Лицо его было бледным, с очень тонкими чертами, в которых было что-то весьма привлекательное. В умных серых глазах я заметил слегка насмешливое выражение, которое часто встречается у хорошо образованных французов. Я подал ему письмо и сказал, кто я такой. Может ли он чем-нибудь мне помочь? Тень сомнения пробежала по его лицу, и я рассказал ему свою историю. Он объяснил, что находится в сложном положении. Не так давно настоятель доминиканского монастыря в Париже издал строгий указ о том, что его монахи не должны давать приют лицам, скрывающимся от немцев, потому что это может серьезно осложнить деятельность во Франции всего ордена. Он, конечно, был обязан исполнять приказы настоятеля. Я сказал, что понимаю его затруднительное положение и немедленно уйду. Однако он попросил меня остаться, пока он попробует придумать какой-нибудь выход. В тот вечер он должен был читать лекцию и собирался вернуться через два часа, надеясь, что за это время что-нибудь путное придет в голову. Я пока не должен был покидать комнату.

Когда он ушел, я, рассматривая книги на полках, заметил белую монашескую рясу, которая висела на крючке у двери. Зная, что никто меня не застигнет врасплох, я не устоял перед соблазном ее примерить и, посмотрев в зеркало, пришел к

выводу, что она мне идет и сможет послужить хорошим маскарадным костюмом в поездке по Франции.

Монах возвратился не один. С ним была пара средних лет, которых он представил как своих хороших друзей. Они слушали лекцию, а потом он рассказал им о своем затруднительном положении. Они сразу предложили укрыть меня, пока я снова не отправлюсь в путешествие. Мои новые хозяева жили неподалеку, в районе бульвара Сен-Жермен, в маленькой, но элегантно обставленной квартире. Он был владельцем частной службы безопасности, которая предоставляла охрану и другие защитные меры для фабрик и больших магазинов. Это была бездетная католическая пара, в течение нескольких лет они являлись членами третьего – мирского – ордена Св. Доминика. Ярые патриоты, поддерживавшие генерала де Голля, они имели связь с Сопротивлением. Один из их знакомых, известный под кличкой "Бельгиец", руководил организацией побегов. Связаться с ним заняло некоторое время, но наконец недели через две, в полдень, Бельгиец появился. Это был высокий широкоплечий человек лет пятидесяти, он выслушал мой рассказ, изучил паспорт, потом объяснил, что сомневается, получит ли разрешение из Лондона на организацию моей поездки в Англию. Я не был летчиком, важным участником Сопротивления или кем-то, кто представлял определенный интерес, – короче, это были те самые аргументы, которые я выслушал месяцем раньше в Голландии. Но он думает, что, если представится случай, сможет помочь мне по-другому.

Через два года, уже работая в британской разведке, я узнал, что он докладывал обо мне в Лондон и получил указание не связываться. Но, несмотря на это, отчасти из доброты, отчасти из расположения к моим хозяевам он смог мне помочь, не используя обычные каналы. Через него я получил французское удостоверение личности на имя школьника из Амьена и адрес человека в Сали-де-Беарне – маленьком курорте на юго-западе Франции в оккупированной зоне, который мог помочь мне переправиться в неоккупированную зону. Дал он мне и адрес в Лионе, куда я смогу обратиться за дальнейшей помощью.

Это позволило мне продолжить путешествие. Казалось, все трудности позади, оставалось лишь одно препятствие – демаркационная линия. После этого я окажусь вне досягаемости немцев, переправлюсь через Ла-Манш – и буду в Англии.

Одним ясным вечером в конце августа друзья проводили меня на вокзал, где я сел на поезд, идущий в Бордо. Я прожил почти месяц в их гостеприимном доме и получил массу новых впечатлений. Они были моими гидами по Парижу, я присутствовал на аскетичных службах в Доминиканском аббатстве и познал красоту грегорианских молитв. У них была хорошая библиотека, и я много читал. Мы часто спорили о религии и политике. Я начал смотреть на католицизм менее предубежденно. Хотя мои хозяева были голлистами и молились за победу союзников, но, как большинство французов, они затаили обиду на англичан, считая, что те не сделали всего возможного, чтобы не допустить вторжения летом 40-го. Я же считал, что это нечестное утверждение, и разница наших взглядов приводила к весьма жарким спорам. Мне было жаль покидать их, но я стремился продолжить путешествие.

Сали-де-Беарн – маленький город, удачно расположившийся между низкими зелеными холмами; считается, что здешние воды очень полезны для женщин. Демаркационная линия проходила по окраинному хребту. Мой переход границы должен был обеспечить владелец небольшого пансионата. Когда я рассказал, кто послал меня, и произнес пароль, он сразу согласился взять меня. Именно в этот вечер границу переходила очередная группа. По ту сторону демаркационной линии нас доставят на ферму, где мы проведем ночь, а на следующий день жандармы из Виши должны были отвезти нас в лагерь беженцев. Я достаточно много слышал о вишистах, так что перспектива провести остаток войны в одном из их лагерей меня отнюдь не радовала, не для этого я проделал столь длинный путь. Я поговорил с владельцем пансионата, и он посоветовал мне не идти вместе со всеми на ферму, а продолжать путь, может быть, мне повезет и я, углубившись в страну, не встречу патрулей. Я решил так и поступить.

Сразу после наступления темноты двое молодых людей в черных беретах – басков, крепких и подвижных, – пришли в дом, чтобы забрать партию, состоявшую из трех евреек разного возраста и меня. Они привели с собой собачку, которая лаем предупреждала о приближении немецких патрулей, тоже всегда ходивших с собаками.

По узким задним улочкам мы вышли на окраину города. Напряжение было очень велико – мы были теперь в зоне постоянной опасности и каждую минуту ждали, что на нас набросятся немецкие овчарки. Так мы минут двадцать про-

бирались через канавы и ползли по полям, потом недалеко впереди на гребне отлогого холма возник ярко освещенный дом. Достигнув вершины, мы вдруг увидели огоньки, светящиеся внизу как залог мира и безопасности, тогда как позади была тьма. Было такое ощущение, что с плеч упала громадная тяжесть страха и уныния. Я избежал лап врага! Но предаваться приятным ощущениям не было времени, следовало идти дальше, испытывая судьбу. Я отправился в ночь и никого не встретил, лишь собаки лаяли, когда я проходил дом или ферму. Несколько раз я останавливался присесть, но всегда ненадолго. Мне нужно было как можно дальше уйти от границы.

Когда первые лучи солнца осветили небо, передо мной неожиданно выросли темные очертания средневекового замка с зубчатой стеной и башенками. Дорога вела к большим воротам. Должно быть, я попал в старинный город Каркассонн. На рыночной площади ждал автобус, уходящий в Лурд, я сел в него. Пассажиров было немного. Перед самым отправлением автобуса пришел жандарм, проверявший документы, я дал ему мое амьенское удостоверение. Он посмотрел и вернул, ничего не сказав. Я спокойно добрался до Лурда и тем же вечером сел в лионский поезд.

Там я следующим утром сразу пошел по адресу, который мне дал Бельгиец. Его лионский друг оказался французским полковником с аристократическим бретонским именем, которое было очень трудно произносить. Вместе с женой он жил в номере "люкс" в большом дорогом отеле. Оба активно участвовали в Сопротивлении, чьи отделения были и в неоккупированной зоне. Узнав, что меня послал Бельгиец, они приняли меня очень хорошо. Полковник был особенно польщен тем, что я произношу его имя правильно, это с ходу мало кому удавалось. Он посоветовал мне без промедления обратиться в американское консульство, которое защищало интересы английских граждан. Он знал молодого человека, который ведал там этими вопросами, и дал мне рекомендательное письмо к нему. Полковник обещал подыскать мне жилье.

В американском консульстве меня провели в кабинет молодого человека, который был очень похож на англичанина. (Через два года я столкнулся с ним в коридоре Главного управления разведки в Лондоне и узнал, что он действительно англичанин и сотрудник разведки.) Я показал ему мой паспорт и записку полковника. Это его удовлетворило. Он

предложил мне вместо паспорта удостоверение личности, в котором будет написано, что я – англичанин, и все будет соответствовать истине, кроме года рождения, – там будет написано, что мне шестнадцать лет, а не девятнадцать, я буду человеком допризывного возраста, и власти Виши дадут мне выездную визу. В то же время американское консульство от моего имени обратится за испанской и португальской транзитными визами. Когда разрешения будут получены, я легально смогу выехать в Англию. Запросить у Лондона санкции на все эти действия у него займет около двух недель, после этого два-три месяца уйдет на выдачу соответствующих виз. Власти Виши разрешат мне жить в течение этого времени в определенном ими месте, которое мне будет запрещено покидать без разрешения. Это называлось "вынужденным проживанием".

В полдень я снова встретился с полковником и рассказал ему о результатах визита в американское консульство. С ним был молодой человек, который, как он сказал, присмотрит за мной, пока я буду в Лионе. Они нашли для меня жилье, и молодой человек отвел меня туда.

Моя новая квартира находилась в очень старом доме – еще средневековом, попасть в жилище можно было через длинный темный коридор и по каменной винтовой лестнице. В доме была столовая для постоянных посетителей, которых кормили ленчем и обедом. Столовую держали две пожилые незамужние сестры, добрые приятельницы полковника, который здесь часто обедал и использовал помещение для тайных встреч. Сестры согласились поселить меня в маленькой комнате за столовой. Одной из них было чуть за сорок, другая выглядела моложе, они оказались приятными веселыми женщинами и прекрасными кулинарками. Я пробыл здесь больше трех недель и проводил время интересно и с пользой. Днем я обычно работал в маленькой типографии в подвале соседнего дома. Там друг полковника, студент-медик, и другие члены группы печатали еженедельную голлистскую газету, которую редактировал полковник. Отпечатанные номера развозили в центры распределения, располагавшиеся на фабричных складах и в винных подвалах. Все делалось довольно открыто – трое или четверо из нас везли по улицам тележку с несколькими тысячами экземпляров, едва прикрытых брезентом. Конечно, все это было до того, как немцы вошли в Лион.

Примерно через три недели американский консул сообщил, что из Лондона получено разрешение на мое дальнейшее путешествие. Мне выдали документы, немного денег, и стало возможно обратиться к властям за выездной визой. Письмо полковника к своему знакомому в лионской префектуре облегчило дело. Пока готовились визы, я должен был жить в маленькой гостинице в деревне в нескольких километрах от Гренобля.

Я был там уже около месяца, когда однажды, зайдя в ресторанчик в городе, где обычно съедал свой скудный ленч, заметил, что происходит что-то необычное. Люди возбужденно разговаривали, перекликались от столика к столику. Я услышал, что союзнические войска высадились в Северной Африке и в качестве контрмеры немцы вошли в неоккупированную Францию и с минуты на минуту могли появиться в Гренобле.

Я понял, что надо немедленно действовать, и решил тут же покинуть место своего "вынужденного проживания" и попробовать добраться до испанской границы до того, как немцы начнут ее патрулировать. Я быстро доел и поспешил в гостиницу, собрал вещи и ушел незамеченным. В Лионе я встретился с полковником, он дал мне немного денег и адрес своего друга в Тулузе, который должен был помочь мне перейти границу с Испанией. В тот же вечер я продолжил свой путь на юг.

Когда я вышел из вокзала в Тулузе, первое, что увидел, была колонна немецкой военной техники. Мое дальнейшее путешествие, Англия, Рождество с семьей – исполнение всех этих надежд откладывалось на неопределенный срок.

Человек, чей адрес был у меня, оказался местным журналистом. Он сразу согласился помочь и сказал, что свяжет меня с перевозчиком – так называли людей, которые переправляли беженцев через границу. А пока я мог остановиться в его квартире, где он жил с женой, матерью и сестрой-подростком.

Через два дня эта очаровательная девочка, с которой я успел подружиться, отвела меня к перевозчику. Комната, где он жил, была замечательна своей огромной кроватью, занимавшей почти все помещение. Когда мы вошли, на ней сидели темноволосый элегантно одетый молодой человек, который назвался Фернандесом, и женщина, слегка злоупотреблявшая косметикой, которую он представил как помощницу.

Молодой человек был крайне самодоволен и болтлив, что не внушало доверия. Он сказал, что вечером я должен прийти на вокзал к отходу поезда в По. Они тоже будут на платформе, но я должен сделать вид, что не знаю их, и ехать отдельно. В По они присоединятся ко мне после того, как мы покинем вокзал.

Я сделал все, как было условлено, и в По встретился с парой, под чьим сомнительным, как мне казалось, покровительством я теперь путешествовал. С ними был еще один человек – мужчина средних лет, полный и рыхлый, очевидно, еврей, который приехал нашим же поездом. Позже ночью, когда мне пришлось разделить с ним постель в плохоньком отеле, я узнал, что он – португальский еврей, который по делам приехал в неоккупированную Францию, где его застало немецкое вторжение. Теперь он пробирался домой в Португалию к жене и детям. Чтобы перейти испанскую границу, он заплатил Фернандесу большую сумму денег. В ходе путешествия выяснилось, что это еще не все, и ему приходилось оплачивать обильные обеды, которые Фернандес заказывал по дороге. Через знакомых он устраивал так, что нам не приходилось регистрироваться в гостиницах, где мы останавливались.

Следующим утром мы вчетвером сели в автобус, который шел на юг. Немцы не обращали на нас никакого внимания ни в По, ни по дороге. Все выглядело так, будто единственным противником, которого нам предстояло обхитрить, были французские пограничники. Так мы продвигались с места на место в довольно разношерстной компании с португальцем, который день ото дня все больше переживал из-за мотовства Фернандеса, но боялся сказать что-нибудь поперек из страха быть брошенным на произвол судьбы во Франции. Мне тоже не нравилось, как Фернандес разоряет моего попутчика, и я, конечно, принял бы его за мошенника, если бы его не порекомендовали друзья из Сопротивления, а сам он не требовал от меня ничего сверх обычных дорожных расходов.

К концу третьего дня после очередного переезда на автобусе мы добрались до деревни высоко в горах, главной достопримечательностью здесь были живописные развалины замка. Отсюда надо было продолжать путь пешком.

Когда стемнело, Фернандес отвел нас в один из последних домов деревни и передал двум молодым людям, которые должны были переправить нас через границу в Испанию.

Переход занимал два дня. Мы сразу пустились в путь и стали взбираться на гору, которая поднималась за деревней. Очень скоро все запыхались и вспотели. Для меня испытание было не слишком тяжелым, ведь я был молод и натренирован, но моему пожилому попутчику приходилось несладко. Единственное, чем я мог ему помочь, – понести его мешок. Проводники продолжали подгонять нас, промедление было опасно, потому что надо было незамеченными уйти из деревни. Когда мы к рассвету добрались до первой вершины, то остановились перекусить и поспать несколько часов. Жареное мясо и свежий хлеб, которые принесли проводники, были просто восхитительны.

Солнце уже поднялось высоко, когда мы продолжили путь, взбираясь выше и выше к покрытым снегом вершинам, которые, как оказалось, были во Франции. Теперь я все время нес две сумки, потому что моему компаньону чем выше мы поднимались, тем больше не хватало воздуха. Хотя наши проводники и были приветливы, держались они отстраненно, подчеркивая, что им платят только за то, чтобы показать нам дорогу, остальное – наше дело.

Мы провели ночь в горной хижине прямо у линии снегов, пришлось лечь всем вместе, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться, – мы боялись развести огонь, чтобы не привлечь внимания горных патрулей. Когда рассвело, мы снова двинулись в путь. Снег становился все глубже, по мере того как мы медленно приближались в высшей точке маршрута – пику Миди. Я запомнил его как узенькую площадку, с одной стороны которой гора обрывалась, так что возникало ощущение, что идешь по лезвию ножа. Дальше мы начали спускаться, и идти стало легче.

Около трех часов дня мы вышли к лугу, который тянулся до тропки, образованной следами мулов и бегущей вдоль ущелья, на дне которого журчал горный ручей. Здесь наши проводники остановились и объявили, что мы уже в Испании и дальше они идти не могут. Если мы пойдем тропинкой, то попадем на ферму, где сможем заночевать. Хотя мы ужасно устали, но бурно радовались, узнав, что наконец счастливо добрались до места. По этому поводу мы сделали по большому глотку вина из бурдюка, потом пожали руки проводникам, и они исчезли в дубраве, из которой мы только что вышли.

Мы спустились на тропинку и пошли в направлении, которое нам указали. Шли уже часа два, а фермы все не было

видно. Мой спутник, измотанный гонкой этих двух дней, начал сильно сомневаться в правильности маршрута, он был убежден, что мы сбились с пути и должны вернуться по своим следам назад. Я не сомневался, что мы идем правильно, но он настаивал на возвращении. Это был для нас вопрос жизни или смерти: тот, кто ошибется, попадет прямо в руки немцев в оккупированной Франции. Компромисса достичь было невозможно, и когда солнце уже спускалось за горные вершины, мы разделились, и каждый пошел путем, который считал правильным.

Минут через десять я услышал перезвон маленьких колокольчиков. Из-за поворота вышло стадо овец, которых вел пастух – первый человек, повстречавшийся мне с тех пор, как покинул деревню. Он не говорил по-французски, но из смеси испанского с баскским я понял, что иду в правильном направлении, но все еще нахожусь во Франции и граница немного впереди.

Я ужасно разозлился на проводников, которые бросили нас, очевидно, в самом опасном месте путешествия. Мне надо было сейчас же вернуться, найти португальца и рассказать ему то, что я узнал.

Я побежал назад и неподалеку от места, где мы расстались, нашел его, без сил присевшего на камень. Я рассказал о встрече с пастухом и о том, что мы еще во Франции. Чувство опасности и знание того, что цель близка, придали ему сил, и мы зашагали быстрее. Вдруг тропинка, по которой мы шли, нырнула в овраг, мы спустились вниз и перебрались на другой берег ручейка, бежавшего по дну лощины. Нам и в голову не приходило, что мы переходим границу. Тропинка снова круто поднялась на холм, с вершины которого открывался вид на небольшую долину. На берегу ручья стоял большой фермерский дом, откуда доносились голоса. Между деревьями двигались фигуры солдат и мулы. Мы поспешно укрылись за холмом, но было поздно – нас заметили. Раздались предупредительные выстрелы, и солдаты, судя по их форме не французы и не немцы, предложили нам подойти. Пришлось подчиниться, пограничники окружили нас. Мы были уже в Испании, но и уже не на свободе.

В доме оказалась группа беженцев, которые прибыли раньше тем же маршрутом. Нам дали хлеба и сытного супа, ночь мы провели в большом амбаре. На следующее утро багаж погрузили на одного мула, другого дали женщине с

маленьким ребенком, и мы снова отправились в путь под конвоем нескольких солдат. Во второй половине дня кортеж добрался до деревни, где нас разместили в местной гостинице. Утром мы предстали перед начальником гражданской гвардии, он спросил о причинах перехода испанской границы и записал наши данные. Мой спутник был португальцем, у него были деньги, чтобы добираться самостоятельно, и ему разрешили уйти. А семью евреев и меня отвезли на автобусе в Ирун – город на границе Франции и Испании. Маленький отель, где мы провели ночь, был уже полон беженцами, а находился он неподалеку от испанского пограничного поста. Из окна мы могли видеть французский шлагбаум – примерно в пятидесяти ярдах, который охраняли немецкие солдаты в касках. Само по себе это было неприятное зрелище, к тому же все считали, что нас доставили в Ирун, чтобы передать немцам.

Отношение испанского правительства к войне делало такое предположение очень реальным. Испания открыто симпатизировала Германии и Италии и называла свое положение не "нейтральным", а "невоюющим". Высадка союзных войск в Северной Африке слегка изменила это отношение, и когда после оккупации всей Франции Испанию наводнили беженцы, власти никак не могли решить, что с ними делать. Политика выдачи беженцев представлялась, видимо, слишком рискованной, и всех нас утром посадили в автобус и, к нашему величайшему облегчению, повезли на юг, подальше от ужасного шлагбаума. Хотя сбежать было нетрудно, но ясно, что беглеца тут же бы поймали. Без знания языка, без денег и не рассчитывая на помощь местного населения, как на территории оккупированной Европы, любой очень скоро попал бы в руки вездесущей гражданской гвардии.

Автобус доставил нас в Памплону – столицу провинции Наварра, там он остановился перед старинными воротами с двумя башенками по бокам. Ворота открылись, и автобус медленно въехал во двор, без сомнения, тюрьмы. Нам приказали выйти и отвели в главный корпус с высокими потолками и большими окнами, там детей и женщин отделили от мужчин. Нас, семерых, поместили в камеру и дали два одеяла на всех. Камеры не отапливались, а ночи в конце ноября в этой части Испании довольно холодные. Мы положили одно одеяло на бетонный пол, легли все вместе и укрылись вторым одеялом как можно тщательнее. Завтрак подали через око-

шечко в двери. Он состоял из тепловатой коричневой жидкости, в которой плавало несколько корочек хлеба. Не сговариваясь, после одной-двух ложек мы отставили похлебку – ее невозможно было есть.

Через некоторое время дверь открылась, и нас вывели во двор. В центре его стоял стул, на который мы должны были садиться по очереди, чтобы заключенный-испанец наголо побрил нам головы. Потом всех отвели обратно в камеры. Наше положение выглядело довольно безнадежно – никто не знал, что мы здесь, никто не мог нас разыскивать, а испанские власти, если хотели, могли нас держать в тюрьме сколько им угодно.

Около четырех часов звяканье оловянной посуды возвестило вторую, и последнюю, кормежку в день. На этот раз дали коричневатую бурду, в которой плавало несколько картофелин. Остальные дни были похожи на первый, и следующие три недели мы, по-прежнему ничего не зная о своей судьбе, сидели целый день, сгрудившись, страдая от холода и голода, пока в восемь часов вечера нам не разрешали лечь на пол. Со мною в камере были двое поляков, пробиравшихся из Польши, и четверо французов, которые хотели присоединиться к французским силам в Северной Африке. Мы были слишком замерзшими и голодными, чтобы много разговаривать, но, как только вдалеке слышалось позвякивание, все окружали маленькое окошко, подобно диким зверям, ждущим своей порции еды, которая не менялась день ото дня. Мы жадно проглатывали похлебку и снова впадали в безразличие.

Однажды утром нас всех вывели из камер, построили в колонну по четыре и сковали наручниками. Под конвоем вооруженных членов гражданской гвардии, в их нарядных черных наполеоновских треуголках и широких плащах, нас провели по улицам Памплоны к вокзалу, а там запихнули в пустые вагоны ждущего поезда.

Было уже довольно поздно, когда нас привезли в лагерь Миранда-де-Эбро, где содержались во время войны граждане стран-союзниц, нелегально перешедшие границу Испании. Нас поместили в пустой барак, единственную мебель в котором составляли два ряда коек, и дали рваные одеяла. На следующее утро я вышел под холодный моросящий дождь в поисках завтрака, который, оказалось, раздавали на главной площади. Дождь превратил дорожки между бараками в

мокрое месиво из тяжелой грязи. Длинные очереди медленно двигались к нескольким большим черным котлам, откуда заключенные черпали ту же коричневую бурду, с которой я уже был знаком по тюрьме. Я встал в одну из очередей, но еще раньше, чем дошел до кастрюли, она уже опустела.

Я уныло стал бродить вокруг, думая, как выжить здесь, где можно было получить пищу, только оказавшись одним из первых в очереди. Испанские власти ограничивали всю заботу о нас охраной и раздачей два раза в день коричневой похлебки, которая сходила за пищу. В остальном нас предоставили самим себе. Но все оказалось не так уж безнадежно, об этом я узнал от двух французских младших офицеров ВВС, которые прибыли в Миранду-де-Эбро на неделю раньше меня. Они рассказали, что каждая национальность имеет в лагере представителя, который защищает интересы соотечественников перед руководством лагеря и может связаться с консульством. Я нашел представителя Великобритании в маленькой комнатушке, сделанной из джута и дощечек от ящиков из-под чая. Установить мою личность оказалось для него нетрудно, так как, к моему удивлению, представителем оказался не кто иной, как молодой человек из американского консульства в Лионе, который недавно выправлял мне документы. Он прибыл в лагерь на неделю раньше и был только что выбран английским представителем. Я сразу получил право на хорошее питание, которое поставляло британское посольство в Мадриде. Мне выдали пачки печенья, банки сардин, чай, кофе, молоко, сахар, сигареты и шоколад. Призрак голодной смерти, который преследовал меня утром, мгновенно исчез, и жизнь снова стала казаться довольно сносной. В приподнятом настроении я вернулся к своим новым французским друзьям и разделил с ними неожиданные яства. Теперь мы не только не зависели от пищи, которой испанцы кормили заключенных, но даже могли купить такие вещи, как примус, чайник, кастрюлю, чтобы что-нибудь себе готовить. Позже мы добыли немного досок от ящиков и выгородили себе маленькую комнату.

В лагере содержались люди примерно двадцати шести национальностей, и они составляли довольно колоритное общество. Некоторые предприимчивые заключенные открыли маленькие рестораны и кафе, а некоторые бараки напоминали восточный базар. Процветал оживленный черный рынок продуктов и предметов первой необходимости. Они попадали в

лагерь двумя способами: через посольства более богатых стран, откуда приходили посылки, и через людей, у которых были деньги и которые могли купить что-нибудь на воле. Больше всего в лагере было поляков, они составляли сплоченную и дисциплинированную общину, по существу, управляли лагерем, потому что были здесь дольше всех. Более сильные страны могли заставить испанское правительство освободить своих соотечественников, более слабые – нет.

В середине января 1943 года, когда я уже был в лагере около двух месяцев, растущее недовольство и озлобление против испанских властей, которые держали беженцев в неопределенности и скверных условиях, вылилось в открытое сопротивление. Движение, которое началось среди поляков, быстро перекинулось и на другие национальные группы. Мы решили объявить голодовку, которая, как все надеялись, должна была привлечь внимание международной общественности к нашему положению, заставить испанские власти изменить политику освобождения пленников и улучшить быт заключенных.

Голодовка длилась целую неделю. Ее организовали поляки, которые формировали пикеты и проверяли, чтобы никто ничего не ел. Чтобы доказать, что голодовка существует, национальным представителям запретили раздавать еду, были прекращены все закупки за пределами лагеря. Прервавший голодовку подвергал себя риску быть сильно избитым группой польских боевиков. Уже через несколько дней администрация лагеря попыталась подкупить заключенных, улучшив пищу. Нам приказали построиться и ходить мимо котлов, хотя все и отказывались от еды.

Ровно через неделю после начала голодовки группа из четырех дипломатов, среди которых был и англичанин, приехала на переговоры со стачечным комитетом. Они советовали снять голодовку, так как были получены заверения от испанских властей, что условия улучшатся, а освобождение ускорится. Условия были приняты.

Не могу сказать, что перенес эту неделю очень тяжело. Сначала я страдал от головных болей, а потом, казалось, организм приспособился жить без еды. Чувство голода исчезло, сменившись странным ощущением освобождения, легкости и энергии. Мне это так понравилось, что в будущем я иногда практиковал несколько дней голодания, чтобы ощутить сладкое чувство эйфории. К тому же я теперь мог без

затруднений и неудобств пропустить прием пищи, если так складывались обстоятельства.

Через несколько дней после прекращения голодовки я и еще несколько человек были неожиданно освобождены. Не знаю, по какому принципу отобрали этих пятнадцать, но я и молодой голландец были включены в список как самые юные. За нами приехал сотрудник британского посольства и отвез на поезде в Мадрид. Там нас поместили в отель, который запретили покидать. Через два дня нас в сопровождении двух сотрудников посольства отвезли на поезде до Гибралтара, а на следующий день мы прибыли в Ла-Линеа. Несколько формальностей на испанской таможне, и шлагбаум поднялся. Мы перешли на другую сторону. Там стояли английские солдаты, нас встретили синие формы полицейских. Цель была достигнута – я стоял на британской территории.

Приготовленные автобусы отвезли нас на пристань, где мы поднялись на пассажирский лайнер "Повелительница Австралии", который стоял на рейде рядом с другими кораблями. Конвой был готов, и мы должны были через несколько часов отплыть в Англию. Путешествие прошло без приключений, но все время нас не покидала опасность встречи с подводными лодками или самолетами врага.

Когда корабль встал на причал в Гриноке, на борт поднялись офицеры иммиграционной службы. Нас построили и по очереди опросили. Я показал свои документы и сказал, что моя мать и сестры живут в Англии, но где – я не знаю. В тот же день нас отвезли в Лондон на поезде в сопровождении солдат. Со станции Кингз-кросс автобусы доставили нас в Королевскую Викторианскую патриотическую школу.

Название вводило в заблуждение. Я подумал, что это своего рода специальное учебное заведение, где читают лекции по патриотизму и сдавших экзамены отпускают по домам. Конечно, я ошибался, но не так уж сильно, потому что реквизированное здание женской школы служило проверочным пунктом для беженцев, чтобы не пропустить среди них в Англию немецких шпионов и других сомнительных личностей.

Через несколько дней меня вызвали для допроса. Его проводил молодой темноволосый капитан разведки с острыми чертами лица, он был вежлив, но суховат. Я рассказал ему свою биографию и особенно подробно о побеге с оккупированной территории. Он все тщательно записывал, лишь

иногда прерывая меня вопросами, рассказ занял целых два дня. На третий день он снова позвал меня уточнить некоторые детали. Я повторил то, что уже рассказывал: именно так, как все происходило.

Больше меня не вызывали. После обеда показывали фильм "Великий диктатор" с Чарли Чаплином, но мне не пришлось его посмотреть. Фильм только начался, как меня пригласили к начальнику заведения. Высокий седой полковник сообщил, что мне повезло – они нашли мою мать и мне можно уйти. Он взял телефон и набрал номер, на другом конце провода ответила моя мать. Он сказал, что это говорит офицер иммиграционной службы, и спросил, есть ли у нее сын в Голландии. Она подтвердила, и он попросил кратко описать меня, а потом, удовлетворенный, сказал: "У меня есть для вас добрые новости – он сейчас со мной, я передаю ему трубку, чтобы вы могли поговорить с ним сами".

Я не помню, что мы говорили друг другу, но в итоге условились, что мать встретит меня через час на станции Нортвуд, где она жила. Полковник дал мне полкроны на дорогу, и мы пожали друг другу руки. Я был свободен. Час спустя после нескольких пересадок, расспрашивая дорогу, я доехал до Нортвуда. Было темно, и шел дождь, но в конце платформы я сразу узнал фигуру матери. Я был дома.

Глава четвертая

Первые несколько дней после моего возвращения пролетели в суете. Сестры, которые работали в лондонских госпиталях, приехали на выходные повидать меня, и это был один из немногих случаев, таких редких в будущей жизни, когда мы были все вместе дома. Мой неожиданный приезд с оккупированного континента очень интересовал маминых друзей, и мне пришлось много раз рассказывать с начала и до конца всю историю моего чудесного спасения. Когда первое возбуждение улеглось, у меня появилось свободное время осмотреть воюющую Англию и узнать Лондон. Меня сразу поразили солидарность людей, их дружелюбие и желание помочь друг другу. Дух того, что все делали общее дело, спокойная дисциплинированность, которая проявлялась в том, как все выстраивались в аккуратные очереди у магазинов и тщательно соблюдали светомаскировку; острое чувство долга, которое заставляло пожилых женщин работать на передвижных кухнях или в госпиталях, а тех, кто помоложе, делать маскировочный материал; бодрое мужество, с которым встречали воздушные налеты противника; стоицизм, с которым люди хоронили своих погибших близких... Это произвело на меня огромное впечатление. С особенным восхищением я смотрел на английских женщин – они охотно и ловко брались за труд, который обычно выполняет мужчина. Видя их за работой, часто с сигаретой, я сначала сделал совершенно неверные умозаключения. Голландия до войны была довольно пуританской страной, женщины здесь мало употребляли помаду и косметику и, конечно, не курили. Насколько я знал, это было в обычае лишь у женщин легкого поведения, поэтому в

первые дни искренне удивлялся, гуляя по Лондону, когда встречал здесь так много представительниц первой древнейшей профессии. Прошло немного времени, и я понял, что в Лондоне даже женщины высочайшего морального уровня курят и красятся.

Кажется, здесь полностью отсутствовал и черный рынок, который составлял одну из неотъемлемых сторон жизни в Европе того времени. Большинство считали это непатриотичным, нечестным и полагали своим долгом не иметь со спекулянтами ничего общего. Правда, положение с продуктами в Англии было гораздо лучше, чем на оккупированных территориях. Бывали перебои и с хлебом, и с картошкой, но никто не голодал. Гуляя, я с удовольствием останавливался выпить чаю в маленьких кафе, которые обычно держала пара пожилых незамужних женщин, здесь можно было съесть вкусную домашнюю лепешку с джемом. В этих кафе было что-то типично английское и очень приятное, теперь уже совершенно исчезнувшее из жизни.

Я был уверен, что меня скоро призовут, но шли недели, а я все не получал повестку. Я уже соскучился по волнующей и напряженной жизни, к которой привык за два года нелегального существования, и мысли все чаще стали обращаться к планам возможного возвращения.

Устав от ожидания повестки, я решил поступить добровольцем на флот. В те дни контора, вербующая добровольцев в Королевский морской флот, находилась на Трафальгарской площади, и я обратился туда за необходимыми анкетами. Через две недели меня пригласили на собеседование. Вместе с несколькими другими молодыми людьми я впервые в жизни держал письменный экзамен, состоявший из математических задач, вопросов по общим знаниям и теста на сообразительность. За экзаменом следовало собеседование, а через несколько недель пришло письмо, в котором говорилось, что я принят и в дальнейшем получу дополнительные инструкции, когда и куда прибыть.

Пока тянулось время, я почувствовал, что больше не могу сидеть дома без дела. Наш друг в голландском правительстве был готов мне помочь и предложил временную работу в голландском министерстве экономики. Оно располагалось в Арлингтон-хаус, в районе Сент-Джеймс, и около пяти месяцев – все лето 1943 года – я ежедневно ездил на службу из Нортвуда в Вест-Энд. Вскоре мне пришлось убедиться, что,

как я и подозревал, конторская работа с девяти до пяти не по мне.

Наконец в октябре пришла повестка. Я должен был прибыть для обучения в Коллингвуд – большой лагерь неподалеку от Портсмута. Я провел там десять интересных, но трудных недель. Все время мы тренировались, и к концу я оказался намного худее, чем вначале. Те из нас, кто записался добровольцем в морской резерв и был отмечен как претендент на офицерское звание, пользовались особым вниманием, и поэтому приходилось все время соответствовать непростым требованиям.

Я закончил курс с высокими отметками и получил так называемую рекомендацию капитана на вторую часть обучения – занятия на крейсере, который базировался в Розите. Могу объяснить эту рекомендацию только тем, что хорошо прошел заключительное собеседование.

Поздним вечером в начале января наш набор приехал в Розит, где посыльное судно переправило группу на крейсер "Диомед". В кромешной тьме и при сильном морозе мы с трудом карабкались по обледеневшему веревочному трапу. Это было первым знакомством с жизнью на море, которое продолжалось все время обучения. Если начальный период в Коллингвуде был всего лишь беспокойным, то обучение здесь было не просто интенсивным, но и очень тяжелым, почти мучительным. Думаю, что ведущая идея этого курса состояла в том, чтобы воспроизвести морскую службу XVIII века настолько точно, насколько это было возможно в XX веке, и через это воскресить и вселить в нас дух адмирала Нельсона.

За шестью неделями на крейсере последовали два месяца в Лансинг-колледже – известной частной школе с его похожей на собор часовней, высоко поднимавшейся над холмами. Флот использовал школу как заведение для подготовки офицерского состава. Особое внимание здесь уделялось манерам – из нас делали не просто офицеров, но джентльменов. Хотя мы были по-прежнему обычными моряками, одетыми в робы, но обедали вместе с офицерами командования в зале, обшитом деревом, с высокими потолками, и нас обслуживали, как офицеров Королевского флота. Раз в неделю устраивались званые обеды, на которых дотошно соблюдался соответствующий этикет. Обычно этим вечеринкам предшествовала беседа или лекция, которую читал почетный гость.

Начальник курсов где-то слышал о моем путешествии из

оккупированной Европы. Однажды он вызвал меня в свой кабинет и попросил сделать об этом сообщение на ближайшем званом вечере. У меня еще не было опыта публичных выступлений, и эта перспектива здорово напугала меня.

Во вторник, когда обычно проходили вечера, начальник провел меня к подиуму через большой зал, где собралась вся команда. Я нервничал, волнение росло с каждой минутой по мере неумолимого приближения выступления. Уже заканчивалась короткая вступительная речь, мне вот-вот надо было начинать. К счастью, я заранее приготовил первые предложения, и когда произнес их, волнение исчезло само собой. Выступление имело успех, и я заслужил громкие аплодисменты.

На последнем этапе обучения нас перевели в школу "Король Альфред" возле Хова. В противоположность Лансингу, готическому и псевдосредневековому, "Король Альфред" был сделан очень современно, из стекла и металла. До войны здесь был спортивный комплекс с ресторанами и бассейнами, которые теперь использовались как залы для тренировок и классы. Здесь мы должны были сдавать последний экзамен перед присвоением звания.

Напряжение стало постоянным. Конечно, оно было неотъемлемой частью всего обучения и поддерживалось тщательно отработанной системой экзаменов и еженедельных тестов, провалив которые слушатель немедленно отчислялся с курса. Теперь, когда до выпускного экзамена оставалось всего несколько недель, волнение достигло предела.

Когда вывесили листы с результатами, я нашел свое имя среди счастливцев и поспешил получить форму.

Церемонию присвоения звания вел старый отставной адмирал, приглашаемый специально для таких случаев, а сам ритуал сопровождался сложным церемониалом. Надо было подойти к адмиралу, стать по стойке смирно, отдать честь, снять фуражку, прижать ее под мышкой, принять офицерский диплом, сунуть его туда же, где фуражка, пожать адмиральскую руку, надеть фуражку, не уронив диплома, снова отдать честь и, четко повернувшись, отойти. Мы несколько раз репетировали процедуру, но я все-таки боялся, что от волнения положу на голову диплом и протяну адмиралу фуражку.

Несмотря на волнение, все прошло хорошо, и тем же вечером я с другими счастливыми и наконец свободными молодыми офицерами ехал в первом классе лондонского поезда

на несколько дней домой, чтобы показаться гордым родителям, сестрам и знакомым девушкам.

По окончании отпуска нам надо было вернуться для дальнейшего двухнедельного обучения в "Короле Альфреде". Там человек, присланный из Адмиралтейства, прочитал нам лекцию о различных видах морской службы, из которых нам предстояло выбрать дело по душе. Он начал с краткого описания жизни на боевых кораблях, прошелся по крейсерам, эсминцам, подводным лодкам, торпедным катерам, минным тральщикам и десантным судам. В конце речи он добавил: "Есть еще одно подразделение, о котором я должен упомянуть. Оно называется "спецслужба", но я не могу сообщить о ней никаких подробностей, поскольку она засекречена. Что касается сотрудников, то люди, которые поступают туда, исчезают из нашего поля зрения".

Я сразу навострил уши, ведь это было так похоже на то, о чем я мечтал. Спецслужба, секретность, люди, о которых никто ничего не знает. Это должна была быть разведывательная работа, высадка агентов на вражеском берегу. В тот же день я записался в раздел "спецслужба", выбрав как запасной вариант эсминцы.

Я хорошо успевал по навигации и до получения окончательного назначения был послан с несколькими другими в Королевский морской колледж в Гринвиче на трехнедельный курс по навигации. Пребывание в колледже оказалось весьма приятным: сам по себе курс в сравнении с тем, что мы уже прошли, был нетрудным, и каждый вечер мы отправлялись гулять в город.

По окончании курса я получил короткий отпуск, а уже дома пришло уведомление, предписывающее явиться в штаб подводных лодок в Портсмуте для прохождения спецслужбы. Я был разочарован. Меньше всего я думал о подводных лодках, они меня совсем не привлекали, а лектор, перечисляя открывающиеся перед нами возможности, не говорил, что спецслужба как-либо связана с этим видом вооруженных сил. Но пути назад не было, пришлось подчиняться – я сам выбрал кота в мешке, следовало идти до конца.

Штаб располагался в большом форте, построенном французскими пленными во времена войны с Наполеоном. Он защищал западную часть входа в портсмутский порт. По прибытии мне сообщили, что я – член маленькой группы военных разных рангов, которых будут обучать на водолазов.

Группа, насчитывавшая всего двенадцать человек, была смешанной – офицеры и матросы обучались вместе, причем в процессе обучения не проводилось никакого различия между ними. Командиром был офицер медицинской службы. Оказалось, что на начальной стадии обучения нас скорее проверяли и тренировали на выносливость, чем давали знания и определенные навыки. Постоянный медицинский контроль нужен был для того, чтобы следить, как учащиеся реагируют на длительное пребывание под водой.

После нескольких недель тренировок в глубоком водоеме нас перевели на базу на одном из островов возле западного побережья Шотландии, с тем чтобы начать стажировку непосредственно на лодке. Но для начала надо было пройти трудное испытание. Дело в том, что ниже определенной глубины давление таково, что у многих возникает кессонная болезнь и человек теряет сознание.

Мы обязательно должны были пройти этот тест перед переходом к следующему этапу обучения. Никогда не мог понять, почему нельзя было провести испытание в начале тренировок и зачем было ждать, когда человек пройдет определенную практику.

Если бы было по-иному, результат теста, по крайней мере для меня, сразу прояснил бы ситуацию. Когда я достиг предельной глубины, то потерял сознание, и меня тут же вытащили на поверхность.

Снятый с курса, я до нового назначения получил работу вахтенного штабного офицера. Теперь я проводил часы дежурства, прохаживаясь туда-сюда по пристани с длинной оптической трубой под мышкой и перебрасываясь любезностями с хорошенькими женщинами-военнослужащими, которые ездили на моторных лодках, курсирующих между разными флотскими соединениями и кораблями в порту. Я должен был следить за тем, чтобы вовремя поднимался и опускался флаг, в установленное время звучал гонг и раздавался свисток, когда на пристани появлялись командиры кораблей... Однажды капитан "Дельфина" вызвал меня в кабинет и спросил, интересуюсь ли я быстроходными катерами и не хочу ли более живого дела. Я ответил, что это звучит привлекательно и я готов попробовать. "В таком случае, – сказал он, – вам надо поехать в Лондон завтра утром и явиться на Пэлэс-стрит, сразу за улицей Виктории".

Когда я туда попал, вахтер дал мне заполнить пропуск

и проводил на второй этаж, где молодой лейтенант указал нужную комнату. За большим столом у окна сидел капитан. Он был маленький, щуплый, с желтоватым цветом лица и темными редеющими волосами. Говорил он отрывисто, но был вполне любезен.

Он задал множество вопросов о моем происхождении, бегстве из Голландии и обучении, потом велел в подробностях изложить биографию. Закончив, я отдал ему бумагу, а капитан велел мне снова зайти после ленча.

Когда я вернулся, капитан надел фуражку, взял трость черного дерева с серебряным набалдашником и предложил мне следовать за ним. Мы прошли до высокого узкого здания напротив станции метро "Сент-Джеймс".

Я снова заполнил пропуск, и капитан отвел меня в маленькую комнату на верхнем этаже. Здесь было чердачное окно, а помещение почти полностью занимали два больших стола, стоявших друг против друга. За одним сидел майор – симпатичный мужчина с очень густыми светлыми волосами. Так как он был без кителя, то я не мог определить род войск, однако решил, что он тоже морской пехотинец. В конце концов со мной вели речь о службе на быстроходных катерах, поэтому я и подумал, что нахожусь в одном из зданий Адмиралтейства.

Оказалось, что майор свободно говорит по-голландски, хотя и с заметным английским акцентом. Он разговаривал со мной именно на этом языке и задавал в основном те же вопросы, на которые я уже отвечал утром, но особенно интересовался моей работой в голландском подполье.

Когда собеседование закончилось, капитан отвел меня в маленькую пустую комнату на втором этаже, где мне пришлось заполнить четырехстраничную, отпечатанную типографским способом анкету, где было множество вопросов о родителях, обучении, увлечениях и другой личной информации.

Примерно через неделю меня снова вызвали в Лондон. Я должен был прибыть на Пэлэс-стрит ровно в два часа дня. Капитан уже ждал меня, и мы отправились в то же здание, где были неделю назад. На этот раз мы поднялись на пятый этаж, и, едва выйдя из лифта, я понял, что нахожусь в гораздо более важной части дома, чем прежде. Коридор, в котором мне велели подождать, был покрыт толстым красным ковром, капитан усадил меня в одно из двух кресел в стиле чиппендейл,

стоявших по обе стороны маленького столика, на котором лежали номера "Тэтлер" и "Кантри-лайф".

Капитан ненадолго оставил меня одного, а вернувшись, довольно торжественно пригласил следовать за ним. Мы зашли в большую обшитую деревянными панелями комнату в конце коридора, в центре которой стоял длинный полированный стол. За ним с одной стороны сидели пять человек: двое штатских, один в форме вице-маршала ВВС и два бригадных генерала. Капитан сел в конце стола, а мне предложили занять место против всех. Перед вице-маршалом лежали моя биография, анкета, которую я заполнял, и листочки с заметками.

В следующие полчаса на меня обрушился шквал вопросов, их беспорядочно задавали разные члены совета. Я старался отвечать откровенно и как можно подробнее. Не могу сказать, что особенно нервничал, хотя уже догадался, что все это было чем-то большим, чем собеседование перед поступлением на работу на быстроходных катерах, а возможно, что-то связанное с морской разведкой. Конечно, вопросы не давали мне окончательной разгадки. Когда беседа закончилась, вице-маршал, председательствовавший на совете, попросил меня подождать в коридоре.

Минут десять я сидел, листая "Тэтлер", потом из комнаты вышел капитан. Он положил мне руку на плечо и сказал, что я принят и должен явиться на дежурство в десять утра в следующий понедельник. Прибыв, я должен был спросить майора Симура. Я обрадовался, потому что уже тяготился ролью вахтенного офицера.

Когда я прибыл на дежурство в дом 54 по Бродвею, караульный первого этажа провел меня в чердачную комнату, где я уже был однажды. Майор Симур оказался тем самым офицером, который беседовал со мной по-голландски. Теперь он был в форме, и я увидел, что он офицер не морской пехоты, а административной службы. Это слегка заинтриговало меня. Первое, что он сделал, – отвел меня к полковнику Кордо, который был главой управления, куда я был назначен: он хотел встретиться со мной до того, как я начну работать. Кабинет полковника оказался большой комнатой в конце коридора, которую охраняли три секретарши – две были молодые и хорошенькие, а третья высокая, очень худая женщина средних лет с некрасивыми зубами. Она походила на карикатурный "синий чулок", но позже выяснилось, что это приятный и очень живой человек.

Полковник Кордо, коротенький, плотный с бледно-голубыми глазами и щеточкой усов, разговаривал в отрывистой военной манере и ходил прихрамывая из-за артрита. Он действительно был офицером ВМФ, поэтому я решил, что все-таки нахожусь в Адмиралтействе. Он усадил меня и начал речь подчеркнуто торжественным тоном. То, что он сказал, признаюсь сразу, произвело на меня глубокое впечатление.

Он сообщил, что теперь я офицер СИС – британской разведки и что это здание – ее Центр. Я был прикреплен к голландскому отделу, который носил название П-8 и возглавлялся майором Симуром. Это была часть большого управления Северной Европы, начальником которого являлся полковник Кордо. Управление кроме Голландии занималось Скандинавскими странами и Советским Союзом. О моих обязанностях мне должен был рассказать майор, но до того, как я начну работать, меня пошлют пройти курс прыжков с парашютом в Рингвее под Манчестером. Прежде чем отпустить меня, он еще раз напомнил об ответственности, связанной с моим новым положением, и оказанном мне большом доверии.

Не знаю, верил ли сам полковник в то, что говорил, – в конечном счете он был старым человеком и видел много закулисных игр, но я, младший лейтенант двадцати одного года, только что получивший первое звание, и вправду смотрел на свое назначение как на честь и необычайную удачу. Я с трудом мог поверить, что все это происходит наяву. В последнее время я предполагал и надеялся, что работа, для которой меня интервьюировали, связана с разведкой, но то, что я действительно стану офицером британской разведки, этого легендарного центра тайной власти, по общему мнению, имеющего серьезное влияние на важнейшие события в этом мире, сильно превосходило мои самые смелые предположения.

До войны в каждом управлении существовали производственные отделы. В них обычно работали один, максимум два офицера и несколько секретарей. Отдел обозначался номером, кодирующим страну, которой тот занимался. Так, под номером 8 скрывалась Голландия, 1 – Франция, 4 – Германия. П-отделы были лондонскими представительствами зарубежных резидентур, которые вербовали агентов и работали с ними.

Все это изменили война и быстрая оккупация большинства европейских стран. Резидентуры в странах, занятых врагом, пришлось закрыть, а сотрудников отозвать. Теперь все

операции исходили из Англии, и П-отделы взяли на себя новые функции. Ненависть к оккупантам превратила население стран Западной и Северной Европы в потенциальных агентов. И что главное – в агентов, работающих из самых высших побуждений – патриотических.

Вместо того чтобы искать сотрудников в оккупированных странах самим, руководители разведки решили действовать через бежавшие в Лондон правительства этих стран. Такой шаг был обусловлен не только логическими соображениями и верно найденным психологическим подходом, но и совершенно катастрофической ситуацией, в которой оказалась разведка в результате немецких побед в первые годы войны. В армии после дюнкеркской блокады царила неразбериха, и выявилась совершенная неподготовленность к войне, все это отразилось и на разведке. Трудности удалось преодолеть находчивостью и расчетом, и победу буквально вырвали из зубов врага.

До войны принцип работы был таков: действовать против одной страны из соседнего с ней государства, поэтому гаагская резидентура работала против Германии. Кроме того, существовало убеждение, что каждая война разыгрывается по шаблону предыдущей, словом, гаагская резидентура не организовала агентурной сети в самой Голландии. Когда немцы оккупировали Нидерланды, резидентура была уничтожена, и у разведки не оказалось там ни одного агента.

Первое, что решили сделать, – организовать с помощью и при поддержке СИС голландскую разведку в Лондоне. Это разведбюро сначала с большими трудностями, но все же установило контакт с голландским подпольем. Довольно быстро было достигнуто соглашение между двумя разведками, заложившее основы сотрудничества и очертившее сферы деятельности обеих организаций. Голландская разведка отвечала за подбор агентов среди своих соотечественников, живущих в Англии, а британская со своими неизмеримо большими возможностями должна была их снаряжать, обучать, переправлять в Голландию и держать с ними связь. Инструктировать агентов было решено совместно двумя службами в соответствии с запросами заинтересованных министерств, которые, впрочем, были в основном британскими. Разведданные являлись в равной степени достоянием обеих служб, хотя оперативно их могли использовать, разумеется, лишь англичане.

К тому времени, как меня взяли в разведку, такой порядок действовал уже больше двух лет, и за это время было обучено и переброшено в Голландию множество агентов. Некоторые из них были арестованы немцами, расстреляны или отправлены в концлагеря, но находились новые смельчаки, которых посылали на смену погибшим. Обычно в тыл врага забрасывались группы из двоих – так называемого организатора и радиста. Перед организатором ставилась задача создать на месте с помощью подполья агентурную сеть, радист осуществлял связь с лондонским штабом.

Одним из условий соглашения было то, что в Голландию не может быть послан агентом англичанин. Так как многие группы Сопротивления были так или иначе связаны с различными политическими группировками или лидерами, обе службы хотели избежать подозрений в том, что Британия пытается повлиять на послевоенное политическое устройство страны.

Это условие развеяло мои надежды на возвращение в Голландию в качестве агента. Вместо этого я должен был играть роль офицера, ведущего группу молодых голландских агентов во время их подготовки. Я буду сопровождать их на парашютные курсы, поэтому так важно, чтобы я умел прыгать сам. Мне предстояло присматривать за ними во время обучения в Лондоне, следить, чтобы они имели все необходимое, водить их то в ресторан, то на спектакль, в общем вести себя как друг. Я должен был отвечать за то, чтобы ребятам выдали необходимое снаряжение и фальшивые документы, и проводить на аэродром в последнюю ночь. Так как я блестяще говорил по-голландски, сам только что вернулся оттуда и прошел через похожие испытания, что предстояли моим подопечным, то Симур думал, что я идеально подойду для подобного рода работы.

Майор Симур отвел меня в соседнюю комнату, такую же чердачную и маленькую, чтобы представить своему заместителю капитан-лейтенанту Чайлду. Этот офицер был очень старым сотрудником разведки и был связан с программой обучения агентов, он тоже следил за снабжением и снаряжением. Мне предстояло работать под его руководством. Большой и плотный, с крупными чертами лица, он в своей мятой форме был похож на американского актера 30-х годов Уоллеса Бири, который обычно играл роли "неограненных алмазов" с сердцем из чистого золота. Позже я узнал, что под грубой оболоч-

кой действительно скрывались доброе сердце и готовность помочь, а также проницательный и практичный ум. Когда Чайлд встал, чтобы пожать мне руку, я заметил, что у него деревянная нога.

В отличие от большинства офицеров разведки, которые происходили из высших и средних слоев, капитан Чайлд был сыном торговца-рыбака и выходил в море простым матросом, когда ему было всего пятнадцать. После многих лет службы в торговом флоте – там он получил капитанский патент – он оказался в незавидном положении шкипера частных яхт, возившего их богатых владельцев по водным маршрутам Голландии и вверх по Рейну. Тогда он хорошо изучил Нидерланды и Германию, выучил язык и завел широкие знакомства среди тамошних лодочников. Это сделало его ценным агентом гаагской резидентуры в те годы, когда Германия перевооружалась.

Когда разразилась война, он, будучи морским офицером запаса, стал сотрудником резидентуры, прикрываясь работой в офисе британского военно-морского атташе. Выполняя свою миссию в первые дни вторжения, он был атакован в машине немецкими парашютистами, серьезно ранен, в госпитале ему ампутировали ногу. Немцы интернировали его вместе с другими британскими дипломатами, и около двух лет он жил в отеле где-то в горах Гарца, а потом был обменен через Португалию на немецких дипломатов, которых война застала в разных частях Британской империи.

Моим первым делом в этот день оказалось сопровождать капитана Чайлда в Ханс-плейс, где в большой квартире располагалась школа радистов, там надо было взять два передатчика. Агенты, которые занимались на них, должны были быть заброшены в Голландию в ближайшее новолуние. Аппараты следовало упаковать в контейнеры. С энтузиазмом неофита я чуть не уронил один, и, помню, капитан сказал мне: "Спокойнее, сынок. Мы еще не в небе над Голландией". Он часто потом называл меня "сынок", что усиливало его сходство с Уоллесом Бири.

На следующий день я поехал в парашютную школу в Рингвее вместе с тремя молодыми голландскими агентами. Там учились люди разных национальностей, группы содержались строго раздельно, а одной из забот наблюдающего офицера было следить, чтобы между ними не было контактов.

Когда закончилось предварительное обучение, для троих

из нас, кто еще никогда не летал (среди них был и я), устроили ознакомительный полет. Уже это само по себе оказалось довольно волнующим. Потом наступило время прыжка. Мы с нарочитым равнодушием уселись в узкой кабине "ланкастера", прикрепив кольца парашютов специальным тросом к протянутой вдоль кабины проволоке. Вскоре пилот по селекторной связи сообщил, что самолет кружит над посадочной площадкой и он готов сбрасывать десант.

Первым должен был прыгать тренер. Следующим – я. Я посмотрел на свои ноги, свесившиеся в люк, и увидел землю, мчавшуюся далеко внизу. Пришлось покрепче ухватиться за край, потому что я боялся выпасть слишком рано, и уставиться на красную лампочку.

Вдруг она стала зеленой, в ту же секунду я услышал громкий голос по селектору, крикнувший: "Вперед!", почувствовал, выпрыгивая, толчок, закрыл глаза, предвкушая долгое падение. Но это оказалось совсем не так. Сначала меня подхватил воздушный поток от винта самолета и отбросил назад, потом сразу потащило наверх – открылся парашют. Я понял, что легко качаюсь в воздухе. Незабываемая минута! Облегчение, что парашют раскрылся, легкое парение, ощущение полета, будто я вдруг стал невесомым, страна, широко раскинувшаяся подо мной, – все это было ни на что не похоже. Я подумал, что так ангелы летают по раю. Мне недолго пришлось наслаждаться спуском, потому что земля неожиданно устремилась мне навстречу. Я сгруппировался для падения и в следующую минуту с глухим звуком ударился о землю. Получилось! Не думаю, что когда-нибудь еще мне удастся испытать такую радость.

По вечерам мы были свободны и ходили в близлежащую деревню, где были кинотеатр и танцзал. Мне было легко со своими подопечными. Все они недавно разными маршрутами прибыли в Англию и пережили множество приключений. Через несколько месяцев их должны были послать в подпольную организацию Голландии в качестве радистов, заменить тех, кто погиб или был арестован. Вырвавшись на свободу, они предпочли ей возвращение к притеснениям, мраку, трудностям и нужде в оккупированной Голландии. Там они вели жизнь, полную постоянной опасности, не могли встретиться с родителями и друзьями, а существовали тайно, перебираясь со своими передатчиками из одного укрытия в другое, чтобы скрыться от радиолокационной службы, перехватывающей

подпольные сообщения. Каждый раз, выходя на связь, чтобы передать информацию или получить инструкции, они вызывали на себя врага, подобно солдатам, открывающим огонь из засады. А потом, если они слишком долго испытывали судьбу и зловещие серые уши локаторов засекали укрытие, эсэсовцы окружали дом, и исчезнуть было невозможно. Ребят ожидало страшное будущее. Сначала – пытки с требованием выдать товарищей, а потом – смерть: расстрел или, еще хуже, медленная агония в концентрационном лагере. А сейчас, готовясь к этой жизни, они были беззаботны и веселы, назначали свидания румяным ланкаширским девушкам, стараясь радоваться жизни, пока она есть.

За первым прыжком последовали другие в разных условиях: прыжки с тяжелым рюкзаком, ночью, с приземлением на воду. Последние были особенно важны, так как в Голландии много водоемов. Здесь была своя техника – надо было заранее, еще в воздухе, освободиться от подвесной системы, продолжать спуск, держась за стропы рукой, и разжать ее в самое последнее мгновение перед ударом о воду.

Я возвратился в Лондон, с удовольствием вспоминая десять дней, проведенных в Рингвее. Прыжки с парашютом были волнующим опытом. Против ожидания в Лондоне мне гораздо больше пришлось заниматься конторской работой, чем я предполагал, – в отделе было слишком мало сотрудников.

Вскоре после того, как я пришел в отдел, двое офицеров должны были быть заброшены в Северные Нидерланды для создания передвижной резидентуры. Союзнические войска, высадившиеся на континенте, продвинулись по Франции и Бельгии до дельты Рейна и Мааса, которые отделяют Северные Нидерланды от Южных. Это оказалось труднопреодолимым природным барьером, дело осложнялось еще и тем, что впереди были территории, занятые немцами. П-8 использовал эту ситуацию для того, чтобы развернуть в освобожденной части Нидерландов полевую резидентуру, которая посылала бы агентов на территорию, еще оккупированную врагом. В Лондоне остался лишь штат, состоявший из майора Симура, капитана Чайлда и меня. День и ночь не ослабевал поток телеграмм от наших разведчиков в Голландии, в которых содержалась ценная и срочная информация о дислокации немецких войск, расположении штабов и других важных объектов. Вообще 80% разведданных, которые проходили через П-8,

мы получали именно этим путем. Только громоздкие материалы – карты, планы, статистику – посылали с курьерами через Швецию или Швейцарию.

Телеграммы получали в общем центре приема шифровок, расшифровывали и передавали к нам, в СИС. Часто связь была плохая из-за различных атмосферных помех. Сообщения писались и передавались второпях, в опасной обстановке, в результате текст оказывался довольно сильно искажен, отдельные слова и целые предложения выпадали. Чтобы разобраться, в чем дело, и восстановить из бессмыслицы связный текст, требовались бездна терпения и отличное знание голландского языка. Эту работу поручили мне.

Важная телеграмма, требующая немедленных действий, могла прийти в любое время дня и ночи. Это могло быть сообщение о том, что немецкий генерал разместил свой штаб в замке или в загородном доме в Восточной Голландии. Его расположение следовало нанести на карту, и информация вместе с координатами и другими относящимися к делу деталями передавалась по телефону в Министерство авиации для включения объекта в список целей для завтрашних тактических операций ВВС. Или могло поступить сообщение о том, что арестован один из важных членов нашей агентурной сети. Тут же посылалось предупреждение нескольким разведчикам, чтобы они держались подальше от известных явок, ставших небезопасными. Я провел много ночей на раскладушке в кабинете, готовый в любую минуту, как только появится что-то неотложное, бежать к телеграфному аппарату.

У капитана Чайлда была маленькая квартирка на Петти-Франс, в трех минутах ходьбы от конторы. Он предложил мне временно переехать к нему, оттуда можно было быстро добраться до аппаратной. Мы вели жизнь известных комедийных персонажей Джона Бокса и Джеймса Кокса, занимая квартиру поочередно, и редко бывали дома вдвоем. Чайлд часто уезжал на курсы подготовки, организовывал переправку агентов и грузов. Вместо того чтобы делать половину работы, как это изначально планировалось, я теперь помогал ему лишь настолько, насколько позволяла моя неотложная конторская служба. В это новолуние мы были очень заняты – условия благоприятствовали для забрасывания агентов, и мы старались успеть сделать как можно больше.

У майора Симура тоже было много дел вне конторы. Львиную долю времени отнимали консультации с начальст-

вом, встречи с голландской разведкой и другими спецслужбами. Очень важными были встречи с ОС – организацией, ответственной за саботаж и деятельность партизан на оккупированных территориях. Особое внимание уделялось тому, чтобы не было "пересечений", то есть чтобы подпольная группа, работающая на одну организацию, не оказалась вовлеченной в дела другой. В такой маленькой стране, как Голландия, это представляло определенную опасность, и СИС всячески старалась ее избежать.

Кроме общих соображений, которые заставляли разведку быть щепетильной в сотрудничестве с ОС, существовала еще одна весомая причина – трагический провал операции "Нордпол", который произвел неизгладимое впечатление на всех, кто был связан с голландским подпольем во время войны. История началась в марте 1942 года, когда немцы арестовали агента и его радиста, которые должны были организовывать сеть ОС.

В британской разведке считалось, что требовать от агентов полного молчания на допросах – задача непосильная, ведь всем было известно о зверских пытках в гестапо, под которыми мало кто мог устоять. Поэтому разведчикам разрешалось под принуждением назвать свой шифр и время связи. Естественно, немцы после этого арестовывали и радиста, продолжавшего выходить на связь с Лондоном, не зная о провале. Его заставляли продолжать передачи под контролем. Такая радиоигра – "шпиль", как ее называли немцы, – представляла серьезную опасность. Если в Лондоне не замечали подлога и связь с арестованным агентом продолжалась, то вся информация или материал, который ему посылался, попадали прямо в руки врага. Если из Лондона предупреждали о том, что будет заброшен новый агент, то его или сразу хватали, или следили за его действиями, чтобы узнать о связях в подполье. Так могла быть провалена вся организация. Кроме того, немцы могли использовать радиоканал для дезинформации.

На этот случай были разработаны так называемые "меры безопасности". Они состояли в том, что в текст зашифрованной телеграммы включались небольшие заранее оговоренные ошибки, лишние слоги или слова. Пока агент продолжал их использовать в своих сообщениях – все шло хорошо, когда переставал – это был знак, что работа ведется под контролем противника.

Под давлением арестованный агент ОС и его радист согласились продолжать посылать телеграммы в Лондон, но, естественно, опускали "меры безопасности" в знак того, что они вступили в радиоигру с врагом.

Хотя в голландском отделении ОС заметили неладное, но отнесли это на счет плохой связи из-за погоды и как ни в чем не бывало продолжали радиоконтакты с арестованными агентами. Немцы, с трудом веря в свою удачу, разработали хитрую мистификацию, дав ей кодовое название "Нордпол". Они предложили новые операции по саботажу и запросили из Лондона свежие силы и оборудование. Требование было выполнено в срок, и, естественно, все попало нацистам прямо в руки. Так гестапо находилось в контакте с Лондоном не меньше чем через восемнадцать передатчиков. "Шпиль" продолжалась до ноября 1943 года, когда двоим арестованным разведчикам удалось бежать из тюрьмы и пробраться в Швейцарию, где они предупредили голландские и британские власти о том, что происходит.

Официальные голландские источники оценили "Нордполшпиль" так: 49 агентов и 430 их связных в голландском Сопротивлении были арестованы, огромное количество оружия, средств саботажа, радиопередатчиков и большие суммы денег попали в руки немцам. Кроме того, были сбиты 12 британских бомбардировщиков, которые забрасывали агентов и грузы.

Справедливости ради надо отметить, что успехи, достигнутые нацистами с помощью "Нордполшпиль", были не более чем тактическими. А вот англичанам действительно удалось добиться серьезных стратегических побед над абвером, так как были арестованы и работали на Англию почти все немецкие шпионы, которых сюда засылали. Во время войны их использовали в "шпиль", превосходящей "Нордпол" и объемом, и продолжительностью. В это время в Голландии в совершенно новом составе начала воссоздаваться ОС. К счастью, из-за того, что ее сеть была по-прежнему маленькой, отчасти из-за особенной осторожности, с которой СИС всегда взаимодействовала с ОС, деятельность разведки пострадала несильно.

Офицерам П-8 помогали в работе четыре секретаря. Одна, как и во многих отделах СИС, была старая дева средних лет, трое других – девушки моего возраста.

Если большинство офицеров разведки были выходцами из среднего класса или его высшего слоя, секретарши в основ-

ном принадлежали к верхушке общества. Среди них были дочки парламентариев-тори, министров, генерал-губернатора Индии, высших судейских чинов, а некоторые оказались родственницами королевской семьи. Часто они были легкомысленными, но работали старательно, потому что трепетно относились к патриотическому долгу, инстинктивно отождествляя интересы Британии и своего класса. Обычно их принимали на службу по рекомендации друзей или родственников, у которых были знакомые в СИС. Это для них считалось хорошим способом пройти военную службу, оставаясь в Лондоне и не соприкасаясь с народом, что было бы неизбежно на любой другой работе. Большинство из них были хорошенькими, некоторые – красивыми, они были рассеянны и некомпетентны в разной степени, хотя среди них попадались и приятные исключения. С ними было легко работать, и они помогали создать веселую дружескую атмосферу, от которой больше всех выигрывал я, проводивший больше всех времени на службе.

Шли последние месяцы войны. Для нас в Лондоне они были отмечены постоянной угрозой обстрела из ракет "Фау-1" и "Фау-2". Субботним утром, когда я работал на своем чердаке на Бродвее, страшный взрыв потряс все здание до основания. Мы выбежали из кабинетов, чтобы узнать, что произошло. "Фау-2" упала всего в нескольких десятках ярдов за воротами Св. Анны, разрушив привратную часовню в Казармах Веллингтона, где как раз шла свадебная церемония. Многие присутствующие были убиты или покалечены.

Помню, я как-то дежурил в сентябрьское воскресенье. Перед тем как уйти, майор Симур дал мне текст телеграммы, которую я должен был немедленно отправить после телефонного звонка из Штаба верховного главнокомандующего объединенных войск. Она содержала инструкции нашим подпольным организациям в Голландии, особенно в районе Арнема – Неймегена, оказывать всяческую поддержку высадке объединенных войск и постоянно держать нас в курсе передвижений противника. Весь день прошел в напряженном ожидании звонка. Я понял, что планируется важная операция и в случае удачи Голландия буквально на днях будет свободной. У меня внутри все ликовало. Следующие несколько дней мы были очень заняты, шел огромный поток информации, сообщения надо было расшифровывать и передавать начальству чаще всего по телефону. Вскоре обнаружилось, что против-

нику удалось собрать сильно превосходящие силы, включая целую бронетанковую дивизию, и что основной части наших войск вряд ли удастся соединиться с парашютным десантом, приземлившимся на севере за рекой. Операция сорвалась. Тысячи жизней были потеряны напрасно, а Голландии предстояла самая тяжелая и жестокая из всех военных зим.

Чтобы я мог сделать перерыв в конторской работе, капитан Чайлд иногда предлагал мне ночью перед заброской сопровождать на аэродром агента. Обычно мы выезжали на машине после полудня на аэродром в Эссексе, автомобиль вела девушка из женской службы. По дороге мы останавливались выпить чаю или чего-нибудь покрепче в нескольких уютных старых пабах. Делалось максимум того, что поддержало бы хорошее настроение и беззаботность парня, и это всегда удавалось. На аэродроме мы ужинали с экипажем самолета. Перед посадкой разведчик переодевался в одежду голландского производства, а я должен был тщательно проверить, чтобы у него не оказалось при себе английских денег, писем, автобусных или кинобилетов или еще чего-нибудь, что могло бы его выдать. Потом я вручал ему фальшивые документы, деньги, называл код и время связи и, если он хотел, давал капсулу с ядом.

Потом он надевал снаряжение, парашют и был готов начать свою опасную миссию. Мы садились в "джип" и ехали к приготовленному самолету. На борту я проверял, на месте ли упаковки со снаряжением и оборудованием, и наступала минута прощания. Последний раз помахав рукой, пока самолет разворачивался на взлетной полосе, мы ждали, когда он наберет скорость, поднимется в воздух и с выключенными огнями исчезнет в ночи. Обычно назад мы ехали молча, не зажигая света, ни я, ни водитель не испытывали желания разговаривать, мы думали о том, что самолет летит на восток, во вражеский тыл. Будет ли десант удачным и тот, кто всего час назад был нашим спутником, спустится на землю живым и окажется среди товарищей? Вернется ли на базу невредимым экипаж, с которым мы только что ужинали и шутили?

Одна такая поездка запомнилась мне особенно. Разведчик, которого я сопровождал, оказался милым светловолосым мальчиком, которому едва исполнилось восемнадцать, он отправлялся в одну из наших групп в районе Амстердама. Перед посадкой случилась какая-то задержка, но после дол-

гого ожидания самолет все-таки поднялся в воздух. Через два дня мы получили телеграмму о том, что мальчик погиб. Его должны были сбросить недалеко от большого озера, наверное, он прыгнул слишком рано и упал в воду. Вовремя не оценив обстановку, он не освободился от парашюта, очевидно, был сильный ветер, и парашют утащил его под воду. Тело нашли на следующий день. Тогда мы еще не знали, что это был последний десантник, которого сбросили над Голландией. К следующему новолунию немцы были полностью разгромлены.

День победы я встретил один в помещении П-8, от которого осталась лишь бледная тень. Неделей раньше немецкая армия в Нидерландах капитулировала, и майор Симур, получивший чин подполковника, поехал в Гаагу открывать там резидентуру СИС. Капитан Чайлд, которому некого было больше учить и забрасывать в тыл, перешел в разведку при штабе ВМФ в Германии.

Я запомнил из того дня две вещи: долгий вой сирен, дающих сигнал отбоя после того, как было объявлено о капитуляции, и яркие уличные фонари – в затемнении больше не было необходимости. Хоть я и дежурил, но радиограммы не поступали, и я вышел из дому, чтобы присоединиться к праздничной толпе. Меня подхватил поток, направлявшийся в сторону Букингемского дворца, где ликующие люди кричали: "Короля!", а когда он и королевская семья вышли на балкон, все запели: "Он веселый и хороший парень". Война закончилась, мы победили.

Глава пятая

Через неделю после Дня победы я уехал в Голландию, чтобы стать сотрудником новой резидентуры СИС в Гааге. Со мной были три секретарши, которые надели что-то вроде полувоенной формы, чтобы не привлекать к себе внимания в освобожденной Европе, походившей тогда на большой военный лагерь. Мы взяли с собой множество бумаг, запас еды и путешествовали на корабле, принадлежавшем флотилии СИС. Прекрасным весенним утром мы подплывали к Роттердаму, я снова был в Голландии, сбросившей гнет оккупации.

В Роттердам мы прибыли во второй половине дня, и, как только пришвартовались, я сошел на берег и поспешил узнать, что стало с моей тетей. Она жила довольно далеко от порта, а транспорта не было. Отзывчивый рабочий, которому я объяснил ситуацию, одолжил мне велосипед. Обода у него были деревянные, и поездка до дома, где я был в последний раз на похоронах бабушки, отняла у меня довольно много времени. Я позвонил, и тетя открыла дверь. Она очень похудела, но в общем выглядела неплохо. Сначала были слезы радости, а потом мы разговаривали до глубокой ночи, когда пришло время возвращаться на корабль. В следующий раз я уже приехал на реквизированной машине и привез довольно много еды – тетя очень нуждалась в продуктах после минувшей голодной зимы.

Резидентура разместилась в двух больших виллах в Вассенааре – фешенебельном и зеленом районе Гааги. Бо́льшая из них принадлежала богатому голландскому нацисту, кото-

рый за две недели до нашего приезда был посажен в тюрьму, где ожидал суда за военные преступления. Эта вилла использовалась как жилье для персонала отдела, во второй располагался офис. На следующий после приезда день я уже приступил к своим новым обязанностям. С помощью секретарши мне следовало просмотреть все досье, чтобы дополнить нашими агентами список награждаемых разными британскими орденами и медалями. Тогда работа состояла в том, чтобы закончить все дела военного времени и свернуть агентурную сеть. Надо было узнать о судьбе пропавших сотрудников, позаботиться о семьях погибших, реабилитировать выживших в тюрьмах и концлагерях, многим надо было помочь устроиться в мирной жизни и всех представить к наградам, некоторых – посмертно. Все это, конечно, делалось в тесном контакте с коллегами из голландской разведки, которая разместилась в большом доме неподалеку. Офицеры голландской разведки, которые работали в Лондоне, также были удостоены английских военных орденов, а сотрудников П-8 (включая меня самого) отметили за работу во время войны голландскими военными наградами.

Тем не менее я должен признать, что это первое мирное лето запомнилось не работой, которую мы делали, а как почти непрерывный круговорот вечеринок, выпивок и жизни на широкую ногу. Казалось, освобождение от опасности, страданий и лишений, унижений и работы на износ ударило всем в голову, да так, что люди потеряли всякое чувство меры и безрассудно кинулись развлекаться. А в первую очередь свобода повлияла на военных, которые контролировали в это время распределение продуктов и ценностей. Реквизированные машины, склады вина и бренди, накопленных разгромленным вермахтом на роскошных виллах, клубы, устроенные в наиболее дорогих ресторанах или в самых живописных загородных домиках, фешенебельные отели и праздничные сборища, хорошенькие девушки, дорвавшиеся до веселья после мрака оккупации, – все эти радости, которые раньше доставались только богачам, теперь стали доступными любому офицеру.

Я тоже оказался вовлеченным в водоворот удовольствий, буквально следуя словам известного церковного гимна: "Мир, плоть и сатана витали над тропой, которой я шел". К стыду своему, должен отметить, что мои крепкие религиозные убеждения, которые я тогда еще не растерял, никак не защищали от окружающей обстановки.

Впрочем, несмотря ни на что, вся работа по сворачиванию деятельности военной резидентуры СИС в Гааге в сентябре была закончена. Меня вновь отозвали в Лондон работать в П-8.

Это был период реорганизации и привыкания к новым условиям, к новому стилю и темпу и для СИС в целом, и для каждого ее сотрудника. Прошлое заканчивалось, будущее еще не наступило. Многие уходили, возвращаясь к довоенным занятиям и профессиям: одни – в Сити, другие – в адвокатуру, третьи – в школы и университеты. На всеобщих выборах в 1945 году, когда к власти пришли лейбористы, несколько бывших офицеров баллотировались в парламент. Полковник Кордо был избран от консерваторов Гримсби и стал постоянным спикером по вопросам разведки. Майор Симур вернулся к своей прежней должности представителя большой табачной компании в Голландии.

Между тем в высших эшелонах разведки внимательно изучали изменившуюся расстановку сил в послевоенном мире, и была выработана новая, более отвечающая требованиям времени структура СИС. Стало уже ясно, что главным объектом внимания будут Советский Союз, новые социалистические страны Восточной Европы и мировое коммунистическое движение.

До войны разведка была во многом похожа на клуб энтузиастов-любителей, которыми единолично руководил начальник. Он мог нанять и уволить сотрудника, платил так, как считал нужным, не сообразуясь ни с какими гражданскими правами и регламентациями. Новая СИС, которая появилась после большой послевоенной реорганизации, стала департаментом правительства со своим отделом кадров, табелью о рангах, регулярными повышениями по службе, ежегодными прибавками к жалованью и пенсиями. Многие старики качали головами, предсказывая, что все эти модные и бессмысленные бюрократические атрибуты сделают СИС слишком громоздкой, заорганизованной, неспособной к такой тонкой и деликатной работе, как шпионаж.

В начале 1946 года капитан Чайлд приехал в управление разведки с предложением, которое касалось меня. Ликвидировалась разведывательная часть ВМС. Во время войны она специализировалась на десантно-диверсионных операциях, захватывая на побережье вражеских "языков" и важные документы. Остатки части все еще размещались в Гамбурге,

и капитан Чайлд предложил номинально назначить меня начальником части, что было бы удобным прикрытием для разведопераций в Германии. В Гамбурге уже была резидентура СИС, но как начальник РНФЮ (Королевской морской передовой разведывательной части) я был бы в более выгодном положении, разрабатывая некоторые операции, особенно связанные с морем.

Предложение было одобрено, и в марте того же года я отправился в Гамбург, чтобы принять дела у последнего настоящего командира части – капитана Уилера, который позже стал известным корреспондентом Би-би-си в Вашингтоне.

Часть располагалась на живописной вилле с садом, спускавшимся к Эльбе. Я получил во владение этот дом вместе с писарем, который блестяще говорил по-немецки, фургоном и водителем, а также большим запасом еды, сигарет и напитков, которые надо было использовать в оперативных целях.

Передо мной стояла довольно интересная задача. Сразу после сдачи немецкого флота в Киле наша часть занималась допросами командиров подводных лодок и старших офицеров флота. В течение двух войн немецкие подлодки представляли серьезную опасность для английских коммуникационных линий, борьба с ними была долгой и изнурительной, и британское морское командование смотрело на это военное подразделение, а особенно на асов-командиров, как на самых больших фанатиков и милитаристов из всех немцев. Тех, о ком знали или кого подозревали в совершении военных преступлений, мы отправляли в тюрьмы или лагеря ждать суда, остальных освобождали и демобилизовывали. По работе офицеры РНФЮ контактировали с большим количеством офицеров подлодок, и эти связи в будущем при желании могли быть использованы в разведывательных целях. Я должен был выявить наиболее многообещающие из контактов, для того чтобы найти людей, способных помочь мне организовать разведсеть в советской зоне Германии. Им предполагалось поручить сбор информации о советских вооруженных силах, а также политическом и экономическом развитии зоны. Считалось, что дух антикоммунизма и традиционная ненависть немецких военных к русским заставят их согласиться на сотрудничество, а подачки в виде еды, сигарет и выпивки довершат дело. Также я должен был заранее разузнать, не планируют ли фанатики из бывших офицеров подлодок каких-либо враждебных действий по отношению к британским

оккупационным властям, – такая возможность, естественно, принималась во внимание в первые послевоенные годы.

Я с большим энтузиазмом взялся за дело и в короткий срок заимел широкие знакомства в немецких морских кругах. Это было не так трудно, как может показаться сначала, особенно если учесть, что у немцев не было ничего, а у нас было все – в руках англичан оказались средства, привилегии и даже закон в те дни, когда обладание парой тысяч сигарет уже сулило большие возможности.

К весне 1947 года мне удалось с помощью талантливых разведчиков из числа моих знакомых во флоте создать две разведсети в Восточной Германии, членами которых были бывшие офицеры флота и вермахта.

Проще всего в то время было заслать агентов в советскую зону через Берлин, где движение между восточным и западным секторами было свободным. Я переодевал агентов в форму британских морских офицеров, снабжал их проездными документами с фиктивными английскими именами и номерами частей и сам провозил их через контрольные посты в Хельмштедте и Берлине. Оттуда через границу восточного сектора они уже ехали в разные города советской зоны.

Относительно второй части моей работы мне пришлось доложить, что, по моему мнению, в немецких флотских кругах никто не готовил антибританских акций. Как и большинство немцев в это время, офицеры были слишком озабочены повседневными насущными проблемами. Больше того, мне кажется, они пришли к выводу, что всякое сопротивление – активное или пассивное – будет не просто бесполезным, но и принесет вред будущей Германии.

Как же я чувствовал себя, налаживая контакты с офицерами германских вооруженных сил, которых еще так недавно ненавидел? Ну, во-первых, я понимал, что они разгромлены и больше не смогут навредить чьим-либо интересам. В то же время они являлись ценным материалом, который можно было использовать в борьбе с коммунизмом и Советским Союзом, угрожавшим цивилизации и нашему образу жизни, – таков был общепринятый взгляд, который я в то время полностью разделял. И вообще это – проблема, с которой часто сталкиваются офицеры разведки. Ограничивая круг общения людьми высокого морального уровня и теми, кого уважаешь, многого в шпионаже не добьешься. Работать приходится с теми, кто есть на данный момент в распоряжении. Кроме

того, на мой взгляд, неверно определять одни нации как изначально добродетельные и мужественные, а других считать генетически способными лишь на зло и трусость. Это относится к англичанам, голландцам или евреям, так же как к немцам, японцам или кому-либо другому. Нет наций, которые в своей истории никогда не совершали зверств, просто различен масштаб, все зависит от конкретных исторических обстоятельств, в которые попадает страна. И, думается мне, никто не может указать обвиняющим перстом на другого, а следует лишь смиренно склонить голову, говоря: "Все в руках Господних". Никто не знает, что будет завтра.

Жизнь в Гамбурге напоминала веселье первых месяцев после освобождения Голландии. Такие же большие виллы, реквизированные машины, роскошные отели и загородные клубы с французской кухней – но все это составляло лишь фон насыщенной работой жизни, заполненной встречами и деловыми завтраками, составлением отчетов и поездками в сопровождении новых агентов. Человек преисполнялся ощущением собственной значительности, однако все это не способствовало скромности и смирению. К тому же приходилось вести активную светскую жизнь. Штаб флота переехал в Гамбург, и это сулило жизнь, заполненную развлечениями и вечеринками. Чарлз Уилер перед отъездом познакомил меня со своими близкими друзьями, среди которых были представители верхушки немецкой аристократии. Война изрядно ухудшила их жизнь, и, уставшие от лишений, они были рады любому поводу поучаствовать в празднествах. Вечеринки часто длились до утра, там были красивые женщины и шампанское, праздники отмечались в роскошных залах с высокими потолками, обставленных антикварной мебелью, а со старинных портретов смотрели предки с прославленными именами. Спиртное, конечно, лилось рекой. Правда, это никогда не составляло для меня серьезной проблемы – к счастью, мой организм отвергает алкоголь, я не люблю ни виски, ни джин, ни водку, ни бренди, хотя иногда с удовольствием выпиваю бокал вина. В тех редких случаях, когда я напивался, за сомнительное удовольствие приходилось назавтра расплачиваться таким отвратительным самочувствием, что я старался избегать повторений. Так что причина моей воздержанности не в добродетелях, а лишь в природе, иначе бы я тогда непременно спился.

Признаюсь, в какой-то степени мне очень импонировала

описанная только что жизнь, но одна из сторон моего характера, я называю ее кальвинистской, гневно осуждала подобное существование, считая его распутным. Внутренняя борьба имела одно серьезное последствие: я понял, что больше не хочу стать священником, потому что, боюсь, уже не смог бы жить добродетельной жизнью, как это предписывает служение Богу. Поэтому я оставил все мысли о поступлении в теологический колледж после возвращения к гражданской жизни, а когда мне чуть позже предложили постоянно работать в СИС, я без особых колебаний согласился. Я находил работу разведчика очень интересной, мне нравилось путешествовать, а мысль о том, что, может быть, придется служить в далеких и неизвестных странах, не только не пугала, но привлекала меня. К тому же, отказавшись от идеи церковной карьеры, я и не представлял себе каких-либо других определенных жизненных перспектив. Капитан Чайлд, который демобилизовался из флота, начал создавать собственную фирму, организовывающую туристические круизы по Рейну и голландским рекам, и предложил стать его помощником. Мамин друг, владелец большого дома моделей, предложил мне работу администратора. Ни тот, ни другой проекты не вдохновляли меня, да к тому же я знал, что мало способен к бизнесу.

После того как я стал кадровым офицером разведки, руководство предложило мне поучиться на курсах русского языка для офицеров вооруженных сил, которые открылись при Кембриджском университете. Идея мне понравилась, и я сразу согласился.

Занятия, как и учебный год в университете, должны были начинаться в октябре, и я ненадолго вернулся в Гамбург, чтобы передать дела и своих агентов сотрудникам тамошней резидентуры СИС.

В Кембридже офицеры, зачисленные на курсы, были включены в обычный университетский порядок – жили как школяры последнего курса, были приписаны к разным колледжам – я, например, к Даунингу из-за его морских связей; мы слушали лекции на славянском факультете, и, кроме того, нас натаскивали по некоторым специфическим вопросам.

Славянский факультет в те годы возглавляла доктор Элизабет Хилл, которая воспитала несколько поколений славистов и много сделала для развития обучения русскому языку в Англии. Сильная личность, она использовала нетрадиционные подходы, обожала свой предмет и, главное, умела

заинтересовать своих учеников. Мне посчастливилось, что она руководила моей группой. Доктор Хилл происходила из древнего рода английских купцов Санкт-Петербурга, мать ее была русской, и сама она выглядела очень русской – коренастая, с крупными чертами лица и волосами, собранными сзади в пучок. На своих занятиях ей удавалось заразить студентов (и, естественно, меня) своей любовью ко всему русскому. Я отделяю в данном случае русское от советского, потому что наша преподавательница мало жила при советской власти. Она была убежденной православной христианкой и иногда возила своих любимых учеников на машине в Лондон послушать службу в тамошнем православном храме. Мы не только изучали язык, но и слушали лекции по русской истории и литературе. Уже в рождественские каникулы я попробовал прочесть свою первую русскую книгу – "Анну Каренину" Толстого. Не скажу, что понял каждое слово, но с помощью словаря мне удавалось с интересом следить за развитием сюжета. Когда я закончил роман, у меня появилось чувство настоящей победы, и я сразу взялся за "Воскресение".

Вспоминая дни, проведенные в Кембридже, я теперь понимаю, что они были переломными – мне открылись новые горизонты, я получил ключ к удивительным богатствам русской литературы, стал уже немного понимать русских людей, заинтересовался и полюбил их обычаи и традиции. До Кембриджа я не делал никакой разницы между Россией и СССР, считал русских людей полуварварами, угнетенными жестокой и сильной диктатурой, которая безжалостно преследовала всех христиан. Во время войны я, конечно, смотрел на СССР с надеждой, восхищался боевым духом русских и приветствовал их победы, понимая, что сражения на Восточном фронте будут иметь решающее значение для исхода всей войны. Но и эти чувства, смешанные со страхом и отвращением к коммунизму, были лишены какой-либо любви к русским. Подобное отношение, которое, думаю, я разделял со многими, лучше всего можно проиллюстрировать анекдотом, который ходил в Голландии во время советского контрнаступления зимой 1942 года. Будто бы в это время на нидерландско-немецкой границе был установлен плакат: "Стой, Тимошенко! Здесь начинается Голландия". Другими словами – Советы могли сделать с немцами все, что захотят, но их присутствие в Голландии не приветствовалось.

Теперь под влиянием чтения и вдохновенных уроков доктора Хилл многое изменилось. Мой растущий интерес ко всему русскому превратился в настоящую любовь, я восхищался русскими людьми, их великодушием и щедростью, мужеством в борьбе против завоевателей с Востока и Запада и многовековой тирании собственных правителей, их удивительным долготерпением и выносливостью. Я тогда не мог и вообразить, что жизнь предоставит мне возможность проверить самому все эти свойства русских.

Первый семестр в Кембридже я жил в городе, но скоро понял, что здесь очень трудно серьезно работать. Мои сокурсники все были офицерами армии, флота или ВВС. В большинстве люди веселые, они не изменяли привычкам военного братства. С некоторыми вместе жили жены, и все время что-нибудь происходило. Гости вваливались без приглашения или зазывали к себе в комнату на чашку чая. На улице непременно встречался кто-нибудь из знакомых, предлагавший заглянуть в кафе или кабачок. Я понял, что так не продвинусь далеко в изучении русского. Случайно я услышал об одной пожилой даме, вдове викария, которая жила в большом доме в Мэддингли, в пяти милях от Кембриджа, она искала постояльца не столько ради денег, сколько из-за того, чтобы не быть все время одной в пустой вилле. Я съездил к ней, и она согласилась сдать мне спальню и гостиную за весьма скромную плату, куда входил и стол, который я делил с вдовой. Она хорошо готовила, а я был благодарным жильцом, и это побуждало ее особенно стараться. Два последних семестра я прожил в комфорте и мог сосредоточиться на учебе, меня никто не отвлекал. В Кембридж я ездил только на лекции, а тот, кто хотел меня изредка видеть, должен был прокатиться в Мэддингли на велосипеде.

Учиться в Кембридже я считал большой привилегией. Я полюбил этот город, его старые дома и церкви, узенькие улочки и атмосферу средневековья. Особенно мне нравилось посещать вечернюю службу в часовне Кингз-колледжа. Обычно я оставался и после мессы, когда свечи гасили, но орган продолжал играть. Сидя в темноте, я чувствовал, как все мое существо растворяется в музыке.

Хотя я и продолжал регулярно посещать церковь, в моих убеждениях произошли важные изменения. В той религиоз-

ной системе, к которой я принадлежал, центральное место занимала теория о предопределении, и я много думал о ней. Мне было нетрудно принять ее, потому что она не противоречила моему пониманию Бога как Творца неба и земли, Всесильного и Всезнающего Повелителя Вселенной, без воли которого ни одна малая птица не упадет на землю, а у нас же и волосы на голове все сочтены (Евангелие от Матфея, гл. 10, стихи 29–30). В этой системе не было места для случая или катастрофы и еще меньше – для свободной воли человека. Вселенная, начиная с небесных светил и кончая каждой молекулой, находится во власти Высшей Воли и управляется Высшим Разумом. Если представить, что человеческие существа, обладающие свободой воли, могут вмешаться и изменить планы Всевышнего по своей прихоти, то, мне кажется, разрушается сама идея Бога. Свободная воля лишает Всевышнего его безграничного превосходства, безбрежного знания, несокрушимой мудрости, полной независимости и вечной неизменности, выводя некоторые вещи из божественного провидения, к примеру, всю историю человечества, которая состоит из бесконечного количества поступков людей, по-видимому, проявляющих свою "свободную волю". Мало кто из верующих с этим согласится.

Но если все предопределено Богом, происходящее – правильно и по-другому быть не может, то, следовательно, доказывал я, и то, что мы называем добром, и то, что считаем злом, идет от Бога и является обязательными элементами бытия. Зло и добро, казалось мне, понятия, касающиеся только отношений между людьми и обществами, теряют свой смысл, когда их относишь к Всевышнему. Взять хотя бы землетрясения и природные катастрофы, неизлечимые болезни и детей, родившихся умственно отсталыми. Но даже там, где поработал человек, мы видим руку Господа. Все верующие – исповедующие предопределение или свободную волю – принимают то, что наши рождения и смерти в руке Божией. Но если заранее намечены время, место и обстоятельства рождения, мужчина и женщина, которые становятся нашими родителями, то должны быть предопределены и все обстоятельства, которые сопровождают зачатие, независимо от того, законное ли это соитие или распутная связь. Если смерть, ее время, место и вид запланированы Богом, то, следовательно, если я убит – Он направлял руку убийцы; если погиб в катастрофе – Он руководил несчастьем, а если умер в страданиях

в больнице – Он послал мне болезнь. Это те факты, от которых мы не можем уйти. Часто возражают, что такой взгляд на человечество превращает живое существо в робота, лишая самого звания человека. Но что, я спрашиваю, унизительного быть роботом, которым управляет не другой человек, а Всевышний, Творец неба и земли, Повелитель Вселенной?

Нет смысла приписывать все напасти сатане. Если он существует, то в конечном счете как орудие Божие, которому дана власть творить зло, власть, которую он употребляет с ведома Господа, и Он знает, как тот распорядится этой властью.

Но если все зависит от воли Бога, следовательно, Он, сотворив каждого человека именно таким, как тот есть, с его добродетелями и грехами, дает одним добродетелей больше, другим – меньше в соответствии с одному ему известными целями. Как говорил святой апостол Павел, "ибо Он говорит Моисею: "кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею".

Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.

Ибо Писание говорит фараону: "для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле".

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.

Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? ибо кто противостанет воле Его?"

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему [его]: "зачем ты меня так сделал?"

Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?"*.

Истинность этих притчей подтверждалась, как мне казалось, жизнью, всем, что я видел вокруг себя. Но если это так – а я верил, что это так, – тогда нет греха в глазах Бога (оставляя в стороне первородный), грех – столь же необходимый элемент в системе, как и добродетель. Следовательно, Он, будучи справедливым, не может требовать от нас ответственности и наказывать за грехи, которые Сам предопределил. И справедливо ли обрекать существо на вечные муки за зло, которое оно не совершало? Бог не может этого желать. Но раз нет греха и нет наказания, то и нет нужды в искуплении и очищении через жертву Христову. Стал бы Господь

---

* Послание к Римлянам святого апостола Павла, гл. 9, стихи 15–21.

играть в сложную игру с самим собой, насадив в человечестве грехи и заставив служить их своим вечным целям, а потом счел необходимым прийти в мир и искупить эти грехи распятием? Это, на мой взгляд, маловероятно, тем более что человек, восприняв Христа, остался таким же грешным, как и был. Если бы Бог действительно побывал таким образом среди людей, жизнь изменилась бы.

Я шел к неизбежному выводу и как бы не хотел этого, но стал перед ним: Христос не был Богом, своей жертвой Он не искупил наши грехи, и, конечно, в искуплении не было необходимости. Придя к такому заключению, я понял, что больше не верю в главную доктрину христианства. Я продолжал почитать и восхищаться личностью Христа – человека, возможно, самого совершенного из людей и пример для подражания, но все же человека. Я понял, что доказал себе несостоятельность христианства и больше не могу считать себя христианином.

Не уверен, есть ли какой-нибудь термин, чтобы обозначить мою новую веру и убеждения. Некоторые считают, что я фаталист, а потому спрашивают: почему же я не воспринял тюремное заключение как рок и не сидел спокойно в Уормвуд-Скрабз. Я отвечаю так: наша реакция на события тоже предопределена, и судьба моя была действовать и организовать побег. Фатализм не в том, чтобы смиренно ждать, принимая случающееся как неизбежность. Фатализм выражается и в импульсах, которые побуждают к определенным поступкам. Поэтому я думаю, что есть оправдание тому, кто говорит: "Вы не можете наказать меня за грехи, потому что они заложены во мне и я не властен над ними".

Я закончил учебу с высшими отметками и, не дожидаясь традиционных майских соревнований, уехал из Кембриджа сразу после экзаменов, чтобы вместе с сокурсником-моряком провести три недели в доме русских иммигрантов, живших в деревушке под Дублином. В те годы не было программ по обмену, позволявших англичанам поучиться в России, а советским студентам – в университетах Великобритании. Если ты хотел попрактиковаться в разговорной речи, то надо было пожить некоторое время в русской семье в Англии или за рубежом. Нашим хозяином был князь, который зарабатывал на жизнь тем, что выращивал грибы, продавая их в дублин-

ские рестораны, и тем, что принимал студентов-русистов. Его жена, высокая статная женщина, дочь последнего губернатора Польши, старалась, несмотря на все трудности, поддерживать видимость былого блеска. А это было непросто при их стесненных обстоятельствах. К примеру, невозможно было скрыть то, что диван в гостиной сделан из ящиков из-под овощей и обит ситцем. Я находил все это восхитительным. В гости к нашим хозяевам заглядывал старый казачий генерал с седыми бакенбардами; входя в комнату, он крестился на иконы в красном углу. Казалось, что мы находимся где-то в старой России.

Мы должны были говорить по-русски во время еды и всегда, когда общались с семьей. Сначала нам было трудно, но со временем становилось проще и проще. Основная польза "стажировки" кроме долгих прогулок по красивой ирландской сельской местности заключалась в том, что мы приобрели уверенность в себе, убедившись, что люди понимают наш разговорный русский, а мы в основном понимаем то, что говорят они.

Когда я вернулся в Лондон доложиться в управление разведки, мне сказали, что меня направляют в британское консульство в Урумчи, в Западном Китае, недалеко от границы с Советским Казахстаном, в качестве помощника тамошнего резидента СИС. Я был доволен назначением, хотя предпочел бы Афганистан – страну, в которой мечтал побывать всю жизнь и которая до нынешнего дня не потеряла для меня своей притягательности, несмотря на долгие годы жестокой войны. Через несколько недель по необъяснимым причинам назначение было изменено, и мне сообщили, что я поеду первым резидентом СИС в Сеул – столицу Южной Кореи. Если честно, перспектива поездки на Дальний Восток не вызывала у меня восторга, я никогда не испытывал интереса к культуре этого района, ни к китайской, ни к японской, меня гораздо больше влекло к исламскому миру. Впрочем, разочарование искупалось удовлетворением, ведь меня оставили во главе хоть и маленькой, но резидентуры. Кроме того, Корея считалась горячей точкой, где ожидалось много событий. Так что служба обещала быть интересной и ответственной. Вышло так, что я получил гораздо больше, чем ожидал.

До конца лета 1948 года я был приписан к дальневосточному управлению, чтобы познакомиться с ситуацией в Корее, задачами и проблемами, которые мне предстояло решать. Я прочитал кучу газет и поговорил с мистером Кермодом,

бывшим генеральным консулом в Сеуле, который был дома в отпуске, он дал мне много ценных советов о жизни в городе и о том, какую одежду и снаряжение взять с собой. Среди бумаг, которые мне дали прочитать, попалась и маленькая книжка о марксизме, подготовленная IX отделом, который в СИС занимался вопросами коммунизма. Она называлась "Теория и практика коммунизма" и ставила своей целью познакомить офицеров разведки с главными идеями Маркса (по принципу "знай своего врага"). Ее автором был Кэрью Хант – главный теоретик марксизма в СИС, его работы на эту тему хорошо известны и широкой публике. Брошюра специалиста, не пропагандистская, а информационная, объективно объясняла философские, политические и экономические основы марксизма, давала понять, почему это учение сохраняет притягательность для миллионов людей во всем мире.

Книга оказалась для меня откровением. До сих пор я очень мало читал о марксизме, и в основном нечто негативное. После "Теории и практики коммунизма" у меня осталось чувство, что теория коммунизма звучит убедительно, что ее объяснение истории имеет смысл, а цели кажутся в общем привлекательными и немногим отличаются от идеалов христианства, хотя и не схожи с ним методами достижения. Я спрашивал себя, так ли ужасен коммунизм, как его изображают.

В октябре я вылетел в Корею. Меня так торопились отправить, что не удалось проделать путешествие более длинным и интересным морским путем, который я бы предпочел, а пришлось лететь гидропланом, поэтому дорога до Японии заняла всего неделю. Ночи мы проводили на промежуточных аэродромах и на третий день прибыли в Каир. Когда пассажиров поместили в отель "Шеферд", я сразу попытался дозвониться тете, но ответа не было, сколько я ни набирал номер. Тогда я поехал на такси. Дверь открыл дворецкий Ахмед, но все остальное печально изменилось. Дядя и две тети жили теперь одни и очень стесненно. После образования государства Израиль прежняя гармония между еврейской общиной и арабами разрушилась. Как евреи, они стали объектом различных унижений и ограничений: телефон у них выключили, и дяде стало трудно вести свой бизнес. Кузен Анри попал в тюрьму как коммунист, а кузен Рауль жил за границей. Все это отразилось и на здоровье дяди и тети. Они были рады меня видеть после долгих военных лет, нам многое хотелось пове-

дать друг другу, но это была печальная встреча. Я уехал в полночь, потому что самолет вылетал рано утром. С тяжелым сердцем я простился с этими пожилыми и одинокими людьми, которые так много для меня сделали. Больше я никогда их не видел. Мне рассказали, что они вскоре умерли один за другим еще до моего возвращения из Кореи.

По приезде в Сеул я прежде всего явился в генеральное консульство. Оно располагалось в двух домах в викторианском стиле, одном побольше, другом поменьше, окруженных большим садом, бывшим когда-то частью парка вокруг императорского дворца. Большой дом занимал генеральный консул Вивиан Холт, который через несколько месяцев, когда Великобритания признала Корейскую республику, стал там полномочным посланником. В меньшем доме первый этаж занимала канцелярия, на втором была квартира мистера Фейтфула. Он был холост и любезно предоставил мне комнату, пока я не подыщу собственное жилье. Через несколько недель ко мне присоединился Норман Оуэн, мой помощник, он был женат, но оставил жену и ребенка в Англии. К тому времени я уже нанял большой дом в японском стиле в деловой части города, там мы с Норманом и поселились. Позже я пригласил занять две свободные комнаты нового французского вице-консула Жана Мидмора, который никак не мог найти себе пристанище. Он внес в нашу жизнь дух веселья и праздника.

На уик-энды мы часто устраивали пикники, выезжали на "джипах", единственном приемлемом для Кореи виде транспорта, и останавливались в каком-нибудь живописном уголке. Обычно мы выбирали место возле развалин старого храма на берегу быстрого горного потока, вокруг вздымались в темно-голубое небо голые пики отвесных скал. Такие прогулки были особенно хороши осенью, когда природа и климат наиболее красивы и благоприятны. Яркие краски на фоне необыкновенно синего неба в совершенно прозрачном теплом воздухе... Вскоре моя прежняя неприязнь сменилась глубокой симпатией к этой красивой дикой стране и ее стойкому, независимому народу, что часто поначалу раздражает, но при более близком знакомстве обнаруживается неожиданное, а потому обезоруживающее обаяние корейцев.

Война неотвратимо наступила, хотя и не так скоро, как ожидалось. Вместо нескольких месяцев, которые, как я думал, даны мне, чтобы "окопаться" перед войной, в моем

распоряжении оказалось целых полтора года. За это время я смог прекрасно познакомиться с корейской обстановкой и заложить основу будущей разведработы. Моей первой и главной задачей было раскинуть агентурную сеть в Советском Приморье, в первую очередь в районе Владивостока. Это оказалось непросто, если не сказать невозможно. Сеул был, конечно, ближайшей к Советскому Приморью точкой на карте, где была британская дипломатическая миссия, что, видимо, и оказалось решающим соображением, когда здесь открывали резидентуру СИС. Уже в самом начале работы я понял, что хотя, ориентируясь на птичий полет, я был очень близко от Владивостока, но в действительности никакого сообщения между ним и Сеулом не существовало. Не было ни торговых, ни каких-либо других связей, которые я мог бы использовать. В этих обстоятельствах я решил направить все усилия на максимальное расширение контактов среди корейского населения, готовясь ко второму заданию – организации станции радиоперехвата на тот случай, если коммунисты Севера займут всю страну. Я надеялся, что в ходе работы мне повезет и я случайно найду пути для выполнения главной задачи. То, что я знал русский язык, в этой ситуации оказалось совершенно бесполезным, гораздо лучше, если бы на моем месте был человек, говорящий по-корейски.

С тех пор, как в конце прошлого века Корею "открыли" иностранцы, здесь появилось множество разнообразных миссионеров – от римских католиков до Армии спасения. Протестантами среди них были в основном американцы или англичане, а католиками – французы или ирландцы. С годами они обратили в свою веру довольно много корейцев, и в стране существовала не одна христианская община. К территории британского консульства примыкал большой англиканский собор, построенный в промежутке между войнами. Англиканскую общину в Корее возглавляли епископ Купер, добрый старый человек, которому было далеко за семьдесят, и его главный викарий отец Хант, довольно полный и жизнерадостный человек лет пятидесяти. Оба они блюли обет безбрачия и принадлежали к ортодоксальной – "высокой" – церкви, чье единственное отличие от римских католиков состояло в том, что последние не считали Купера настоящим священником. Между консульством и собором существовали тесные соседские отношения, и я уже скоро был на дружеской ноге с отцом Хантом, остроумным человеком и замеча-

тельным рассказчиком, у которого, впрочем, была "каша во рту", он не отказывался выпить и отлично знал Корею.

По воскресеньям у меня вошло в привычку посещать службу в подземной часовне собора, куда приходили американские англикане из посольства, здесь не курили фимиам и не становились на колени. На вечернюю службу я шел в американскую объединенную реформатскую церковь, где мог встречаться с миссионерами-сектантами. Может возникнуть вопрос: почему я, перестав быть христианином, продолжал посещать церковь? Было две причины. Во-первых, я привык к этому, а старые привычки отмирают тяжело; во-вторых, я надеялся, что это укрепит мои связи с миссионерами и я смогу познакомиться с корейцами, которые помогут мне в разведывательной работе. Так я подружился с несколькими семьями, среди которых были представитель Армии спасения Лорд и его жена, а также мистер и миссис Фергюсон из британского и зарубежного библейского общества. У нас с ними оказались общие проблемы – установить контакт с советскими войсками в Северной Корее, хотя и для разных целей. Библейское общество прислало им для распространения в советских войсках 10 тысяч экземпляров Библии. А уж как это сделать, когда между двумя Кореями не было никакой связи, осталось на усмотрение мистера Фергюсона. Наверное, люди, приславшие книги, для которых, кстати, оказалось непросто даже найти хранилище, мыслили так же, как те, кто направил меня в Южную Корею собирать данные о Дальнем Востоке.

Частью моих обязанностей как вице-консула была выдача виз в Гонконг, и это тоже позволило мне расширить круг знакомств, особенно среди корейских бизнесменов, заинтересованных в торговле с нашей колонией. Обращаясь за визой, они должны были представить и определенную личную информацию, что помогало установить с ними контакт, а если человек казался мне ценным, то это было поводом для дальнейшего общения.

Еще одной стороной моей работы было участие в светской жизни. Начал я с тех, кому меня представил по приезде мистер Холт, а потом стал заводить знакомства среди сотрудников американского посольства и больших экономических и военных миссий, которые существовали при нем. В работе, подобной моей, нельзя пренебрегать никакими связями, ведь никогда не знаешь заранее, кто тебе может пригодиться.

Случилось так, что американское посольство в Сеуле было в те годы самой большой дипломатической миссией США в мире, так что у меня не оставалось свободной минуты.

Другим зарубежным представительством в Сеуле было французское генеральное консульство, с его работниками у меня завязалась тесная дружба, укрепившаяся потом в результате совместного трехлетнего пребывания в северокорейском плену. В это время в бывшем императорском дворце регулярно заседала комиссия ООН, обсуждавшая проблему воссоединения двух Корей. Председателем комиссии был чопорный австралийский дипломат, от Турции присутствовал человек, прославившийся своими любовными похождениями. Месье Перрюш, французский генеральный консул, представлявший на заседаниях Францию, обычно так характеризовал работу комиссии: "Это цирк, а мы здесь клоуны". Северная Корея присутствовать на заседаниях отказалась.

В 1945 году после капитуляции Японии по общему соглашению в Северной Корее было установлено советское военное правление, а в Южной – американское, демаркационная линия проходила по 38-й параллели. Целью комиссии было как можно скорее создать общее корейское правительство и дать стране независимость. Советы установили в северной части систему, точную копию их собственной, американцы в своей части, естественно, сделали то же самое, поэтому неудивительно, что прогресса в формировании единого правительства достигнуто не было. Две зоны существовали совершенно изолированно друг от друга и развивались каждая по своему пути. Когда стало совершенно ясно, что соглашение не может быть достигнуто, США создали независимую Корейскую республику, вывели свои войска, оставив сильный контингент военных, политических и экономических советников, чтобы руководить первыми шагами молодого государства. Вскоре то же самое сделали русские – основали Корейскую Народно-Демократическую Республику, отозвали войска и прислали советников.

Вслед за высадившейся в Корее после капитуляции Японии американской армией вернулось множество корейцев, которые на время японской оккупации уехали на Гавайи и западное побережье США. Многие уже приняли американское гражданство, все говорили по-английски и впитали за эти годы большую дозу американской культуры.

Так как никто из офицеров, входивших в американскую

военную администрацию, не говорил по-корейски и не знал ничего об этой стране, им во многом пришлось положиться на экс-эмигрантов, из них были набраны практически все переводчики, а некоторые заняли ключевые позиции в местном правительстве. Они приобрели влияние и власть, став связующим звеном между военной администрацией и населением, которым она управляла.

Когда в 1948 году Южная Корея стала самостоятельной республикой, многие из этих людей оказались членами правительства и министрами новой администрации. Ли Сын Ман – первый президент Южной Кореи – сам был эмигрантом, жившим на Гавайях и в США.

К сожалению, долгий и тесный контакт с американским образом жизни, как я заметил, вредно влияет на людей с Востока. Такое впечатление, что они впитывают худшие его черты и, теряя природные достоинство и изящество, которые выгодно отличают их от белых людей, превращаются в нахрапистых дельцов. Бывшие корейские эмигранты, увы, не были исключением из этого странного феномена, и теперь они распределяли миллионы долларов, которые американское правительство вложило в страну в форме экономической и военной помощи. Неудивительно, что бóльшая часть этих денег утекла в их собственные карманы и к тем бизнесменам, спекулянтам и нечистым на руку политикам, которые были с ними связаны. Народ мало выиграл от помощи, и его нищета по-прежнему ужасала.

В деревне практически ничего не было сделано, чтобы уничтожить феодальную власть землевладельцев, и крестьянство находилось в плачевном состоянии. Даже такая помощь, как сухое молоко или мясные консервы, которые присылались, чтобы поддержать нищих, заканчивала свой путь на черном рынке. Никогда я еще не видел такого контраста между бедными и богатыми.

Часто в сумерках я выходил на улицу, вдыхая запахи пряностей из ресторанов, смотрел, как трудятся чеканщики, торопятся на работу гейши в парче и ярких шелках. Блестящие американские машины выстраивались у больших китайских ресторанов. Из них выходили хорошо одетые бизнесмены и политики, проводившие вечера, пируя со своими любовницами. А дальше приходилось пробираться через шумную толпу нищих, одетых в отвратительное тряпье и выставляющих напоказ гноящиеся язвы и обрубки ног и рук. Их было в

Сеуле тысячи. Бездомные дети ночевали под мостами и в подворотнях.

Частная благотворительность, как бы она ни была велика, не могла помочь при той нищете, какую я видел здесь. Даже самоотверженные усилия таких преданных идее миссионеров, как представитель Армии спасения и его жена, которые посвятили всю жизнь помощи нуждающимся в Корее, были каплей в море. Только полное изменение системы, как мне казалось, могло решить проблему.

Чем ближе я наблюдал режим Ли Сын Мана, тем большее отвращение к нему испытывал. Этот старый диктатор не терпел никакой оппозиции. Едва корейское Национальное собрание проявило малейшие признаки собственного мнения, его распустили, а результаты новых выборов тщательно подтасовали. Лидеров оппозиции запугивали или арестовывали за подозрение в коммунистических симпатиях. Всякий, кто исповедовал взгляды не левее тех, что ежедневно распространяли в Англии "Геральд" или "Дейли миррор", объявлялся опасным красным и привлекал к себе малоприятное внимание совершенно безжалостной службы внутренней безопасности.

Все это было так отвратительно, что я не мог не симпатизировать любому, кто противостоял режиму. Трудно было сдержать восхищение группами партизан, которые поднялись в горы и оттуда нападали на правительственные войска, или подпольным коммунистическим движением, существовавшим в очень опасных условиях, вдохновленным теми же честными побуждениями, что и бойцы Сопротивления в Европе во время войны. Такая параллель тем более уместна, что режим Ли Сын Мана перенял многие фашистские черты, а министр образования, например, открыто восхищался нацистами и даже повесил в своем кабинете портрет Гитлера.

А что до методов полиции – они были очень похожи на гестаповские.

Полицейские посты в Сеуле чаще всего представляли собой деревянные павильоны с одной открытой стеной, так что заглянуть внутрь было нетрудно. Часто я видел, как там избивали или дубасили прикладами людей. Одним из моих агентов был молодой капитан полиции. Этот наглый и довольно хвастливый молодой человек отлично говорил по-английски, потому что вырос на Гавайях. Он был полезным источником информации, и, чтобы его поощрить, я изредка

обедал с ним. Его излюбленной темой были рассказы о том, как он допрашивал подозреваемых коммунистов. Чтобы заставить человека сознаться, он подвешивал его за ноги и лил в рот обжигающий кофе или держал в ванной под водой, пока жертва не начинала захлебываться. Когда арестованный приходил в себя, он начинал пытку снова, пока не добивался признания. Такие вещи, как прижигание сигаретой или прикладывание обнаженного электрического провода к чувствительным частям тела, были, по его мнению, сравнительно легкими способами воздействия, а битье – обыденным делом. Я находил эти разговоры омерзительными, но еще гнуснее было то, что мне приходилось их спокойно выслушивать, скрывая свои истинные чувства. Ведь считалось, что я на его стороне и приглашаю обедать из искреннего расположения.

Но, как я уже говорил, в разведке не приходится быть щепетильным в выборе людей, с которыми работаешь.

Человеком, чье общество мне очень нравилось и кого я вспоминаю с благодарностью, был британский посланник в Сеуле Вивиан Холт, он дал мне много советов, пригодившихся в последующей жизни.

Это был человек большого обаяния, но, как отмечали все, с кем он общался, достаточно чудаковатый. Высокий и болезненно худой, он прожил много лет на Ближнем Востоке, особенно любил свежий воздух, что и придало его морщинистой коже коричневый оттенок. Это и почти лысый череп в сочетании с острыми птичьими чертами лица придавали ему разительное сходство с Махатмой Ганди, особенно когда Холт надевал очки, без которых не мог читать. Как и Ганди, он был аскетом и из всей еды предпочитал вареные овощи, фрукты и творог. В результате он ненавидел коктейли и обеды, а узнав о приезде очередного сотрудника американского посольства, ворчал, устало вздыхая: "Опять я должен их кормить".

Сначала мои отношения с мистером Холтом были довольно натянутыми. Как многие дипломаты, он испытывал предубеждение к разведке и разведчикам, укрепившись в этом чувстве за долгие годы службы на Ближнем Востоке в качестве эксперта по арабским проблемам. Но, будучи холостяком и живя один в большом доме, он часто испытывал чувство одиночества. Он любил работать по утрам, а в середине дня, если была хорошая погода, предпочитал проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Вскоре он стал пригла-

шать меня на свои прогулки. Мы шли по узким улочкам старого Сеула к фруктовым садам, которые начинались на окраине города, и взбирались по покатым склонам гор. Мне нравились эти прогулки и наши разговоры. Мистер Холт был хорошим рассказчиком и описывал множество интересных случаев из своей дипломатической практики, в которых участвовали такие известные фигуры на Ближнем Востоке между двумя войнами, как сэр Персел Кокс, Гертруда Белл, Фрейя Старк, лорд Килерн и эмир Ирака Фейсал I.

Однажды Холт тяжело заболел свинкой, ходил с белой повязкой на голове и был еще больше, чем всегда, похож на Ганди. Будучи очень внимательным к своим более молодым сотрудникам, он заявил, что никто не должен приближаться к нему и входить в дом, когда он болен, чтобы не заразиться. Но работа миссии должна была продолжаться, ему все равно приходилось просматривать и подписывать документы. С этой целью Холт изобрел сложную процедуру, которой все должны были строго придерживаться. Когда нам надо было передать ему документ, мы звонили по телефону, и если он был в состоянии встать, то выходил на лужайку, разделявшую наши дома. Один из нас появлялся на другом конце лужайки и по сигналу шел к центру, оставлял бумагу на траве и быстро шагал назад на исходную точку. Когда он оказывался на прежнем месте и ни минутой раньше, Холт, в свою очередь, направлялся к документу, брал его, возвращался к себе, садился на землю и читал бумагу. Когда дело было закончено, процедура повторялась. Все это время любопытные смеющиеся слуги и чиновники, спрятавшиеся за занавесками, наблюдали из окон за эксцентричной сценой.

Как я уже говорил, Вивиан Холт был холостяком и очень много занимался домом. Он мало надеялся на чистоплотность корейских слуг и постоянно следил за ними. Если ему казалось, что они плохо убрали комнату, посланник делал это сам, чтобы показать пример. Окна он всегда мыл сам. Мы никогда не знали, что делает Холт – стоит ли на лестнице с тряпкой или носится с паяльником вокруг обогревателя, который вечно барахлил, поэтому, прежде чем посылать к нему визитеров, приходилось проверять, в состоянии ли он принять их. И посетители привыкли сначала заходить в канцелярию, находившуюся в ближайшем от ворот доме.

В начале июня миссия устраивала традиционный прием в честь национального праздника – дня рождения короля.

Для многих чиновников из американского посольства, а особенно для их жен это считалось важным общественным событием, сродни приглашению на вечер в парке Букингемского дворца. Естественно, приему предшествовали долгие приготовления и обсуждения – что надеть, как себя вести, этого дня ждали с нетерпением и определенным волнением. К сожалению, было одно затруднение. В июне в Корее начинается сезон дождей, и никогда не можешь быть уверен, окажется ли погода прекрасной или зарядит дождь. Самый простой выход состоял в том, чтобы готовить праздник и в саду, и в доме, если помешает погода. Но мистер Холт был непреклонен – он требовал устраивать вечеринку на свежем воздухе, независимо от погоды, потому что не хотел, чтобы пьяные американские полковники заблевали всю его гостиную, как это случалось в прошлые разы.

Когда наступил назначенный день, погода с утра обещала быть хорошей. Столы с едой и выпивкой выставили на лужайке. В четыре часа небо заволокло тучами, а к пяти пошел сильный дождь. Меня поставили у ворот, чтобы я встречал гостей и провожал их не к дому, а к калитке на лужайку. Там в армейских сапогах и под зонтом, обворожительно улыбаясь, ждал мистер Холт. Уже хорошо зная его к тому времени, я был уверен, что он посмеивается над гостями. Мне же было крайне неловко направлять разодетых дам, которые только что торопились из машин укрыться на веранде, обратно под проливной дождь. Многие гости сразу уехали, раздраженные, другие, видимо, обладавшие бо́льшим чувством юмора, остались какое-то время, чтобы понаблюдать эту сценку.

Мистер Холт настоял на своем, и вечеринка стала притчей во языцех в городе. Она могла послужить поводом к серьезному охлаждению англо-американских отношений, по крайней мере на местном уровне, но разразились трагические события, которые полностью затмили плохое воспоминание об этом забавном эпизоде. Над нашими головами разразился шторм, кардинально изменивший многие жизни, включая мою собственную. Рано утром в воскресенье, 25 июня, началась война, которая наступила как смерть, которую давно ждешь, но она всегда застает врасплох.

Глава шестая

В воскресенье, 25 июня, был день Иоанна Крестителя и именины моего друга Жана Мидмора – французского вице-консула, с которым мы делили кров. Накануне он пригласил в гости около тридцати человек: коллег из американского посольства, комиссии ООН с женами и подружками и несколько корейских приятелей. Вечеринка с самого начала задалась, и гости не расходились до рассвета. Я все же урвал несколько часов сна, но в полдесятого уже шел в церковь. На улицах я не заметил ничего необычного, хотя, должен отметить, после минувшей ночи несколько утратил четкость восприятия. Служба только началась, когда вошел американский офицер и, приблизившись к прихожанам из посольства и военной миссии, сказал им что-то на ухо. Один за другим они вышли, оставив в церкви жен. Было ясно, что случилось нечто из ряда вон выходящее, но что именно, мы с мистером Холтом не знали и прослушали службу до конца. Около церкви что-то взволнованно обсуждали стоявшие группками люди. Жена американского полковника, которую мы оба знали, сказала, что ее мужа вызвали, потому что рано утром северокорейские войска перешли 38-ю параллель и по всей границе идет бой.

Всю неделю перед началом войны до нас постоянно доходили слухи о том, что по обе стороны границы замечено передвижение войск. Как мне велел мистер Холт, я позвонил в американскую военную миссию и спросил, насколько эти слухи обоснованны. Мне ответили, что, действительно, по обе стороны демаркационной линии наблюдается большое скопление войск и количество перестрелок заметно возросло.

Но все это случалось не однажды и раньше, поэтому трудно сказать что-то определенное. На вопрос о том, что будут делать США, если северяне нападут, мне довольно категорично ответили, что дело Соединенных Штатов – защищать Японское море, разделяющее Японию и Корею, и что американские вооруженные силы не будут вмешиваться в конфликт.

Первый день войны был наполнен противоречивыми слухами. Никто не знал точно, что происходит. По одной версии, северокорейские войска продвинулись глубоко на юг и приближались к Сеулу. Другая заключалась в том, что южане заняли северный город Хэджу.

Я сам не был на границе, поэтому не могу сказать, кто начал войну. Большинство свидетелей указывают на северян. Трудно опровергнуть мнение очевидцев, даже если южане спровоцировали атаку. До сих пор не могу понять, как старая лиса Ли Сын Ман заставил американцев вступить в войну на его стороне. Зная, что Южная Корея слабее в военном отношении, он явно рассчитывал, что США не оставят его в беде и пошлют войска, как только начнутся трудности. Так в конечном счете и случилось. Как бы то ни было, в одном я внутренне совершенно уверен: местные американцы к плану Ли Сын Мана причастны не были и оказались застигнутыми врасплох.

После церкви мы с Вивианом Холтом пришли в его кабинет, где к нам присоединился мистер Фейтфул, первый секретарь консульства. Я предложил связаться со своими знакомыми из американского посольства, чтобы узнать, что в действительности происходит, но мистер Холт этого не хотел. Не хотел он звонить и американскому послу. Он думал, что сейчас неподходящий момент их беспокоить, так как американцы, без сомнения, очень заняты. Чуть позже, днем, советник американского посольства сам позвонил мистеру Холту. Он сообщил, что ситуация тревожная – северяне быстро приближаются к Сеулу. Посол приказал своим подчиненным срочно эвакуироваться в Японию и посоветовал мистеру Холту поступить так же с маленькой английской колонией, предлагая воспользоваться их транспортом. Что же собирается предпринять американское правительство в связи с корейским конфликтом, он не знал.

Я тут же выехал на "джипе", чтобы оповестить семьи англичан, которые жили в Сеуле. Это была горстка миссионеров и два-три представителя гонконгских фирм. Я сказал, что

они должны прибыть с самыми необходимыми вещами на территорию миссии в восемь часов вечера, а если хотят остаться, то лишь на собственный страх и риск. Все решили уехать, за исключением трех миссионеров, которые не хотели бросать свою паству. Это были епископ Купер из англиканской общины, его главный викарий отец Хант и представитель Армии спасения Лорд, который отослал домой жену, впрочем, против ее воли.

В этот вечер на территории миссии собралась маленькая группка подавленных и растерянных беженцев, с собой у них были те немногие вещи, которые они успели собрать. Оттуда американский военный автобус отвез их на ближайший аэродром Кимпхо. Мистер Фейтфул поехал с ними, чтобы присмотреть за отправкой в Англию.

В течение дня Вивиан Холт послал срочную телеграмму в Лондон, чтобы узнать, что ему делать, если Сеул оккупируют коммунистические силы. Хотя война ожидалась давно, ему не давали предварительных инструкций, что предпринять в этом случае. В миссии даже не было собственного телеграфного аппарата, и наша связь полностью зависела от Телефонной и телеграфной компании. Ответ самое раннее ожидался в среду.

На следующий день, в понедельник, новости были плохими. Южнокорейские войска отступали, и, как сообщили наши американские коллеги, авангард армии северян мог достичь Сеула к вечеру следующего дня. Генерал Макартур уже послал эскадрильи истребителей бомбить коммунистов, но официальная позиция правительства США еще не была известна. Южнокорейское правительство в спешке покинуло город, отбыв в неизвестном направлении, а сотрудники американского посольства и персонал служб получили приказ немедленно отправиться в Токио. Если мы хотели уехать, то осталось всего несколько часов на размышления.

Посланник Холт позвал нас к себе на "военный совет". Он объяснил ситуацию и добавил, что к тому времени, как придет ответ из Лондона, может быть слишком поздно. Мы должны были сами решить, что делать. Что касается его самого, то он остается. Строго говоря, он должен был следовать за южнокорейским правительством, при котором был аккредитован. Но оно сбежало, не поставив его в известность, что уезжает, а тем более – куда. Отправляться в путь, когда кругом шел бой, не зная, куда ехать, он считал довольно глупым.

Лучше, если северокорейские войска застанут нас на территории миссии и будет хотя бы ясно, кто мы такие, чем если мы встретим их на какой-нибудь горной дороге. Что касается предложения американцев эвакуироваться в Токио, то у нас не было приказа закрыть представительство. Великобритания не участвовала в войне, поэтому вроде бы не было причин уезжать. Он спросил, что собираюсь делать я. Я ответил, что мои инструкции однозначны – управление СИС предписывало продолжать действовать до тех пор, пока функционирует миссия или хотя бы консульство, ведь меня прислали специально для этого. В любом случае я хотел бы остаться. Норман Оуэн сразу согласился со мной. Это и решило вопрос.

Позже в тот день мы узнали, что наши коллеги из французского консульства сделали такой же выбор.

Когда мы сообщили американцам, что не воспользуемся их предложением, они любезно разрешили нам отправиться на их склады и взять столько еды и бензина, сколько мы можем увезти. Припасы могли нам понадобиться. Они бросали на произвол судьбы все, так что нам не надо было ничего платить. Мы с благодарностью воспользовались их любезностью и на следующий день запасались всем необходимым, готовясь к длительной осаде.

Ближе к вечеру, когда мы в последний раз ехали со склада на "джипе", набитом консервами, коробками с чаем и канистрами бензина, на город опустилась зловещая тишина, нарушаемая лишь отдаленным глухим грохотом орудий. Улицы почти опустели, лишь изредка встречался случайный грузовик с солдатами. Американцы уехали. Сотни бланков с государственным гербом, которые избежали торопливого сжигания, с шелестом кружились на сухом теплом ветру, покрывая тротуар, как облетевшие листья. Больше ничего не осталось от царивших в городе еще два дня назад символов американского могущества. Телефонная и телеграфная компания тоже уехала, и даже если из Лондона нам были посланы инструкции, они уже не могли дойти до адресата.

Вечером к нам присоединились трое решивших остаться в Сеуле миссионеров. Мистер Холт предложил им для большей безопасности временно переселиться в его дом. Норман Оуэн и я переехали туда же. Орудийные выстрелы звучали ближе, и теперь то здесь, то там слышались автоматные очереди. Около полуночи раздались два сильных взрыва, и вспыхнул огонь в стороне реки – были взорвны железная доро-

га и мосты. Даже если бы мы и захотели уехать, теперь пути к отступлению были отрезаны.

В эту ночь мы не ложились спать, стоял несмолкаемый гул сражения. В одном месте группа отступающих солдат-южан закрепилась на небольшом плацдарме, но вскоре они ушли, так и не сделав ни одного выстрела. Ближе к утру бой стих, и город замер. Слуги, которые сновали туда и сюда, сказали нам, что Сеул теперь в руках северокорейских войск. Многие из них разместились на телерадиостанции, окна которой выходили на территорию миссии. Мы решили, что самое правильное сейчас – не высовываться на улицу и положиться в плане информации на слуг. Прямо за воротами, на узенькой дорожке, которая вела к нам, лежал труп корейского солдата. Днем от жары он начал разлагаться, и стояла невыносимая вонь. У нас не было другого выхода, кроме как похоронить его в углу сада. Это была неприятная и тяжелая задача.

В тот же вечер мы ужинали все вместе в большой столовой мистера Холта, а потом слушали новости Би-би-си. Услышанное было так неожиданно, что вызвало настоящий шок. Мистер Эттли предпринял в парламенте настоящую атаку, заклеймив Северную Корею как агрессора, и объявил, что Великобритания посылает солдат на помощь США, которые вводят войска под флагом ООН, чтобы поддержать правительство Южной Кореи. Мы оказались в ловушке, так как были уже не нейтралами, а представителями воюющей армии на территории врага. Я не винил СИС в таком развитии событий. Уверен, что английское правительство не собиралось вступать в войну, но его вовлекли Соединенные Штаты. Не думаю, что и американцы планировали свое участие, скорее всего, их втянул в авантюру генерал Макартур.

Ночь мы провели, сжигая в укромном уголке сада шифровки и секретные документы в надежде, что костер не привлечет внимание солдат. Все прошло нормально. Утром мы снова занялись делом – выливали запасы спиртного в ванну, ведь нельзя было исключить возможность того, что ночью возбужденная толпа ворвется на территорию миссии и если они найдут выпивку, то неизвестно, чем кончится дело. Понемногу мы смирились с новой жизнью, и оставалось только ждать, как будут развиваться события. Погода стояла отличная, и мы провели остаток дня, сидя на лужайке, читая и беседуя за чаем.

Вокруг раскинулся спокойный, тихий город. Высоко на флагштоке от легкого ветерка развевался флаг Соединенного Королевства. Все выглядело на редкость мирно. Никто, увидев нас, не поверил бы, что мы находимся в самом центре опасного военного конфликта.

На следующее утро у наших ворот появился северокорейский офицер с двумя солдатами. Через слугу, вышедшего на звонок, он вежливо передал просьбу спустить флаг, который может привлечь внимание самолета. Мистер Холт немедленно отдал приказ сделать это. Военные ушли. Это был наш первый контакт с врагом, и он казался обнадеживающим. Наступило воскресенье, война шла целую неделю. Утром епископ отслужил в столовой коротенькую службу, и остаток дня мы лениво слонялись по саду. Сразу после чаепития у ворот остановились три "джипа" с солдатами, они потребовали впустить их, подъехали к дому, где нас собрали и приказали сесть в "джип", мы даже не успели взять с собой самое необходимое. Нас отвезли в штаб сеульской полиции, который пользовался дурной репутацией. В штабе нас допросил говоривший по-английски офицер северокорейских войск, он хотел знать, кто мы. У нас не было с собой никаких документов, поэтому мистеру Холту и мне разрешили под конвоем вернуться в миссию и привезти все паспорта. Когда я сидел за узким столом напротив офицера, который меня допрашивал, внизу раздался выстрел из ружья. Пуля, пройдя через пол и стол, разнесла вдребезги чернильницу, окатив нас чернилами, и ушла в потолок, просвистев между нами. Это вызвало определенное замешательство, прервавшееся, когда привели еще двух иностранцев. Одним из них оказался штатский инженер-американец, который был мертвецки пьян в тот уик-энд, когда началась война. Когда он протрезвел, его соотечественники уже уехали, а северяне взяли город. Вторым оказался пожилой русский из белоэмигрантов, водолаз по профессии, которому я несколько недель назад отказал во въездной визе в Гонконг.

Вечером всем нам дали немного шариков из риса, а к полуночи затолкали в кузов грузовика, туда впрыгнули и вооруженные солдаты. Грузовик остановился в небольшой долине в горах. У всех появилась одна и та же мысль: нас привезли, чтобы казнить. После всего, что мы слышали о коммунистах, такое объяснение казалось самым подходящим в данной ситуации. Даже запасная канистра бензина подтвер-

ждала дурные предчувствия – горючее было нужно, чтобы потом сжечь трупы.

Тем не менее после томительного ожидания подъехал "джип" с двумя офицерами, и путешествие продолжилось. Всю ночь и следующий день грузовик двигался прямо на север, мы даже ни разу не останавливались поесть. Это было кошмарное путешествие через сожженные дотла деревни, мы едва успевали лавировать между воронками, и всю дорогу нас преследовал запах разлагающихся трупов. К вечеру, измученные и растрясенные, мы наконец прибыли в столицу Северной Кореи Пхеньян, где нас поместили в бывшем школьном здании за городом.

Дней через семь после прибытия привезли коллег из французского консульства. Здесь были генеральный консул месье Перрюш, мой друг Жан Мидмор, второй вице-консул месье Мартель вместе со старой матерью и сестрой и месье Шантелу – корреспондент, которого война тоже застала в Сеуле. В течение нескольких следующих недель к нам добавилось много других иностранцев. Со временем группа выросла до семидесяти человек. Сюда входили миссионеры-католики французы и ирландцы, несколько монахинь-кармелиток, монахиня-англиканка сестра Мари Клэр, миссионерки-пресвитерианки из Америки, три семьи русских белоэмигрантов, одна татарская семья и швейцарец, управляющий отелем "Чоузен"– единственной в Сеуле гостиницей в европейском стиле. Последним к нам присоединился Филип Дин, военный корреспондент "Обсервер" с подвязанной рукой и тяжело опирающийся на палку. Он был ранен на фронте, не успел перейти за американскую линию и был захвачен в плен.

Насколько я знаю, о нашей маленькой группе гражданских интернированных лиц, проведших три года в корейском плену, написаны по меньшей мере две книги, причем одна из них – моим другом Филипом Дином. Поэтому я не стану повторяться и подробно описывать жизнь в лагере, за исключением деталей, оказавших прямое влияние на мою дальнейшую судьбу.

Два месяца мы провели в школе в Пхеньяне. Еда была довольно приличная, но однообразная – три раза в день миска риса и маленькая чашка капусты. Больше всего мы страдали от комаров и вшей и даже стали специалистами по вылавливанию друг у друга этих насекомых. Нас охраняли корейские солдаты, которые с нами практически не общались.

В конце августа нас перевезли, присоединив к группе из семи сотен американцев, взятых в плен в первые недели войны. Нас доставили на поезде в Манпхо – маленький городок далеко на севере, на реке Ялуцзян, которая течет вдоль границы Кореи с Маньчжурией. Там нас разместили в заброшенных военных казармах, но условия жизни были еще сносными. Осень в Корее, как я уже говорил, самое красивое время года, и погода стояла отличная. Нас регулярно водили купаться, а иногда отпускали на прогулки. Изредка тюремщики даже предоставляли нам выбор: килограмм яблок или немного табака. Яблоки в Корее очень вкусные, и я предпочитал их куреву. С тех пор я больше не курю.

Такое не самое скверное существование было трагически прервано, когда войска генерала Макартура пересекли 38-ю параллель и, тесня северян, стали быстро продвигаться к реке Ялуцзян, надеясь объединить всю страну под управлением американцев. Эта попытка могла удаться и почти удалась, если бы не интервенция так называемых китайских добровольцев, которые своей массой отбросили американские войска за демаркационную линию. Вся страна превратилась в огромное поле боя, и разрушения превосходили те, что я видел в Германии.

В период хаоса и тяжелых боев перед самой интервенцией китайских добровольцев по многим признакам стало ясно, что северокорейский режим на грани гибели, а армия распадается. Нас переводили из одного заброшенного дома в окрестностях Манпхо в другой и отделили от американских пленных. Тогда и родился план с помощью двух корейских охранников попытаться достичь американских позиций и организовать группу освобождения интернированных гражданских лиц. Не помню, кто первым выдвинул идею – месье Мартель, месье Шантелу, которые свободно говорили по-японски и вели переговоры с охраной, или сами охранники, которые хотели, чтобы мы ходатайствовали за них перед американскими военными властями, и готовы были за это показать нам дорогу.

Чтобы воплотить план в жизнь, мы организовали маленькую группу, состоявшую из трех французских дипломатов и месье Шантелу, с одной стороны, и Вивиана Холта, Филипа Дина и меня – с другой. Утром в сопровождении двух корейцев мы отправились по узким горным тропам на юг от реки Ялуцзян. Мы шли весь день, обходя дома и деревни, а ночь

провели в маленькой долине. Наутро путешествие продолжалось. Примерно около полудня нам встретились три корейских солдата, они остановились и заговорили с нашими охранниками. Впятером они уселись поодаль, чтобы мы не слышали, о чем идет речь. Беседа продолжалась довольно долго, и у всех нас появилось ощущение: что-то случилось. Наконец солдаты встали и отправились своей дорогой, а наши проводники продолжали совещаться. Когда они вернулись, мы сразу заметили перемену в их поведении. Они сказали, что за последние сутки ситуация кардинально переменилась, на помощь северокорейской армии пришли китайские добровольцы, которые сейчас вступили в бой с американцами. Теперь попасть к американцам очень трудно, практически невозможно, и не остается ничего другого, как вернуться в лагерь. С тяжелым сердцем мы пустились в обратный путь. Свобода, казавшаяся такой близкой, опять стала призрачно далекой. Друзья встретили нас со смешанным чувством радости, что мы вернулись, и разочарования, что план не удался. В тот же день нас снова перевели в Манпхо и разместили в поле между рекой и дорогой. Там командование лагерем принял высокий худой корейский майор, угрюмый и неуклюжий.

Я был ужасно разочарован, что попытка освобождения не удалась, и не был уверен, что охранники сказали нам правду. Может быть, они просто струсили? Я думал, что американцы не так уж далеко и если продолжать идти в южном направлении через горы, идти ночью, отлеживаясь днем, избегая деревень и дорог, можно дойти до американских позиций, даже если путь займет целую неделю. Стоял сентябрь, и в дороге можно было питаться ягодами и маисом.

Я обсудил план с Мидмором и Дином и предложил им предпринять новую попытку освобождения. Они согласились, и мы решили пуститься в путь той же ночью, когда все заснут. Днем Мидмор сказал, что все обдумал и решил не идти с нами. Он считал план слишком опасным и сомневался, что мы пройдем через линию фронта, а если нас поймают, то расстреляют на месте как шпионов. Дин и я решили идти вдвоем.

Было часов одиннадцать, когда я подполз к яме в земле, где Дин устроился на ночлег. Охранники сидели поодаль вокруг костра. Я прошептал, что готов. Идем ли мы? Дин ответил, что по серьезном размышлении понял – затея слишком опасна, и он остается. Я сказал, что в любом случае попро-

бую, и он пожелал мне удачи. Я пополз в сторону дороги, а когда счел, что нахожусь достаточно далеко и меня не видно, встал и пошел. Вскоре я добрался до дороги, быстро перебежал ее и полез в гору. Часа через два, если не больше, я достиг вершины, и дорога пошла вниз, в долину. Не знаю, сколько времени я спускался, наверное, около часа, когда вдруг из-за кустов вышел корейский солдат и преградил мне путь винтовкой. В смутной надежде, что меня пропустят, я сказал, что я – русский. Скорее всего, он мне не поверил или решил, что мою личность должен установить начальник, и поэтому приказал следовать за ним.

Вскоре мы пришли к пещере, внутри которой горел костер. Вокруг него сидели человек десять солдат. Один из их оказался капитаном. Он предложил мне сесть рядом и стал по-корейски спрашивать, кто я такой. Сначала я попытался уверить его, что я – заблудившийся русский, он попросил документы, а я, убедившись, что такая тактика никуда не годится, признался, что являюсь английским вице-консулом, бежавшим из лагеря для интернированных в Манпхо. Оказалось, что капитан знает о существовании лагеря. Разговор шел в основном на корейском языке (я знал всего несколько фраз по-корейски) с редкими вкраплениями русских слов. Солдаты, которые тоже вступили в беседу, смотрели на меня с огромным любопытством, будто никогда не видели белого человека. Удовлетворившись ответами, они велели мне сесть на некотором расстоянии от огня спиной к стене пещеры. Так я и провел ночь, иногда дремал, чувствуя себя усталым и подавленным из-за того, что меня поймали так быстро, будущее казалось неопределенным.

Утром меня вывели наружу и разрешили сесть на холмик неподалеку от входа в пещеру. Теперь я увидел, что нахожусь в маленькой, необыкновенно красивой долине. От теплых солнечных лучей я слегка приободрился. Между тем солдаты занялись своими делами, умывались в текущем поблизости ручье и готовили завтрак. Я по-прежнему оставался объектом огромного любопытства, и время от времени они собирались вокруг меня и делали какие-то замечания – я их не понимал, но слова были явно оскорбительными, потому что вызывали у всех взрывы хохота. После того как завтрак, которого мне в любом случае не хватило бы, был съеден, капитан собрал солдат и долго беседовал с ними, закончив чем-то вроде долгого перечня инструкций, а потом, захватив с собой солдата-конвоира, дал мне понять, что я должен следо-

вать за ними. Мы отправились по узкой тропе и часа через два пришли в Манпхо, где меня сразу отвели в лагерь и передали с рук на руки угрюмому майору.

Товарищи по несчастью окружили меня, горя желанием узнать, что со мной случилось. Майор приказал всем – мужчинам, женщинам и детям – встать в круг, а мне выйти в середину. Представитель Армии спасения Лорд, свободно говоривший по-корейски, был приглашен переводчиком. Минут двадцать майор разглагольствовал, указывая на меня и время от времени ужасно озлобляясь. Не помню точно, что он сказал, но все сводилось к тому, что я очень плохой человек, нарушивший правила лагеря и законы Северной Кореи, и, вместо того чтобы, как мне положено по рангу, служить примером для товарищей, я оказываю на всех дурное влияние. Он закончил предупреждением, что, если я снова попытаюсь бежать, буду расстрелян на месте; то же случится с любым, кто захочет повторить мою попытку. Потом всех отпустили, а мне разрешили присоединиться к товарищам и никак больше не наказали. Я не раз потом удивлялся, почему отделался так легко, ведь через несколько дней во время перехода, известного под названием "марш смерти", майор безжалостно расстреливал каждого отставшего американского солдата, который был слишком слаб, чтобы догнать колонну. Думаю, он не мог без согласия Пхеньяна взять на себя ответственность за казнь английского дипломата, который был заложником правительства, а в тех условиях получить это согласие было невозможно.

Я подробно рассказываю об этом эпизоде, так как в дальнейшем он послужил поводом для предположения, будто меня поймали в горах, запугали немедленным расстрелом и, чтобы сохранить жизнь, я признался, что работаю в разведке, и предложил услуги Советам, а потом меня шантажировали. Но есть множество фактов, которые разбивают эту версию в пух и прах.

Во-первых, предполагается какое-либо минимальное общение между мной и корейским капитаном, чтобы я мог ему что-либо объяснить. Такого общения практически не было, ведь я не знал языка. Во-вторых, меня вряд ли бы завербовали без офицера советской разведки. Где его было найти в такой короткий срок? Пещера находилась по меньшей мере в двух часах ходьбы от Манпхо, и туда можно было попасть, лишь пройдя пешком по узкой горной тропе. Допрос, при-

знание и вербовка должны были занять несколько часов, но на все это просто не было времени, ведь я отсутствовал в лагере не больше полусуток, пять часов из них заняла дорога туда и обратно. В-третьих, примерно через два дня после моего возвращения в лагерь мы отправились в "марш смерти" на север по реке Ялуцзян, а за этим последовали три месяца жизни в исключительно трудных условиях в вымершей горной деревне. В это время я мог умереть от истощения или болезней, как это случилось почти с половиной американских пленных и с некоторыми моими товарищами. Если бы Советам удалось завербовать меня, потенциально столь ценного агента, неужели бы они обрекли меня на такие трудности и подвергли риску умереть у них на руках? Неужели они не предприняли бы шагов, чтобы обеспечить условия выживания мне и моим друзьям-дипломатам?

В-четвертых, если бы меня действительно завербовали таким образом и я бы работал под принуждением и против своей воли, неужели бы я так ревностно поставлял Советам информацию? Я мог бы ограничиться передачей гораздо менее ценных сведений, и мною все равно были бы довольны. Уверен, что, работая под принуждением, я не погнушался бы получать за это деньги. Если бы у меня не было иного выбора, то из ситуации стоило бы извлечь хотя бы выгоду. В-пятых, если бы дело обстояло именно таким образом, неужели бы я не использовал эту ситуацию как смягчающее обстоятельство, когда в апреле 1961 года меня допрашивали коллеги из МИ-6*? Вместо этого я, поняв, что уличен в шпионаже, сознался и назвал истинные причины, чтобы все знали, почему я поступил так, а не иначе, что таковы были мои убеждения, а не давление обстоятельств, как предполагали англичане. И наконец, едва ли Советское правительство, зная, что я сотрудничаю с ним против своего желания, удостоило бы меня высших почестей: ордена Ленина, ордена Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, медали "За личное мужество" и других наград. С трудом могу себе это представить.

На следующий день после моего побега и возвращения в лагерь нашу группу из 70 интернированных снова объединили с 750 или около того пленными американскими солдатами, и начался самый трудный и драматичный период нашего

---

* Служба безопасности.

плена. За несколько длинных переходов нас отогнали севернее по реке Ялуцзян. Целые дни мы шли по дикой горной местности, останавливаясь на ночь в безлюдных деревнях, где вместо домов иногда находили лишь выжженные дотла развалины. Единственной нашей едой была мисочка недоваренного маиса. Иногда на колонну нападали американские самолеты, которые, неожиданно появляясь из-за гор, обрушивали на нас пулеметные очереди. Приходилось разбегаться врассыпную, нырять в кюветы. Отставших убивали корейцы, поэтому мы всячески старались помогать друг другу; кроме того, потерявшийся в любом случае был обречен на медленную, но верную смерть от голода и холода. Зима, довольно суровая в этих краях, наступила неожиданно, сменив без всякого перехода теплую осень. У большинства были лишь летняя одежда, в которой нас арестовали, и казенные тонкие одеяла.

Так мы шли в течение почти трех недель, пока не добрались до места назначения – маленькой безлюдной деревни. Наступил период страданий и тягот. Пища была скудной – не было подвоза, потому что дороги разбомбили американцы. Топлива не хватало. Мистер Холт и Норман Оуэн серьезно заболели, и мы ухаживали за ними, как могли. Поправлялись они медленно, потому что единственным лекарством оказался пенициллин, которого у корейцев был, кажется, неисчерпаемый запас. Изредка появлялись две местные медсестры, очень молоденькие, почти школьницы. Отец Хант и сестра Мари Клэр, измотанные долгой дорогой, умерли вскоре после того, как мы поселились в деревне, название которой я так и не смог запомнить. Хоронить умерших было очень трудно, так как земля совсем замерзла, а у нас не было лопат. Единственное, что мы могли сделать, – закопать тела в снег и завалить камнями.

Как и многие другие, я страшно мучился от дизентерии, которую удалось вылечить инъекциями пенициллина под глупое хихиканье корейских медсестер. Однажды мне надо было принести воды из колодца, эту повинность мы все исполняли по очереди. В нормальных условиях сходить по воду не такое уж трудное дело – надо было наполнить большую бочку, принося из колодца по два ведра на коромысле. На морозе процедура превращалась в тяжкое испытание. Веревка, которой было привязано колодезное ведро, превратилась в ледяной прут, стены колодца тоже обледенели. По дороге нас конвои-

ровал вооруженный солдат. Я уже принес много ведер, и бочка была почти полна. У меня так замерзли руки, что я их не чувствовал и не мог даже вытянуть ведро. Тогда я сказал солдату, что, наверное, воды достаточно, но он велел носить еще, а я отказался – не могу и не буду. Он страшно разозлился и стал бить меня прикладом в грудь – это было очень больно, а потом отвел во двор хижины, в которой мы жили, и поставил на колени в снег с руками назад и заставил низко опустить голову. Солдат созвал всех посмотреть, что будет с тем, кто не подчинится приказу. Не знаю, сколько я так стоял, но точно не меньше часа, и только потом мне разрешили встать. Я совершенно окоченел и очень долго не мог согреться.

Впоследствии меня часто спрашивали, как я, видевший и испытавший на себе обращение северокорейцев, мог перейти на сторону коммунистов. Мой ответ таков. Во-первых, война всегда порождает грубость и жестокость с обеих сторон. Во-вторых, скверное обращение с нами, пленными, продолжалось всего три месяца, когда бои шли не на жизнь, а на смерть и страна стояла на грани гибели. Как только линия фронта стабилизировалась, а военные действия стали позиционными, условия значительно улучшились, и жизни ничто не угрожало. Наконец, хочу отметить, что стал коммунистом не потому, что со мной хорошо или плохо обращались. Я стал коммунистом из-за идеалов коммунизма. О правдивости или лжи доктрин католичества ничего не говорит тот факт, что Жанну д'Арк или Джордано Бруно сожгли на костре, так же и на коммунистические идеи не влияет то, что с Джорджем Блейком иногда плохо обращались северокорейские солдаты.

В это время я наблюдал интересный феномен, который дал пищу для глубоких размышлений. Больше половины американских солдат умерло в течение первых четырех месяцев после того, как мы поселились на новом месте. Напротив, из интернированных погибли лишь десятеро, и это несмотря на то, что многим было за семьдесят, а некоторым и больше восьмидесяти. Все мы жили в одинаковых условиях, почему же смертность среди военных оказалась намного выше? Я отношу это на счет огромной разницы с предыдущим уровнем жизни. Эти молодые американские парни служили в армии на территории оккупированной Японии, они привыкли к сытной, хорошо приготовленной пище, кока-коле. Их изнежили

армейские клубы и военные магазины. У многих были свои машины и любовницы-японки. И вот в одну "прекрасную" ночь из этого рая им пришлось перенестись в дикие корейские горы, где они должны были сражаться против превосходящих сил противника, страдая от горького опыта поражения и плена. Их организм и мозг не могли справиться с отсутствием гигиены, скверной едой, холодом, трудностями, разлукой с женщинами. Они были настолько сломлены, что не могли больше сопротивляться и проиграли борьбу за выживание, поэтому и стали легкой добычей истощения и инфекций. Группа гражданских была более выносливой. Миссионеры, прожившие большую часть сознательной жизни в Корее часто в маленьких городах и деревнях, лишенных комфорта западных цивилизаций, привыкли к климату, грубой пище и простой жизни. Они сознательно выбрали свой путь – остаться с паствой, душой и телом подготовясь к условиям заключения. И епископ Купер, и представитель Армии спасения Лорд, и большинство ирландских и французских священников, и кармелитки, не говоря о семьях белоэмигрантов и татар, выжили, когда американские солдаты умирали сотнями.

Я вынес такой урок: человек не должен гнаться за легкой жизнью, хотя это для него и естественно, а если уж у тебя все хорошо, то невредно налагать на себя некоторые ограничения. Небольшие трудности, право, вещь неплохая и позволяют легче пережить тяжелые времена, а, как говорит старая русская пословица, "от тюрьмы и от сумы не зарекайся". Каждый должен об этом помнить. Знаю, что немногие разделят мою точку зрения, но я так думаю и по сей день.

К февралю 1951 года фронт установился приблизительно в районе 38-й параллели – бывшей демаркационной линии, и условия нашего существования стали понемногу улучшаться. Нам выдали ватные телогрейки и начали лучше кормить. Нас разделили: выживших американских солдат отправили в большой лагерь для военнопленных, а большинство интернированных перевезли обратно в Манпхо и поселили в нескольких сельских домиках. Меньшую группу, в которую входили французские и английские дипломаты и два журналиста, разместили севернее Манпхо. С тех пор мы больше не общались с остальными пленными и даже не знали, что они живут совсем рядом.

Мы уже не страдали от холода, а еды, хоть и однообразной, хватало для поддержания жизни. Наступил период отно-

сительного покоя. Охрана состояла из солдат и майора, а свобода передвижения ограничивалась домом и маленьким двориком. Позже солдаты молчаливо разрешили нам гулять по окрестным полям, протянувшимся вдоль дороги. Французы жили в одной комнате, британская группа, состоявшая из нас троих и Филипа Дина, – во второй, третья принадлежала охране. Мебели в комнатах не было, и мы спали на полу.

Больше, чем что-либо другое, нас угнетала скука. Делать было нечего, читать – тоже, оставалось только разговаривать. Наше существование в плетеной хижине напоминало положение десяти железнодорожных пассажиров, которым пришлось провести два года в вагоне, забытом всеми на запасных путях. К счастью, мне повезло с компанией. Наша жизнь была сносной даже в самые тяжелые времена только потому, что среди нас были умные, интеллигентные люди, много путешествовавшие, каждый – специалист в разных областях знаний.

Вивиан Холт, наш старейшина, – арабист, провел почти всю жизнь в самом сердце узла политических проблем и интриг на Ближнем Востоке между двумя войнами. Его французский коллега месье Перрюш, высокий, меланхоличный, темноволосый, самый мягкосердечный из всех, служил много лет в Китае, прекрасно знал язык и объехал всю эту огромную страну. Жан Мидмор родился и вырос в Шанхае и тоже свободно говорил по-китайски. Другой вице-консул – месье Мартель – связал свою жизнь с Японией и Кореей, он говорил на обоих языках. Его семидесятилетняя мать была суровой женщиной. Должно быть, ей и ее дочери тяжело было жить в такой близости от мужчин, но она была немкой и унаследовала типичные для этой национальности педантичность и решительность. Хотя ее не всегда можно было любить, но нельзя было не уважать. Месье Шантелу, корреспондент Франс пресс, маленький и живой, всегда был готов вставить язвительное или остроумное замечание. Ученый-японист, он много лет жил в этой стране и женился на японке.

Но, без сомнения, самой колоритной фигурой был Филип Дин. По национальности грек, очень впечатлительный и исключительно многословный, он знал огромное количество всяческих историй и анекдотов. У него был лишь один недостаток – равно хорошо владея английским и французским, он говорил громким басом. Проведя несколько часов в нашей комнате, он уходил к соседям, и сквозь тонкие перего-

родки мы выслушивали те же рассказы, но уже на другом языке. Впрочем, добрый и мужественный человек, он много сделал, чтобы скрасить скуку нашего плена. Уравновешенного и покладистого Нормана Оуэна любили все. Во время войны он служил в разведке военно-воздушных сил в Ираке, а демобилизовавшись, устроился в компанию Маркони. Желая поправить свое финансовое положение, по протекции друга он был принят в СИС. Корея оказалась его первым назначением. Он легко справлялся с тяготами плена, но очень страдал из-за разлуки с семьей.

Несмотря на огромный багаж знаний и опыта, обнаружившийся в нашей группе, даже лучшие рассказчики вскоре исчерпали запас историй и воспоминаний. После трех-четырех месяцев они начинали повторяться, впрочем, это ничего не значило, так как по прошествии определенного времени мы могли выслушивать их заново.

Хотя кормили нас достаточно, но мысли о еде никого не оставляли. Вспоминаю, что, как только кто-нибудь случайно упоминал об обеде или ленче, на котором присутствовал, мы немедленно заставляли его в мельчайших подробностях описывать, какие яства и напитки там подавали. Нас просто сводили с ума мечты о еде, воображение рисовало кондитерские магазины со всеми видами замечательных пирожных или ресторанные столы, заставленные тарелками с необыкновенными кушаньями. Миражи исчезали, как только приходило время обеда и надо было переключаться на повседневную пищу.

Однажды весной 1951 года совершенно неожиданно вместе с ежемесячной поставкой риса пришла посылка с книгами. Их прислало советское посольство в Пхеньяне. Там была одна книга на английском – "Остров сокровищ", мы читали ее несколько раз по очереди. Другие были на русском и политического содержания – два тома "Капитала" Маркса и ленинское "Государство и революция".

Единственными среди нас, кто знал русский, были Вивиан Холт и я, поэтому мы оказались главными обладателями богатства. Но получилось так, что мистер Холт, который плохо видел, потерял свои очки, когда нашу колонну обстреляли американцы. Без них он читать не мог и попросил меня делать это вслух и громко. Чтобы не мешать остальным, мы удалялись к низким зеленым холмикам – семейным могилам на поле позади дома, благо стояли пре-

красное лето и теплая осень. Я читал ему часами, и к зиме мы закончили "Капитал", проштудировав некоторые места дважды. Естественно, чтение давало пищу для интересных разговоров, мы обсуждали теории Маркса и Ленина и их влияние на мировую историю. Вивиана Холта давно привлекали социалистические идеи. Одно время он даже серьезно подумывал оставить Министерство иностранных дел и баллотироваться в парламент, но никак не мог решить, от какой партии. Его происхождение, воспитание и положение предполагали выбор консервативной партии, но взгляды и симпатии были на стороне лейбористов. Так он никогда и не сделал решительного шага.

На своем веку он наблюдал расцвет и упадок Британской империи и теперь окончательно пришел к выводу, что коммунизм – следующая ступень развития человечества. Ему самому не хотелось бы жить в коммунистическом обществе, он был слишком большим индивидуалистом, но его не могли не восхищать успехи советской системы в Центральной Азии, где русским удалось поднять уровень жизни в своих бывших колониях до своего собственного. И хотя по западным меркам этот уровень был не слишком высок, но тем не менее гораздо выше, чем у соседних народов Ближнего Востока с теми же культурой и традициями. Эффект был такой, как если бы Великобритания приблизила жизнь в Индии к своей собственной.

Осознав неизбежность коммунизма, он, склонный к абстрактному теоретизированию, уже задумывался над тем, какая форма устройства общества придет ему на смену. Эти размышления, которыми он делился во время чтения и разговоров, сильно повлияли на меня. Я смотрел на него с восхищением и уважением, забыв обо всех странностях. Этот человек был на несколько голов выше меня.

Все эти факторы, вместе взятые, привели к серьезному изменению моего мировоззрения, и из человека с традиционными взглядами и, откровенно говоря, воинствующего антикоммуниста я превратился в горячего сторонника движения, с которым прежде боролся.

Во мне росло убеждение, что создание коммунистического общества и осуществимо, и желанно. Особенно меня привлекала универсальность теории Маркса. Цель – построить мировой союз независимых государств, не разделенных национальными границами и взаимным антагонизмом, – ка-

залась мне единственным путем, способным избавить человечество от войн.

Другим привлекавшим меня постулатом коммунизма было уничтожение классов. Заметные классовые различия в Западной Европе, в частности в Англии, всегда сильно меня раздражали. Я считал в корне неправильным и нехристианским, что о людях судят по тому, к какому классу они принадлежат, или основываясь на внешнем признаке – с каким акцентом они говорят, вместо того чтобы обращать внимание на их личные качества или ум. Классовые различия, на мой взгляд, формируют искусственные барьеры между людьми и препятствуют их свободному общению на равных. Я смотрел на это как на зло, от уничтожения которого человечество выиграет, избавившись от ненужных комплексов. Я очень одобрял идею постепенного отмирания государства с его органами насилия и принуждения.

Было еще нечто в моем характере, что делало коммунизм очень привлекательным: я всегда ненавидел соревнование между людьми. Получать от этого удовольствие мне кажется чем-то унизительным и недостойным человека. Делать что-то хорошо надо для самого себя, а не для того, чтобы превзойти и затмить другого. Я всегда старался избегать соревновательности и отступал, как только она вторгалась в мою жизнь. Именно поэтому я, например, не люблю состязательных игр. Я нахожу скучными Олимпийские игры и футбольные матчи, да и не считаю их чем-то полезным. Олимпиады перестали быть чисто спортивным мероприятием, превратившись в арену состязательности и национального соперничества, как будто количество золотых медалей, выигранных страной, говорит что-нибудь о превосходстве ее социальной системы или военной мощи. Меня совершенно не удивляют случаи, когда матчи футбольных команд заканчиваются хулиганскими выходками и бесчинством на стадионах. Это естественное последствие. Что же касается конкурсов красоты, то я считаю их явным унижением, современной формой рынка рабов. По тем же причинам меня никогда не привлекал бизнес. Мне ненавистна сама мысль принимать участие в крысиных бегах, где либо преуспеваешь, либо будешь выброшен на свалку, как мусор, где человек так захвачен деланием денег, что не остается времени ни на что другое, даже на то, чтобы получать удовольствие от траты этих денег. Я даже не был расстроен, что фирма отца прогорела, мне было бы противно бороть-

ся за ее процветание. Я был также рад, что дело не дошло до предложения каирского дяди стать его компаньоном. Мне бы пришлось разочаровать его. Когда при демобилизации из армии я мог выбирать между предложениями делать карьеру в бизнесе и государственной службой, я без колебаний выбрал последнюю.

Многие считают дух соревновательности и честолюбие добродетелями, а их отсутствие – недостатком характера. Пусть так. Я осознаю, что эти черты – стимул к деятельности и мощный двигатель экономического прогресса, но что касается меня, я сожалею, что это так. Когда сравниваешь себя с другими, всегда становишься ожесточенным или самовлюбленным, потому что рядом есть кто-то лучше и кто-то хуже. Я с нетерпением жду наступления времени, когда моральные качества людей станут такими, что этот двигатель больше не понадобится и все станут работать хорошо не потому, что стремятся к выгоде, а в силу естественной потребности. Общество, в котором люди не соревнуются и не отталкивают друг друга локтями, где каждый отдает все на благо всех, навсегда останется для меня идеальным.

Формула "от каждого по способностям, каждому по потребностям" отражает, по-моему, единственно верные и справедливые принципы отношений между людьми, от рождения свободными и равными. И не будет ли столь же высокой целью, как содействовать созданию Царства Божиего на земле, помочь строить такое общество? Не тот ли это идеал, к которому стремилось христианство на протяжении двухтысячелетней истории? Не была ли эта формула отражением практически слово в слово Деяний святых апостолов (гл. 11, стихи 14, 15)? И то, чего не удалось добиться церкви молитвами и заповедями, не будет ли достигнуто в борьбе за коммунизм? И если, как я теперь решил, безнравственно противостоять коммунизму и бороться с ним любыми средствами, честными или нет (что, конечно, мне предстоит в качестве офицера разведки), не справедливее ли помочь ему, бороться за него? Ведь в этом сражении поставлено на карту слишком много, а остаться в стороне невозможно.

Теперь я раздумывал, что стоит предпринять. Мне казалось, что передо мной в создавшейся ситуации открываются три возможных пути. Во-первых, я мог попросить разрешения остаться в Северной Корее после войны и помочь восстановлению страны. Во-вторых, я мог возвратиться в Англию, уй-

ти со службы, вступить в компартию и, например, продавать "Дейли уоркер" или делать любую другую пропагандистскую работу. И в-третьих, я мог использовать свое положение в СИС, чтобы передавать СССР проходящую через меня информацию о разведоперациях против Советского Союза, стран социалистического блока и мирового коммунистического движения и тем самым срывать планы СИС и шпионских организаций других западных стран.

Первый путь я отверг практически сразу – я не обладал достаточными умениями, и мой вклад в восстановление Северной Кореи мог быть лишь очень небольшим, в реальности я стал бы не помощником, а обузой и предметом беспокойства. Я долго взвешивал сравнительные достоинства двух оставшихся вариантов. Без сомнения, отставка и открытое участие в коммунистическом движении были гораздо более почетными и в то же время несравненно менее опасными. Человек, с поднятым забралом отстаивающий свои убеждения, более привлекателен и достоин уважения, чем тот, кто действует тайно в чужом обличье. Если возможно, такой путь всегда предпочтительнее. Но я не мог не видеть, что польза, которую я способен принести, была бы гораздо большей, выбери я третий вариант. Так после изнурительной внутренней борьбы я сделал выбор. Это было нелегкое решение, принятое в тяжелейших, можно сказать, исключительных, обстоятельствах. Шла ожесточенная война, а жестокие времена диктуют суровые и неординарные поступки. Возможно, если бы я перебирал варианты, ведя размеренную жизнь в тихой лондонской квартире, вывод был бы другим. Кто знает?

Без всякого сомнения, война, которая бушевала вокруг, сыграла роль катализатора. После того, что я видел в Южной Корее, я понял, что поддерживать этот режим не было правым делом. С самого начала я воспринимал войну как проявление бесчеловечности, и хотя был пленником, но симпатизировал северянам, как раньше в Южной Корее – партизанам. Страдания мирных жителей и, конечно, американских солдат, разделявших со мной судьбу, казались мне совершенно бессмысленными. Не мог я не чувствовать и того, что мое собственное и моих английских товарищей по несчастью заключение было не во благо нашей стране. Иначе в нем был бы смысл и я бы легко переносил тяготы. Но я отлично знал, что война ни в малейшей степени не отвечает интересам Великобритании. В

конечном счете английское правительство и не стремилось к войне. Вспоминалось, как в Голландии во время войны я слушал рев сотен английских самолетов, летящих бомбить Германию, и этот звук казался песней. Теперь же, когда я видел огромные серые тени американских бомбардировщиков, низко пролетавших над маленькими, беззащитными корейскими деревушками, прилепившимися на склонах гор, и сбрасывающих на них свой смертоносный груз; когда я видел убитых крестьян, прятавшихся в полях, в основном женщин, детей и стариков, потому что все мужчины были на фронте, – я не чувствовал ничего, кроме стыда и возмущения. По какому праву они явились в эту далекую страну, которая не делала никакого вреда и лишь хотела жить по-своему, по какому праву они опустошали города и деревни, убивая и разрушая все без разбора? Итак, я сделал выбор, прекрасно отдавая себе отчет во всех последствиях. Я понимал, что предаю оказанное мне доверие. Понимал, что предаю друзей и коллег по службе, предаю страну, которой присягал на верность. Я все взвесил и пришел к выводу, что могу взять на себя эту вину, как бы она ни была тяжела. Иметь возможность помочь такому делу и упустить ее я считал еще худшим преступлением.

Почему я решил предложить свои услуги советским властям, а не китайским или корейским, что было бы проще в сложившихся обстоятельствах? Во-первых, потому что Советский Союз был первой в мире страной, решившейся на героический и трудный эксперимент – построить высшую форму человеческого общества. Это – эксперимент исключительной важности для всех других народов и для всего человечества, и он должен удаться. Во-вторых, именно против этой страны были направлены большинство хитроумных и обширных подрывных операций СИС и ЦРУ. Поэтому в СССР могли лучшим образом использовать информацию, которую я буду предоставлять. К тому же русские – европейцы, я говорю на их языке и чувствую гораздо большую общность с ними, чем с китайцами или корейцами.

Таковы основные соображения, которые привели меня к решению. И как только представилась возможность, я предпринял нужные шаги, чтобы воплотить его в жизнь.

Поздним вечером осенью 1951 года, когда все спали, я вышел по нужде на поле за домом. На обратном пути я заглянул в комнату охраны, где еще горел свет. Солдаты сидели вок-

руг низкого стола, а майор, как обычно по вечерам, вел с ними политбеседу. Я приложил палец к губам и протянул ему сложенную записку. Он посмотрел на меня слегка удивленно, но взял бумагу, ничего не сказав. Я написал эту записку днем на листочке из тетради, которую нам случайно дали. Текст на русском языке был адресован в советское посольство в Пхеньяне, я просил о встрече с кем-нибудь из посольства, говоря, что могу сообщить нечто представляющее для них интерес. В конце я добавил, что из соображений секретности надо будет отдельно побеседовать со всеми членами нашей группы, чтобы не привлекать ко мне излишнее внимание.

Примерно шесть недель ничего не происходило. Потом однажды утром мистера Холта вызвали в сопровождении майора в Манпхо, который был в трех четвертях часа ходьбы от нашего дома. Он возвратился во второй половине дня, очень довольный "выходом в свет". Он виделся с приятным молодым русским, который говорил по-английски. Холта спрашивали, как тот относится к войне, дали почитать кое-какой пропагандистский материал и спросили, не хочет ли мистер Холт подписать заявление, осуждающее войну в Корее. Он отказался, сославшись на то, что является представителем правительства Великобритании и не может подписывать документы такого рода без санкции своего руководства. Молодой человек не настаивал. Мистер Холт воспользовался случаем, чтобы попросить ручку и бумагу, и написал гневный протест в советское посольство в Пхеньяне против нашего заключения. Прежде чем отправить назад, ему дали обед, состоявший из супа, мяса и настоящего чая.

На следующее утро пришел мой черед идти в Манпхо. Город располагается на Ялуцзяне, в том месте, где реку пересекает железнодорожная ветка, главная транспортная артерия между Кореей и Китаем. Поэтому мост был одной из важнейших целей американских ВВС, и бомбежки почти не прекращались. Иногда мост выходил из строя на несколько недель, а однажды – на несколько месяцев. Часто бомбы попадали на город, и он весь лежал в руинах. Лишь несколько домов здесь сохранилось в целости, к одному из них меня и подвел майор, проводив в комнату на втором этаже. Она была почти пустая, вся меблировка состояла из стола, кровати и двух стульев. Когда я зашел, с кровати поднялся европеец, которого я счел русским. Он по-русски предложил мне сесть, а сам устроился на стуле напротив. Это был явно не тот

человек, которого описал мистер Холт, а большой плотный мужчина лет сорока – сорока пяти, с бледным цветом лица. У него были две особенности: он был совершенно лысый, похож на киноактера Эрика фон Строхейма, и по одному ему известной причине не носил носков. Он не представился, но много лет спустя я узнал, что он тогда был начальником отделения КГБ в Приморье. Он достал мою записку и довольно дружелюбно поинтересовался, что я хотел сообщить. Я сказал, что был не столько вице-консулом, сколько сотрудником СИС и хотел бы предложить свои услуги советским властям. Я объяснил почему, а закончил условиями, на которых был готов работать. Они были таковы:

а) я готов предоставлять информацию о разведывательных операциях против СССР, других социалистических стран и мирового коммунистического движения, но не против каких-либо других стран;

б) за службу я не приму ни денег, ни другого материального вознаграждения;

в) я не должен быть ни под каким видом ни освобожден раньше своих друзей, ни выделен какими-либо привилегиями, пусть со мной обращаются так же, как с остальными пленниками, о чьих разговорах или действиях я не намерен ничего сообщать.

Чтобы предупредить возможное недопонимание, хочу особо остановиться на пункте "б". Все время, пока я тайно сотрудничал с КГБ, я не получал от этой организации ни пенни. Когда я в конце концов оказался в Москве после побега из Уормвуд-Скрабс, мне дали квартиру, за которую я вношу квартплату, и скромную сумму денег на обустройство. Позже мне назначили пенсию, которую я получаю до сих пор. Сверх этого я зарабатываю деньги на своей работе. Но пока я служил в СИС, КГБ мне ничего не платил. Мои поступки были продиктованы только идеологическими соображениями, но никогда – материальной выгодой.

Начальник КГБ, как я его называл про себя, слушал внимательно, иногда прерывая мою речь уточняющими вопросами, а потом попросил меня написать все, что я только что сказал, по-английски и ненадолго вышел. Вернувшись, он стал расспрашивать о моей прежней жизни, войне, работе в разведке. Пока мы беседовали, вошел молодой светловолосый русский с открытым лицом, который, как объяснил кэгэбист, будет опрашивать моих товарищей по несчастью. Нам же,

возможно, предстоит встретиться несколько раз, чтобы обсудить все вопросы, а это займет определенное время. Собеседование кончилось. Дома я рассказал, что виделся с тем же молодым человеком, что и мистер Холт, что мне тоже предлагали подписать заявление против войны и я отказался.

В течение нескольких следующих дней мои друзья, кроме двух женщин, все по очереди побывали в Манпхо. По возвращении они рассказывали одно и то же. Филип Дин тут же дал русскому имя героя одной из новелл – "Кузьма Кузьмич", и с тех пор мы его так и звали. Дин был прекрасным пародистом и отлично изображал молодого человека, особенно то, как он говорил, и мы здорово веселились по этому поводу.

Всего нас вызывали по три или четыре раза, и дело растянулось на несколько месяцев. Я все время встречался с моим начальником КГБ, а остальные – с "Кузьмой Кузьмичом". Один раз меня попросили написать все, что я знаю, о структуре СИС. Когда я вернулся в Англию, понял, что их интересовали не факты, которых было и так достаточно в сообщениях Филби и других агентов, русские хотели проверить, говорю ли я правду. Они предполагали, что мое предложение – провокация, задуманная мистером Холтом. Я это, естественно, отрицал, и мне поверили. В последний раз начальник КГБ сказал, что предложение принято и, когда придет время, со мной свяжутся. Он даже прошелся со мной полдороги к дому, говорил очень тепло, а на прощание расцеловал в обе щеки.

Вспоминаю еще один разговор с ним. Речь шла о Сталине. Я сказал, что не могу понять, почему он окружен таким необыкновенным поклонением. Это казалось мне противоречащим коммунистической теории, учившей, что историей движут массы, а не выдающиеся личности. И хотя, например, Черчилля уважали и восхищались тем, что он сделал во время войны, но, когда она кончилась, премьер-министр был смещен большинством голосов. Уподобление человека Богу было, по-моему, тем, что Запад просто не в состоянии понять. Больше того, я не видел в этом небходимости. Начальник КГБ пробурчал что-то о других традициях, но воспринял мои замечания хорошо, и мне показалось, что он со мной согласен.

Так первая часть задуманного плана была осуществлена. К счастью, друзья ничего не заподозрили, иначе с самого на-

чала план бы провалился. Мы жили в тесноте, постоянно и очень близко общались друг с другом, и мне приходилось все время следить, не изменилось ли мое поведение и совпадают ли с другими мои пересказы бесед в Манпхо. Это было не слишком трудно. Все рассказывали одно и то же, и я, изменив мелкие детали, повторял чужие истории. Все считали, что я, как и остальные, вижусь с "Кузьмой Кузьмичом", мы говорим о том же самом, он задает мне те же вопросы. Я ни разу не дал повода думать по-другому.

Теперь я чувствовал огромное облегчение. Внутренняя борьба закончилась. Меня приняли. Пути назад нет. Я мог смотреть на себя как на одного из миллионов людей, которые активно строили новое, более справедливое общество. Жизнь моя больше не будет прежней. У меня теперь появилась цель. Все встало на свои места.

Не могу сказать, что тогда или позже чувствовал угрызения совести в отношении моих друзей-пленников. Я не причинил им никакого вреда, не пользовался ими для своих целей.

Оглядываясь назад, я всегда удивляюсь, как мне удавалось и тогда и потом так удачно избегать разоблачения. Но с обманом дело обстоит так: начав, приходится продолжать обманывать, нравится вам это или нет. Не мог же я в один прекрасный день вдруг сказать людям: "Знаете, я – советский агент". А если бы и сказал, то мне никто бы не поверил и решили бы, что у меня не все дома. В любом случае последствия были бы серьезными. Не следует забывать, что я с юности привык к обману, хотя и не такого масштаба. Когда я был курьером в голландском подполье, то изображал школьника, несущего в ранце учебники, а не запрещенные листовки или разведсообщения. Каковы бы ни были мои мотивы, я уже тогда обманывал людей. Позже, когда я работал в СИС, то говорил всем, включая мать и сестер, что служу в МИД. Когда выбираешь профессию разведчика, надо быть готовым ко лжи и обману, а если у кого-то есть сомнения на этот счет, то стоит подыскать другую работу. Потом в игру вступает другой важный психологический фактор. Офицеру разведки, любому разведчику по характеру своей работы приходит-



1985 год.





Я с матерью, бабушкой и сестрами.
Голландия, 1935 год.



Каир, 1937 год.



Офицер. 1945 год.



Курсант
военно-морского училища.
1943 год.

После работы. Сеул. 1949 год.



В лагере для военнопленных в Мампе. Корея, 1951 год.



Я с сыновьями. Ливан, 1961 год.



Моя мать. 1960 год.



В кругу семьи. Англия, 1960 год.



Моя русская жена Ида, 1968 год.

Мы с женой
и сыном Мишей
на Кавказе.

Я и Ида. 1983 год.

В Москве. 1990 год.



1990 год.

ся делать то, что в обыденной жизни приводит к столкновению с законом. Иногда приходится вскрывать чужие письма, подслушивать телефонные разговоры, искать компроматы, принуждать, шантажировать, а в исключительных случаях и организовывать политические убийства или замышлять террористические акты. Все время приходится развращать людей, разными способами склонять их к нарушению закона и нелояльным по отношению к собственной стране и правительству поступкам.

Будучи частным лицом, никто, наверное, не хотел бы поступать подобным образом для достижения своих целей, но если работа требует подобных действий, то человек вполне способен на это, веря, что защищает интересы государства или свои убеждения. Может быть, я в большей степени обладаю способностью отделять личное от общественного, и именно это позволяло мне быть советским агентом. Я никогда не действовал в своих интересах и тогда, когда мои поступки были направлены непосредственно против моих коллег. Хочу добавить только одно: нет ничего хорошего в том, что приходится обманывать тех, кому доверяешь, мне это никогда не нравилось и не доставляло удовольствия. Шпионаж мне представляется печальной необходимостью. Пока существуют конфронтация и соперничество, пока есть армии и угроза войны, шпионы будут необходимы. Конечно, лучше, если это возможно, быть капитаном на мостике, чем кочегаром в трюме. Но оба нужны, чтобы корабль шел вперед. Шпионы подобны кочегарам. Сегодня техника такова, что кочегары не нужны, и я надеюсь, что придет день, когда отпадет надобность и в шпионах.

Скучные, лишенные событий дни в сельском доме в Манпхо складывались в месяцы, а месяцы – в годы. Дни проходили в разговорах, хождении, спанье и очень редко – в ссорах. Мы были в плену уже около трех лет. Иногда, подстрекаемые Филипом Дином и французами, мы начинали голодовку. За этим следовали долгие препирательства с охраной и небольшое улучшение еды или разрешение на несколько ярдов увеличить пространство прогулок. Наши завоевания

держались недолго, поэтому всегда был повод объявить голодовку снова.

Чтобы скоротать время, я начал учить русскому Жана Мидмора, используя в качестве учебника "Капитал" Маркса. Будучи способным к языкам, он все быстро усваивал. Нам обоим было приятно, когда после семи месяцев настойчивого труда он смог легко прочесть русский текст.

Все это время мы не могли связаться с родственниками, но однажды нам неожиданно разрешили послать домой записку через Красный Крест. Она должна была быть короткой, по-моему, не больше двадцати слов. Мы все старались уложить в эти слова уверения в здоровье и надежду на скорую встречу. Все, кроме мистера Холта. Он даже не вышел за рамки разрешенного объема и, адресовав письмо в МИД, попросил перечислить с его банковского счета на счет его сестры 50 фунтов на билеты в театр.

Когда в МИД получили записку, то были ошарашены и приняли ее за шифровку, долго ломали голову, что бы это могло быть. Напрасно – письмо значило лишь то, что в нем было написано. Как объяснил мне мистер Холт, он каждый год дарил сестре ко дню рождения небольшую сумму на театральные билеты. Это письмо было единственной возможностью передать ей деньги. Он думал, что тем самым принесет больше пользы, чем просто сообщая, что находится в добром здравии. К тому же из присланных денег она могла сделать вывод о его здоровье сама. Это было типично для Вивиана Холта – человека всегда заботливого и внимательного.

В первые дни марта 1953 года мы узнали, что умер Сталин. Буквально на следующий день исчез его портрет, висевший среди портретов других членов Политбюро в комнате охранников. Наверное, это была первая и самая скорая мера по десталинизации во всем социалистическом мире.

Через неделю, когда мы, как обычно, утром гуляли в маленьком дворике, всем англичанам велели срочно собрать немудреные пожитки. А уже через четверть часа мы ехали в открытом кузове грузовика в столицу. Мы оставляли французов с надеждой на скорое освобождение. Так и случилось через несколько дней.

В Пхеньяне нас поместили в пещеру в горах, чтобы защитить от ежедневных американских бомбежек. К нам присоединились и трое остальных интернированных англичан – епископ Купер, представитель Армии спасения Лорд и ирландский миссионер монсеньор Квинлэн. Последним я бесконечно восхищался. Большой, с красноватым цветом лица и мягчайшим характером, он всегда был приветлив, как бы ни была тяжела жизнь, и готов помочь каждому, кто в этом нуждался. Мне посчастливилось встретить двух людей, которых я почитаю почти святыми. Один из них – монсеньор Квинлэн, ирландский католик, а другой – Дональд Маклейн, английский коммунист.

Через три дня под покровом ночи двое офицеров и четверо солдат повезли нас на грузовике из Пхеньяна в сторону китайской границы. Это было первым этапом обратного путешествия в Англию и началом новой жизни.

Глава седьмая

Транссибирский экспресс Пекин – Москва медленно шел по безлюдным землям, отделявшим Китайскую Народную Республику от Советского Союза, мимо минных полей, проволочных заграждений под током, полос гладко выровненного песка, сторожевых вышек и прожекторов, иными словами, пересекал границу между двумя дружественными социалистическими странами. Из окна купе мы с интересом разглядывали эти мощные укрепления, во мне же они вызывали смешанные чувства: было очевидно, что братство людей наступит нескоро. Полчаса назад мы попрощались с двумя представителями советского посольства в Пекине, оказавшими нам множество дружеских услуг. Они встретили нас на корейской границе и сопровождали в пути через Маньчжурию. Отныне и впредь мы именовались "британской делегацией". У советской пограничной станции Отпор поезд замедлил ход. Меня поразил внезапный переход от Востока к Европе. Когда в 1948 году я летел на Дальний Восток на гидросамолете, то разница между Южной Европой, Ближним Востоком, а затем Индией и Бирмой воспринималась постепенно. Здесь же понадобилось около получаса, чтобы поезд, пройдя по пустынным землям, неожиданно вновь оказался в Европе, быть может, не столь опрятной и процветающей, как Голландия или Англия, но все равно в Европе. Все свидетельствовало об этом: от деревянных домиков с остроконечными двускатными крышами, окнами, задернутыми кружевными занавесками и цветами герани на подоконниках, до высоких светловолосых пограничников и белокурых длинноногих девушек на станционной платформе.

В дверь нашего купе постучали, и офицер пригласил следовать за ним. Он отвел нас в здание таможни и, оставив в длинной комнате со скамьями, попросил подождать. Вскоре он вернулся и позвал мистера Холта. Спустя пятнадцать минут настал черед Лорда из Армии спасения. Мистер Холт рассказал нам, что ему велели показать бывшие при нем дорожные документы и заполнить сложную анкету. Когда Лорд вернулся, пришла моя очередь. Офицер провел меня по длинному коридору в комнату, где работали несколько таможенников и женщин-служащих, а затем через внутреннюю дверь мы попали в маленький кабинет. Навстречу мне из-за стола поднялся мужчина, с которым много позже я встречался близ станции метро Белсайз-парк. Он не представился, а просто сказал, что впредь мы будем работать вместе. Не теряя времени, мой новый знакомый стал обсуждать план нашей первой тайной встречи.

Во время бесед в Манпхо я предложил, чтобы первые подобные встречи происходили в Голландии, мотивируя это тем, что там я бы чувствовал себя более уверенно и в случае чего мог бы быстрее сориентироваться. Теперь мой собеседник сказал, что мои условия признали приемлемыми, и предложил в качестве места встречи Гаагу, назвав один из дней в июле и несколько запасных на случай, если один из нас не сможет явиться. Знаком того, что все в порядке, будет экземпляр газеты "Ниве Роттердамзе курант" за предыдущий день, который каждый из нас должен будет принести с собой. Решив этот вопрос, он сказал мне, что возвращается в Москву тем же поездом и займет купе в третьем вагоне от моего. Если у меня будет возможность ускользнуть от попутчиков, не вызвав ничьих подозрений, и навестить его, то мы сможем лучше познакомиться. Но рисковать я ни в коем случае не должен. На этом наш разговор закончился, и офицер отвел меня к остальным. Когда все заполнили анкеты, нас проводили обратно в наши купе.

Дорога в Москву заняла неделю. Поезд был довольно комфортабельным, ведь мы ехали в мягком, а не жестком вагоне. Пассажиры относились к нам очень дружелюбно, некоторые настойчиво приглашали в вагон-ресторан. Тогда в России еще было много икры и водки, и нам приходилось поглощать эти продукты в огромных количествах. На каждой станции пассажиры гуляли по платформе, пока удар колокола не предупреждал об отправлении поезда. Во время этих прогулок

я часто встречал моего нового знакомого, но, конечно же, мы делали вид, будто незнакомы. В итоге я так и не зашел в его купе, предпочитая не рисковать. Кроме того, в этом не было необходимости, так как весь наш план был для меня ясен.

На перроне Казанского вокзала в Москве нас встретили посол Великобритании и сопровождавшие его лица. Теренсу О'Брайен-Тиару, возглавлявшему в то время резидентуру Интеллидженс сервис в Москве, с которым мы стали добрыми друзьями после войны во время работы в Главном управлении, из соображений безопасности посоветовали не встречаться со мной. Позже он сказал, что наблюдал за нашим прибытием к парадному входу из окна посольской мансарды. Нас предупредили о необходимости избегать встреч с представителями прессы, а после возвращения в Англию как можно меньше рассказывать об условиях нашего содержания в корейском плену, чтобы не усугублять положение наших пока еще не освобожденных интернированных товарищей.

Всех прибывших поселили в гостинице "Националь", обедали мы в посольстве. Блеск столового зала, вежливая беседа гостей, изысканные блюда и сервировка резко контрастировали с тем, к чему мы невольно привыкли в последние годы. К сожалению, нам не хватило времени осмотреть город, но зато удалось посетить метро, и оно произвело на нас сильнейшее впечатление. Жизнь тем не менее предоставила мне возможность наверстать упущенное в будущем, но тогда я и подумать не мог, что проживу в Москве много дольше, чем где-либо.

Ранним утром следующего дня специально посланный санитарный самолет британских ВВС унес нас в Западный Берлин. И хотя все мы были более или менее здоровы и не нуждались в медицинской помощи, мы по достоинству оценили этот факт. После недолгой остановки в Берлине наш самолет вновь поднялся в воздух и взял курс на конечный пункт пути.

Спецсамолет ВВС вырулил на стоянку рядом с главным зданием аэропорта Эбингдон. Как только он остановился, группа мужчин и женщин из Армии спасения разразилась гимном "Восславим Господа", подхваченным толпой ожидавших нас друзей и родственников. Дверь открылась, и секунду спустя мы стояли, растерянно прижимаясь друг к другу, в дверном проеме и на площадке трапа, залитые мягким светом великолепного весеннего английского дня.

Мы не знали, что нам делать: броситься вниз по ступеням прямо в объятия наших жен, матерей, сестер и братьев, кото-

рые и сами нетерпеливо посматривали на поющих, или чинно ждать, пока не замрут торжественные звуки старого гимна. Это пение, столь неожиданное для нас, придало долгожданной встрече дополнительную остроту.

Мы так и стояли, застыв в ожидании, с непокрытыми головами, одинаково одетые в толстые серые пальто, брюки цвета хаки и светло-голубые спортивные туфли.

Мы были первыми пленными, вернувшимися с корейской войны.

Наше возвращение домой в тот чудесный воскресный день в начале апреля 1953 года было первым свидетельством того, что лед, так долго сковывающий мирные переговоры в Паньмыньчжоне, начал таять и наконец-то обозначился конец этой опустошавшей души, жестокой и страшно разрушительной войны.

Вот почему наша встреча носила уже не частный характер, а стала неким событием общественной значимости. Представители Министерства иностранных дел, церковных организаций, не говоря уже об огромном количестве журналистов, фотографов и телевизионщиков, присутствовали при этом и вместе с многочисленными родственниками и друзьями представляли собой довольно внушительную толпу.

Пение гимна подошло к концу, и наша маленькая группка начала спускаться. Я быстро направился туда, где заметил мокрое от слез, но счастливое лицо моей матери, стоявшей в первом ряду, и вот, во второй раз разлученные войной, мы встретились.

Еще только один человек подошел поздравить меня: элегантно одетый пожилой мужчина, совершенно мне не знакомый, который представился как личный представитель шефа разведки. После официальных речей заместителя госсекретаря от Министерства иностранных дел, двух епископов, протестантского и римско-католического, и генерала Армии спасения он отвел меня в сторону, от имени своего шефа поздравил с возвращением домой, передал конверт с деньгами, которые, как он считал, могут понадобиться мне в ближайшие дни, и попросил в следующую среду зайти в Военное министерство, в комнату 070.

Затем последовали суматошные полчаса: нас атаковали журналисты, кино- и телеоператоры, мы говорили что-то в микрофоны, пытаясь в то же время перебросится хоть парой слов с родственниками и попрощаться с друзьями, вместе

с которыми пережили столько незабываемых, а подчас и горьких моментов. В конце концов, счастливый, но немного одуревший от всей этой суеты и новых впечатлений, я очутился в машине рядом с моей матерью, тоже счастливой и притихшей, и нас повезли в Ригейт, где она в то время жила. Вечером мы спокойно поужинали вдвоем в ее маленькой, но удобной квартирке и, утомленные переживаниями бурного дня, рано легли спать.

В среду утром я поездом добрался до Лондона и явился в Военное министерство, располагавшееся на Хорс-Гардз-авеню, в одиннадцать часов (вполне приличное время), чтобы, как было приказано, зайти в комнату 070. Эта комната приобрела достаточную известность и хорошо знакома в первую очередь многим британским бизнесменам, торгующим с Восточной Европой, ученым, студентам, музыкантам и всем другим, так или иначе вовлеченным в культурные связи с коммунистическими странами.

Однако в описываемое мною время о ее существовании и о том, чем там занимались, знал весьма узкий круг лиц, и даже я, слышавший о ней ранее, никогда не бывал внутри. Расположенная на первом этаже главного здания Военного министерства, она была отведена для нужд разведки, секретной службы, больше известной как МИ-6. Чиновники этой службы опрашивали там британских подданных, с которыми хотели установить контакт, не открывая им пока, какую организацию они представляют. Следующей комнатой была 050, и ее отделяло от 070 небольшое помещение, где находились секретарши. Комната 050 использовалась для тех же целей службой безопасности, более известной как МИ-5.

Причина того, что меня вызвали сюда, а не в Главное управление, была ясна с самого начала. До тех пор, пока я не буду подвергнут допросу, с тем чтобы выяснить, как это я умудрился попасть в руки коммунистов, и не буду свободен от подозрений, что те обратили меня в свою веру, дорога в "святая святых" для меня закрыта.

Дежурный в мундире с золотыми пуговицами проводил меня по широкому темному коридору до зеленой двери комнаты 070. Войдя, я оказался в просторном помещении, несколько претенциозная обстановка которого (на полу даже лежал толстый красный ковер) явно должна была произвести впечатление на посетителя и внушить ему мысль о значимости тех, кто здесь сидит.

Меня ждали двое мужчин примерно моего возраста. Они подчеркнуто приветливо поздоровались и тут же распорядились принести из соседней комнаты кофе. Было чуть больше одиннадцати, волшебное время, когда вся работа замирает и очаровательные секретарши разносят кофе своим шефам, которые награждают их добродушными шутками, а иногда, в зависимости от отношений, не отказывают себе в удовольствии умеренно пофлиртовать.

После небольшой беседы на общие, приличествующие случаю темы двое моих коллег, а они оказались именно ими, стали подробно расспрашивать меня об обстоятельствах нашего ареста в Сеуле в июне 1950 года, жизни в Северной Корее и условиях содержания в плену. Один из них мягко и дружелюбно задавал вопросы, а другой делал записи, иногда уточняя вопрос или прося дополнительную информацию. Допрос длился два часа, до ленча, и был сосредоточен на выяснении, чего, собственно, хотели от нас корейские власти.

Мне был задан вопрос, подвергался ли я пыткам или другому насилию. Не кривя душой, я ответил, что ни я сам, ни мои товарищи не могли пожаловаться на преднамеренно дурное обращение и пережитые нами лишения, подчас серьезные, проистекали из условий военного времени, общей нищеты страны и беспрецедентного урона, нанесенного массированными атаками ВВС США.

Непосредственно перед арестом нам удалось уничтожить все секретные документы, в том числе касающиеся разведки и содержащие наши шифры. Ничего компрометирующего не попало в руки северокорейских властей.

Что касается допросов, то они, по крайней мере в отношении меня и моего коллеги Нормана Оуэна, носили чисто формальный характер и сводились к выяснению наших личностей и официальных полномочий. С нами обращались точно так же, как и с Вивианом Холтом, посланником Великобритании в Сеуле, в подлинности дипломатического статуса которого не было никаких сомнений, или же с коллегами из консульства Франции, содержавшимися вместе с нами и с которыми мы не расставались до дня нашего освобождения. Немногочисленные трения с властями помимо голодовок, объявлявшихся нами с целью добиться лучших условий содержания, были вызваны тем, что нас пытались заставить сделать пропагандистские заявления. Время от времени предпринимались попытки, особенно со стороны одного молодо-

го русского, под разными предлогами побудить нас подписать заявление, клеймящее вторжение войск ООН в Корею. Мы решительно отказывались, ссылаясь на то, что, как государственные служащие, не имеем права делать какие-либо заявления политического характера.

Когда подошло время ленча, мы прервались, и один из моих коллег попросил меня прийти на следующий день для продолжения беседы.

Когда на следующий день наша встреча возобновилась, оба допрашивающих, оставив в стороне вопросы безопасности, перешли непосредственно к делам разведки. Их интересовали такие вещи, как китайские линии связи в Северной Корее и обстановка на Транссибирской железной дороге. Очень жаль, заметил один, что я не привез с собой образец сибирской почвы. По нему они смогли бы определить, производят ли русские ядерные испытания в этом регионе и какова сила взрыва. Я выразил сожаление, что не знал этого, тем более что взять подобный образец не составило бы большого труда. Единственное, что я мог сделать теперь, – это предложить им для анализа мои башмаки, в которых я проделал все путешествие. Правда, я их носил и после возвращения в Англию, но, может быть, немного сибирской земли на них еще осталось. Мое предложение отклонили, признав его нецелесообразным.

Видимо, мои ответы удовлетворили моих собеседников, так как в конце нашего разговора, затянувшегося далеко за полдень, они сообщили мне, что в следующий понедельник, утром, я должен буду явиться в Главное управление, в отдел Дальнего Востока. Это был, конечно же, тот самый отдел, который контролировал резидентуру в Корее и которому я непосредственно подчинялся.

В понедельник утром, войдя в Главное управление, я обнаружил, что все со мной крайне любезны. Это было довольно необычно по отношению к сотруднику разведки, побывавшему во вражеском плену, так что на короткое время я стал почти знаменит. Не могу не признать, что интерес к моей персоне, особенно со стороны секретарш, набиравшихся в разведку не только за способности к стенографии и машинописи, но и за хорошенькие личики, не был для меня так уж неприятен.

Одним из первых начальников, перед которыми мне следовало предстать в "штабе", был человек, которого тогда офи-

циально не существовало. Сейчас, я думаю, из этого уже не делают тайны. Тем не менее поклонники Джеймса Бонда хорошо знают его как "М", в кабинете министров и высших правительственных кругах он был известен как "С", в секретных документах проходил под кодом "XYZ", а в самой разведке его называли "шеф", при этом по лицам сотрудников пробегало выражение благоговейного страха. Итак, поправив галстук, я поднялся на четвертый этаж, где размещались офисы шефа и высших чиновников разведки.

В то время этот пост занимал генерал-лейтенант Синклер, бывший во время войны директором военной разведки (при Военном министерстве), а в 1945 году, после смерти сэра Клода Денси, яркой фигуры в разведке, сменил его на посту вице-директора секретной службы. Сэр Клод всю жизнь посвятил разведке и под разными именами работал во многих странах. Однажды его спросили, как ему удалось завоевать репутацию столь хитрого и тонкого стратега, и он, как утверждают, ответил: ≪Когда ко мне приходят с предложениями новой операции, я всегда говорю, что это не сработает. Если же они, несмотря на мои слова, пытаются реализовать свой план, то в девяти случаях из десяти оказывается, что был прав. В том же единственном случае, когда выясняется, что я ошибся, я просто говорю: "Что ж, старина, тебе чертовски повезло"≫.

Прежде чем попасть в офис шефа, необходимо было пройти через приемную, которую занимала великолепная мисс Петтигрю, его личный помощник, под началом которой были еще две секретарши. Седовласая, с умными глазами, проницательно смотревшими сквозь очки без оправы, она была феноменально всезнающа, накопив огромный опыт за долгие годы бессменной работы. Ей удалось подняться выше всех прочих женщин в разведке, и чиновники разных рангов смотрели на нее с уважением, весьма близким к страху.

Когда я вошел, она благосклонно улыбнулась и сказала, что шеф примет меня незамедлительно. Затем встала, открыла передо мной звуконепроницаемую дверь, и я оказался в кабинете, хорошо знакомом всем любителям фильмов о Джеймсе Бонде. Правда, в сравнении с экранным кабинет был обставлен гораздо скромнее и с гораздо большим вкусом.

До этого я только раз видел генерала Синклера, когда он, будучи вице-директором секретной службы, беседовал со

мной перед отправкой в Сеул. Генерал был высоким, худым шотландцем с острыми аскетическими чертами лица пресвитерианского проповедника. Голубые глаза, скрывавшиеся за очками в роговой оправе, и мягкий голос действовали располагающе.

– Рад, что вы вновь с нами, Блейк, – сказал он, вставая из-за рабочего стола, и пожал мне руку. – Я читал ваш отчет, но хотел поговорить с вами лично. Как шли дела?

– Что ж, сэр, – ответил я, – по-настоящему плохо было только в первый год.

– Жаль, что вам не удалось вовремя исчезнуть, – заметил шеф с видимой досадой.

– Но, сэр, – несколько удивленно возразил я, – мы легко могли бы сделать это, если бы не четкие инструкции оставаться на месте в случае войны, вы сами повторили их мне перед отъездом. Ни мистеру Холту, ни мне даже не намекнули на то, что правительство Великобритании собирается вмешиваться в корейскую войну. Не будь инструкций, мы бы успели вовремя смыться.

Он сочувственно кивнул и сказал:

– Конечно, конечно. Это был именно один из тех случаев, которые никто не в состоянии предвидеть.

Затем он сменил тему и заговорил о епископе Купере, которого знал лично.

В конце беседы он предложил мне несколько месяцев отдохнуть, а тем временем мне подыщут новую работу. Меня долго не было, и, возможно, во всех отношениях будет лучше найти мне место дома, а не за границей, с тем чтобы я освежил в памяти работу Главного управления.

Потом он встал, пожал мне руку и пожелал приятного отдыха и успехов на новом поприще. Идя от него по длинному, узкому, петляющему коридору, ведшему к тыльной части здания, а оттуда – по небольшой винтовой лестнице на второй этаж, где размещался отдел Дальнего Востока, я обдумывал нашу беседу. В свое время я считал, что поступил правильно, оставшись в Сеуле. Но, как выяснилось, это было ошибкой, что лишний раз подтверждали слова шефа. Можно принять решение, в фактической правильности которого никто не усомнится, а затем увидеть, что оно привело к явно нежелательным, а то и откровенно скверным результатам. И наоборот, очевидно ошибочное решение может принести большую

пользу. Слишком много факторов, о которых человек и не догадывается, мешают ему, пусть даже умному, опытному и хорошо информированному, предвидеть последствия своего поступка. А если так, то единственный надежный советчик – это свой собственный здравый смысл, а что касается последствий, то мы над ними не властны.

Первое, что я сделал, – купил на скопившееся жалованье машину марки "форд". Моя мать, младшая сестра, ее муж (а она успела выйти замуж, пока я отсутствовал) и я отправились на новом автомобиле на три недели в Испанию. На обратном пути мы с матерью высадили их в Кале, а сами поехали дальше, в Голландию, где и провели еще месяц у родственников. Когда мы жили у моей тетушки в Роттердаме, подошел день встречи с человеком со станции Отпор.

Не помню уже, под каким предлогом, но тем утром я покинул дом и отправился в Гаагу, находившуюся не очень далеко, всего в получасе езды. Местом встречи был выбран сквер в конце Лаан-ван-Меердерворт, самого длинного проспекта Гааги, начинавшегося в центре города и заканчивавшегося в его южных предместьях. Я припарковал машину немного в стороне и, держа, как было условлено, в правой руке "Ниве Роттердамзе курант", медленно пошел в сторону сквера. Я был абсолютно уверен в отсутствии слежки. Сквер представлял собой маленький садик со скамейками, и на одной из них я увидел человека, с которым должен был встретиться. В руках он держал ту же газету, и я сел рядом. В этот час в садике было безлюдно. На скамейке неподалеку от нас, но вне слышимости, сидели две молодые женщины с маленькими детьми, игравшими тут же. Стояла чудесная погода, и они являли собой весьма мирную картину. Мой русский знакомый прежде всего осведомился о том, что произошло после моего возвращения в Англию, как меня приняли, и я рассказал ему о допросе в Военном министерстве и о встрече с шефом разведки. К тому времени я окончательно убедился, что никто из моих товарищей ничего не знал о переговорах в Манпхо и не предупредил власти. Также я был уверен, что свободен от каких бы то ни было подозрений и достаточно "чист" для дальнейшей работы в разведке. В начале сентября мне предстояло приступить к новой работе в Главном управлении.

Затем мы обсудили план нашей следующей встречи. Связной полагал, что ее лучше осуществить в Лондоне. Он подчеркнул, что, по сути дела, это не более опасно, чем в Голландии, ведь для регулярных поездок сюда мне каждый раз требовалось бы как-то объяснять свое отсутствие в течение, как минимум, двух дней. "Лондонский вариант" многое упрощал. Я нашел эти соображения не лишенными оснований, а кроме того, понял, что мне больше доверяют, и согласился. Следующая встреча должна была состояться в начале октября неподалеку от станции метро Белсайз-парк. Прежде чем уйти, я не удержался и обратил его внимание на один заголовок в бывшей у нас обоих газете. Крупным шрифтом оповещалось о том, что Берия, глава советской службы безопасности и разведки, арестован как английский шпион. Мой советский знакомый слегка смутился, так как, видимо, надеялся, что я не подниму этот болезненный вопрос, и поспешно стал объяснять, что я не должен понимать все буквально, что это только слухи и мне нечего бояться. Я быстро его успокоил, сказав, что и не думал понимать это буквально, иначе бы просто не пошел на контакт. Расстались мы вполне дружески, вся встреча заняла не более двадцати минут.

Я вернулся к машине кружным путем и поехал обратно в Роттердам, но не по автобану, а по проходящей через Делфт старой дороге, по которой мальчишкой часто ездил на велосипеде. Я ехал, любуясь зелеными лугами по ту сторону канала, раскинувшимися в легкой дымке раннего летнего утра до самого горизонта, и чувствовал огромное облегчение от того, что эта первая встреча прошла удачно. Я был уверен, что за мной не следили. Лишь семь лет спустя я понял, что вполне могло быть и не так. Проработав несколько лет в Берлине, я вновь получил тогда место в Главном управлении, и вновь на связь со мной в Лондоне выходил человек со станции Отпор. Мы уже хорошо знали друг друга, и наше взаимное доверие было полным. Однажды, когда мы с ним договаривались о срочных, незапланированных встречах, он сказал мне, что его фамилия Коровин, и дал номер своего домашнего телефона на случай, если мне необходимо будет срочно с ним связаться. Мне доводилось работать против некоторых советских учреждений в Великобритании, в том числе против советского посольства в Лондоне, и в силу служебных обязанностей я имел доступ к картотеке МИ-5, в которой мог найти досье на любого интересовавшего меня

сотрудника посольства. Естественно, я сразу же запросил досье на Коровина и, получив его, прочел с огромным интересом. Из досье я узнал, что Коровин имел чин генерала и был резидентом КГБ в Лондоне. До этого несколько лет он был советским резидентом в Вашингтоне. В досье приводилась обширная переписка между ФБР и МИ-5, в которой обе службы высоко отзывались о нем как об исключительно умном разведчике и достойном противнике. Но мое особое внимание привлекли письма, датированные летом 1953 года, которыми обменивались МИ-5 и служба безопасности Голландии. В июле этого года Коровин предпринял таинственную поездку в Голландию. Сначала за ним следили люди МИ-5, а затем их сменили голландцы, но ему все же удалось уйти от "хвоста", и они вновь напали на его след, лишь когда он сел на паром, направляясь обратно в Англию. Строилось много догадок о возможных целях поездки Коровина в Голландию... Что ж, ответ знал только я.

Не могу сказать, чтобы Коровин вызывал во мне такие уж теплые чувства. Для этого в нем было слишком много от волка в овечьей шкуре, но я искренне восхищался его профессионализмом, даже до того, как увидел досье. Я перефотографировал документ и во время очередной встречи подарил его Коровину. Надеюсь, он ему понравился, а заодно и впечатлил его московское начальство. Не сказал бы, что передача информации доставляла мне удовольствие, но на этот раз я действительно был рад показать моему советскому знакомому его собственное досье, в котором его противники столь высоко о нем отзывались.

Принято считать, что если разведчик хоть раз "засветился", то есть раскрыт противником, его польза, по крайней мере в той стране, где это произошло, равна нулю. Случай с Коровиным показывает, что это не всегда так. Разве не удивительно, что, хотя он был известен МИ-5 как резидент КГБ в Великобритании и за ним постоянно следили опытнейшие агенты, в распоряжении которых были скоростные автомобили и последние достижения радиосвязи, ему всегда удавалось уйти от "хвоста" и попасть на встречу со мной точно в назначенное время и в назначенном месте?

Однажды он рассказал мне, как это делается. Зная, что должен встретиться со мной в семь часов вечера, он покидал дом в восемь утра и весь день колесил по городу. В операцию было вовлечено несколько людей, машин и надежных квар-

тир, она требовала много сил и времени, но всякий раз успешно завершалась. Так что впоследствии моя деятельность получила огласку не в результате слежки, а из-за предательства.

В конце лета я повез мою старшую сестру отдыхать во Францию. Мы остановились в Париже, в гостеприимном доме Жана Мидмора и его матери, и навестили месье Перрюша, благополучно вернувшегося к жене и детям, по которым он так тосковал, и отдыхавшего с ними в деревне на берегу Луары. Короче говоря, это был очень приятный отпуск, отмеченный многочисленными обедами и ленчами в маленьких гостиницах и ресторанах.

Вернувшись в Англию, я продолжал встречаться с моими товарищами по Манпхо, пока жизнь не разлучила нас. Наши семьи часто встречались, и мы вместе завтракали. Мистер Холт был посвящен в рыцари и назначен послом в Сальвадоре. Два года спустя он вышел в отставку и уехал к морю, в Клектон, где и поселился, а еще через шесть месяцев внезапно умер от сердечного приступа. Филип Дин получил новое назначение в США, покинул Англию, и больше я его не видел. Норман Оуэн примерно через год после возвращения серьезно заболел чем-то настолько странным, что никто не мог поставить диагноз. Он медленно угасал и после долгой болезни умер в больнице, так и не успев толком насладиться семейной жизнью, о которой столь страстно мечтал.

В сентябре 1953 года я приступил к работе в отделе "Y" и вскоре с головой ушел в свои новые обязанности и новую жизнь. Важной частью этой жизни были встречи с моим советским напарником и передача ему перефотографированных документов.

Сначала я довольно сильно нервничал, когда мне приходилось фотографировать документы, но человек ко всему привыкает, и мои опасения постепенно прошли. Конечно, всегда оставался риск, что меня могут поймать с поличным, но этой беды, как мне казалось, я мог избежать. Обычно я выбирал для этого время, когда секретарши из соседней комнаты уходили перекусить, или дожидался конца рабочего дня, когда все уходили, а я притворялся, что собираюсь поработать подольше. Еще одна предосторожность состояла в том, что я открывал дверь в приемную, через которую должен был прой-

ти каждый желавший попасть в мой кабинет, так что, если бы кто-нибудь пришел, я вовремя бы его услышал и успел спрятать фотоаппарат. Что я ощущал, фотографируя документы с грифом "совершенно секретно"? Ничего. Я как будто просто переставал существовать, сосредоточившись на выборе экспозиции и расстояния, превращаясь в ничто, в глаз, смотрящий через объектив, и в палец, нажимающий на кнопку спуска.

В те времена было много разговоров об измене. За год до этого два английских дипломата, Берджисс и Маклейн, бежали в Россию, они наверняка были советскими агентами. Некто Филби, работавший, как мне казалось, в Министерстве иностранных дел, подозревался в том, что помог им скрыться. Все это я услышал впервые, вернувшись из Кореи. Позднее я узнал, что Филби служил в Интеллидженс сервис, но я никогда не видел его и ничего о нем не знал. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что меня не было пять лет и что мы работали в разных сферах: он в контрразведке, а я в разведке.

Естественно, дело Берджисса и Маклейна довольно часто являлось темой для разговоров в кругах разведки и Министерства иностранных дел, и, честно говоря, мне это не нравилось, я принимал подобные истории слишком близко к сердцу, чувствовал себя неуютно и по мере возможности старался избегать их.

Весной 1954 года моя работа в отделе "Y" прервалась из-за недолгой командировки за рубеж. В начале мая этого года министры иностранных дел США, СССР, Великобритании, Франции и Китая собрались в Женеве с целью найти пути урегулирования военных конфликтов в Корее и Индокитае. Глава резидентуры в Берне немедленно предложил подключиться к телефонам советской и китайской делегаций в надежде получить ценную информацию, могущую повлиять на ход переговоров.

Конечно же, представителю Интеллидженс сервис, работающему в нейтральной стране, не под силу осуществить операцию подобного характера и масштаба без молчаливого согласия, а то и активной помощи службы безопасности этой страны. В данном случае такой проблемы не возникло благодаря прекрасным отношениям (на всех уровнях) между британской разведкой и швейцарской Сюрте.

Проект выглядел многообещающе и был быстро одобрен. Так как не было сомнений в том, что через наши руки может

идти сверхважная, а потому срочная информация, возникла необходимость быстро набрать небольшую группу дешифровальщиков. Для этой цели отобрали двух отличных переводчиков с русского, я же должен был изучать материалы для определения наиболее важных.

Наша группка, состоявшая из пожилой армянки, молодой, довольно привлекательной женщины, румынки по рождению, и меня, разместилась в маленькой квартире в одном из предместий Женевы, недалеко от берегов знаменитого озера. В нашем распоряжении было два магнитофона для прослушивания записей и несколько столов, большего нам и не требовалось. Обе женщины работали и ночевали в этой квартирке, я же жил неподалеку в маленькой гостинице. Конечно, у нас не было контактов с официальной британской делегацией, и в конференции мы не участвовали. Все свободное время, когда оно выдавалось, мы осматривали великолепные женевские пригороды.

Примерно через неделю изучения материалов стало ясно, что если кто и надеялся потрясти министра иностранных дел некой сенсационной информацией, способной в корне изменить позицию западных держав в переговорах, то он жестоко просчитался. Персонал коммунистических миссий был крайне осторожен в телефонных разговорах. Они никогда не обсуждали ничего, имевшего хотя бы отдаленный намек на их тактику за столом переговоров или уступки, на которые они готовы были пойти. Беседы велись лишь на общие темы вроде встреч глав делегаций, обедов и коктейлей, официальных приемов, расходов, путешествий и вопросов транспорта.

Тем не менее это не означало, что операция не принесла никакой пользы. Более глубокое изучение материалов, которое я сумел завершить тем же летом к концу конференции, дало достаточно интересную косвенную информацию о взаимоотношениях между коммунистическими делегациями в целом и между их отдельными членами. Так, например, стало ясно, что советская и китайская делегации общались совершенно на равных. Персонал обеих миссий был крайне почтителен друг с другом: "Не затруднит ли товарища Чжоу*,

---

* Чжоу Эньлай (1898–1976), премьер Государственного административного совета КНР в 1949–1954 годах, премьер Государственного совета КНР с 1954 года; в 1956–1966 и с 1973 года – заместитель Председателя ЦК Коммунистической партии Китая.

если товарищ Молотов нанесет ему сегодня визит?" – спрашивает личный секретарь главы русской делегации. "Ну что вы!" – отвечает его китайский коллега. – "Но если вам удобнее, то товарищ Чжоу может сам посетить товарища Молотова". – "Нет, нет, вы очень любезны. Товарищ Молотов прибудет на виллу к четырем часам".

Между Женевой и Москвой поддерживалась постоянная связь. В основном это были официальные согласования и уточнения, но велись и частные разговоры с женами и родственниками. Последние позволили выявить совершенно неожиданную и, пожалуй, несколько старомодную черту "несгибаемого" Молотова: он был очень предан семье и часто подолгу разговаривал со своей женой. Они обсуждали трудности, возникшие у их замужней дочери с кормлением малыша, причем Молотов порой давал дельные советы. Также он вел долгие беседы со своим шестилетним внуком, терпеливо выслушивая его подробные рассказы о том, чем тот занимался.

Тогда же я впервые столкнулся с системой советского "телефонного права", аналогичной, кстати, британской и столь же широко распространенной. Однажды вечером жена Молотова сказала ему, что у сына одного ее знакомого возникли сложности с поступлением в МГУ. Не мог бы он позвонить ректору и все уладить? Довольно неохотно Молотов согласился.

Вскоре после того как был записан этот разговор, конференция закончилась, и мы вернулись в Лондон.

Как уже упоминалось, начав работать в отделе "Y", я стал приглашать самую молодую секретаршу, Джиллиан Аллан, пообедать или сходить вместе в театр. Она мне очень нравилась, и так как это чувство оказалось взаимным, наша дружба постепенно и как-то незаметно переросла в более серьезные отношения. Мы часто виделись как в офисе, так и вне его. Она жила с родителями в Уэйбридже, и я стал частым гостем в их доме. Отец Джиллиан, полковник Аллан, тоже сотрудник Интеллидженс сервис, был, как и я, связан с работой против СССР и говорил по-русски. Язык он выучил во время службы в британских экспедиционных войсках в России в годы интервенции. Все это как-то сближало нас, и они с женой явно одобряли мою дружбу с их младшей дочерью. После моего возвращения из Женевы стало совершенно ясно, что мы любим друг друга и что наиболее

естественным шагом было бы пожениться. В разведке приветствовались подобные браки: они позволяли сохранять все в семье и избегать накладок, происходящих, когда сотрудник женится "на стороне". (Мне было любопытно узнать, что в КГБ точно так же относятся к "служебным" бракам.)

Джиллиан была на десять лет моложе меня; высокая, темноволосая, привлекательная, она во всех отношениях могла бы стать идеальной женой. Ничто не мешало нашему браку, кроме одного: я отдавал себе отчет в том, что жениться было бы в моем положении верхом безответственности. Из-за этого я не мог допустить, чтобы дело зашло слишком далеко. Но как же быть? Я столкнулся с ужасной дилеммой, и меня мучила совесть. Девушка получила традиционное английское воспитание, и ее политические взгляды, если они у нее вообще имелись, были наверняка консервативными. Она бы пришла в ужас, узнай, что я – советский агент. Кроме того, это означало бы поставить ее перед выбором, непосильным для юной неопытной девушки. Ей пришлось бы или предать меня, любимого человека, или предать родину, верность которой всасывается с молоком матери. С другой стороны, если я порву с ней без убедительных причин, она никогда этого не поймет, и наш разрыв будет для нее страшным ударом.

Я сделал несколько слабых попыток отдалиться от нее, сказав, что я наполовину еврей, а ее отцу, презиравшему евреев, черномазых и итальяшек, это вряд ли понравится. Когда и это не помогло, я решил выбрать из двух зол меньшее и стал готовиться к свадьбе. Стараясь успокоить свою совесть, я говорил себе, что оказался в том же положении, что и солдат во время войны, который женился перед тем, как его послали на фронт. Я утешал себя надеждой, что все обойдется и ничего страшного со мной не произойдет.

В октябре 1954 года преподобный Джон Стотт, известный в то время проповедник, обвенчал нас в церкви Св. Петра на Норт-Одли-стрит. Мы провели медовый месяц на юге Франции, а вернувшись, поселились в квартире моей матери на Баронз-корт.

Много лет спустя, когда я был уже в тюрьме и моя жена обо всем узнала, она сказала, что мое решение было правильным. Мои сыновья, которых я увидел вновь лишь через двадцать с лишним лет и все им рассказал, рассудили так же. Это служит мне некоторым утешением, однако не сни-

мает с меня вины перед женой, да и всей семьей за те боль и горе, которые я им причинил.

Выяснив, что мне удалось получить всю оперативно-разведывательную информацию, которой располагал отдел ''Y'', я дал понять, что хотел бы работать за рубежом. Так как реорганизация отдела ''Y'' в связи с операцией "Берлинский туннель" предполагала, что мое место "номера два" все равно должен был занять американский коллега, это, похоже, всех устраивало. В начале 1955 года я получил назначение в Берлин.

Глава восьмая

Берлинская резидентура была самым крупным филиалом Интеллидженс сервис за рубежом. Причины этого очевидны: западный сектор Берлина представлял собой маленький остров, аванпост западного мира на коммунистической территории. Расположенный в самом сердце Германской Демократической Республики, он находился в непосредственной близости от большого контингента советских войск, как наземных, так и ВВС. Но еще более уникальным было то, что, по крайней мере до 1961 года, когда была возведена берлинская стена, здесь не было четко установленной границы, как таковой, отделявшей этот аванпост от окружающей его территории. И хотя граница зоны действительно пролегала между двумя странами, а по сути между двумя мирами с диаметрально противоположными идеологиями и экономическими системами, можно было без труда попасть из Западного Берлина в Восточный и обратно, как, скажем, с Хаммерсмит на Пиккадилли. На главных улицах были контрольно-пропускные пункты, не мешавшие, впрочем, передвижению людей в обоих направлениях. В метро никакой проверки вообще не было. Все это делало Берлин идеальным центром разведывательной деятельности, и предоставлявшиеся здесь возможности использовались по максимуму.

Наряду с широкой агентурной сетью английской, французской и, конечно же, американской разведок здесь уверенно действовали и "новички" – западногерманские секретные службы.

Все они, одни с величайшим профессионализмом, другие безнадежно дилетантски, засылали бесчисленных агентов в

Восточную Германию с самыми разнообразными целями и заданиями. К этому, конечно же, необходимо добавить, что восточные разведки, и в первую очередь советская и восточногерманская, отнюдь не были менее активны. Таким образом Берлин превратился в настоящий шпионский клубок, нити от которого расходились во все стороны. Создавалось впечатление, что по крайней мере каждый второй взрослый берлинец работал на ту или иную разведку, а то и на несколько сразу.

Помимо благоприятных для работы условий, сложившихся в результате специфического положения Берлина, статус Великобритании как одной из оккупационных сил давал Интеллидженс сервис ни с чем не сравнимые финансовые и административные преимущества. Эта разведка действовала в Берлине, используя в качестве прикрытия не дипломатические службы, а армию или Контрольную комиссию. Обе организации располагали возможностями для того, чтобы, не привлекая внимания, предоставить "крышу" любому количеству сотрудников, необходимых для берлинской резидентуры. Финансовые соображения также не имели значения: расходы на содержание всего штата разведки покрывались оккупационными издержками, то есть полностью за счет немецких налогоплательщиков. Всем этим пользовались без ограничений.

Вскоре после моего прибытия летом и осенью 1955 года состоялся целый ряд совещаний и встреч для обсуждения реорганизации филиала Интеллидженс сервис в Германии и перераспределения обязанностей между различными резидентурами. Главным обсуждавшимся вопросом были пути достижения основной задачи Интеллидженс сервис: проникновение в СССР и другие социалистические государства в меняющихся условиях постсталинской эры. С каждым годом становилось все очевиднее, что военные конфликты нежелательны, а надо готовиться к затяжной "холодной войне", которая может продлиться несколько десятилетий.

В этих соображениях важное место отводилось Берлину. Именно здесь, как полагали, сложились наиболее благоприятные условия для контактов с советскими гражданами и контингентом вооруженных сил. И главное наступление должно вестись именно отсюда. Считалось, что другими подходящими для подобных операций территориями были Финляндия, Индия, Австрия и, возможно, Бонн. В этих точках оживленнее, чем где бы то ни было, происходило общение советского

дипломатического корпуса с местными политическими и общественными деятелями, и нашим агентам было проще установить с ними связь.

В ходе берлинских совещаний Джордж Янг, один из самых энергичных и деятельных заместителей шефа разведки, изложил два основных направления, по которым отныне и впредь должна действовать британская разведка: во-первых, добывать политическую информацию, чтобы судить о намерениях Советов; во-вторых, получать научные разведданные, чтобы следить за прогрессом СССР в области вооружений.

Тогда же Янг составил служебную записку, в которой изложил свой взгляд на роль агента в современном мире, взгляд, как мне кажется, рисующий слишком лестный образ шпиона, однако содержащий и долю правды. Вот фрагмент этой записки.

> "В прессе, парламенте и ООН ведутся нескончаемые возвышенные разговоры о приоритете закона, цивилизованных отношениях между народами, распространении демократических процессов, самоопределении и национальном суверенитете, уважении к правам человека и человеческому достоинству.
>
> Действительность же, как всем нам прекрасно известно, совершенно противоположна, и ее неотъемлемыми чертами являются растущее беззаконие, нарушение международных соглашений, жестокость и коррупция. Ядерный тупик сочетается с духовным.
>
> Именно разведчик призван выравнять положение, созданное разногласиями министров, дипломатов, генералов и священников.
>
> Конечно, человеческий разум формируется под влиянием окружения, но мы, разведчики, хотя и окружены профессиональной тайной, живем ближе к реальности, чем прочие практики или правительство. Мы относительно свободны от проблем, связанных с общественным положением, конкуренцией, ведомственной зависимостью и уклонением от личной ответственности, что позволяет нам мыслить по-государственному. Нам нет нужды, подобно членам парламента, упражняться в искусстве произнесения штампов, изящных ответов и ослепительных улыбок. И неудивительно, что сегодня разведчик оказывается главным хранителем моральной чистоты".

Личный состав берлинской резидентуры насчитывал около ста офицеров, секретарей и помощников. У каждого офицера была машина, и ежедневно они разъезжались в разные стороны от Олимпийского стадиона, где размещался штаб британских оккупационных войск, торопясь на тайные встречи на углах улиц, у станций метро, в кафе, ночных клубах или на явочных квартирах в западной части города.

Резидентура состояла из нескольких подотделов, у каждого из которых были свои функции. Так, один из них отвечал за сбор политических разведданных и внедрение агентов в Штаб советских оккупационных войск в Карлсхорсте (пригород Восточного Берлина). Другой собирал информацию о советских и восточногерманских вооруженных силах. Задачей третьего являлась исключительно научная разведка. И наконец, был подотдел, в ведении которого находились разработка и проведение всякого рода технических операций.

Я оказался в группе, отвечавшей за политическую разведку против СССР и проникновение в советский штаб. В этой связи моей задачей было стараться установить контакт с русскими служащими в Восточном Берлине, особенно с сотрудниками советских разведслужб, с целью их последующей вербовки в качестве агентов Интеллидженс сервис.

Это было проще сказать, чем сделать. Русские редко появлялись в Западном Берлине, да и то в основном по служебным делам, хотя, конечно, многим хотелось бы там побывать. Русским не чуждо ничто человеческое, а Западный Берлин мог предложить много соблазнов: хвастливо выставленную напоказ бьющую ключом ночную жизнь, хорошие рестораны, бары, кафе и великолепные магазины с грудами сверкающих товаров на витринах.

Русские власти прекрасно понимали, какая опасность таится за яркими огнями Западного Берлина, и, естественно, всячески уговаривали своих сограждан не пересекать границу сектора, хотя и не могли физически помешать им делать это. Помимо опасения вызвать крайнее недовольство своего начальства было еще одно вполне конкретное препятствие, мешавшее русским посещать ночью Западный Берлин: деньги. Курс восточной марки был во много раз ниже, чем западной, из-за чего все в Западном Берлине становилось недоступно дорогим для русских и восточных немцев. Британские власти, в свою очередь, не советовали англичанам бывать в Восточном Берлине, разве только организованными туристичес-

кими группами. Что же касается сотрудников разведки, причастных к государственным тайнам, то им вообще категорически запрещалось появляться там. Но если нам нельзя к ним, а им нельзя к нам, то как же мы встретимся? В поисках решения этой задачи ушло много времени и сил, было перепробовано несколько вариантов, но в итоге все свелось к тому, что следует играть на человеческих слабостях.

Русских интересовали шелковые чулки и нижнее белье, ювелирные изделия, часы и фотоаппараты, и нам это было известно. А так как все это им приходилось доставать с большим трудом, Интеллидженс сервис решила немного помочь. План предусматривал открыть недалеко от границы сектора магазин, в котором были бы все необходимые товары. Размещенный в роскошной квартире, с улицы он ничем не напоминал магазин, а покупателей предстояло привлекать зазывалам, специально нанятым по этому случаю нашим главным немецким агентом, взявшим на себя роль хозяина магазина и дельца черного рынка. Зазывалы не знали, что по сути они работают на британскую разведку.

Выбранного для этой работы агента звали Траутманн, у него были обширные связи на берлинском черном рынке и в преступном мире. Его любовнице предстояло помогать ему и заниматься магазином, когда Траутманн будет в отлучке по делам.

Идея заключалась в том, что, когда какой-нибудь русский войдет в магазин, сделать все возможное для того, чтобы он заинтересовался и заказал товар. Ему следовало пообещать, что вещь постараются достать только для него. В магазине специально не должно быть запасов, так как замысел заключался в том, чтобы побудить русского прийти опять и по возможности привести с собой друзей и знакомых. С этой целью ему предлагались выгодные условия оплаты купленного товара и обмена валюты. И вот, выбрав подходящий момент, который мог представиться во время первого посещения, если покупателя удавалось подольше задержать в магазине, или одного из последующих, Траутманн должен был представить ему своего друга. На самом деле это был сотрудник берлинской резидентуры, срочно вызванный по телефону. Он представлялся как знакомый Траутманна, говорил, что знает русский язык и пришел, дабы помочь в переговорах. В задачу сотрудника входило воспользоваться случаем и заинтересовать русского до такой степени, чтобы их случайный

контакт перерос в постоянные отношения. Это, как надеялись, должно было привести к вербовке и дать Интеллидженс сервис вполне сознательно действующего агента в советском штабе в Карлсхорсте или в любом другом советском учреждении на территории Восточной Германии, а то и непосредственно в Москве.

Достижение этой цели во многом зависело от умения разведчика нащупать слабые струнки и пристрастия своих жертв и сыграть на них. Начать можно было с незаконных сделок, женщин или других слабостей. Но касаться подобных вопросов было вовсе не обязательно. Если к желаемому результату приводит общее увлечение искусством или спортом, тем лучше. Вот в общих чертах то, что стояло за планом открытия магазина.

Он ни разу не сработал. Мы так и не встретились в нашем магазине с русскими, зато сами чуть было не стали жертвами обмана.

Однажды субботним вечером, вскоре после моего вступления в новую должность, у меня в квартире зазвонил телефон. Это был Траутманн. В магазине находилась русская женщина, причем пришла она уже вторично. Хочет купить шубу. Не мог бы я приехать и поговорить с ней? Я бросился к машине и погнал ее к магазину, расположенному в невысоком доме с обшарпанными стенами неподалеку от контрольно-пропускного пункта на Фридрихштрассе.

Раздвинув тяжелые бархатные портьеры, я вошел в мягко освещенную комнату, где подруга Траутманна беседовала с хрупкой светловолосой девушкой. Меня представили ей как герра Стефана, этим именем я пользовался иногда в подобных ситуациях. Она широко улыбнулась и ответила: "Нина". Девушка не была красивой, но обладала ладной небольшой фигуркой, что делало ее довольно привлекательной. Она была одета в дешевый синий костюм, и все вроде бы говорило за то, что перед нами русская. Сначала мы говорили по-немецки, язык она знала хорошо, хотя и чувствовался сильный славянский акцент, а затем перешли на русский. Им она владела свободно, но допускала грамматические ошибки, что показалось мне несколько странным. Появился Траутманн, и беседа, начавшаяся с шубок, приняла более общий характер. Хозяин достал бутылку бренди, я играл свою роль, Нина же откровенно кокетничала.

Когда бутылка была выпита, Траутманн предложил всем

вместе отправиться в ночной клуб. Нина с готовностью согласилась.

Остаток вечера я провел, танцуя с ней в маленьком дансинге. Она сообщила, что имеет чин лейтенанта и работает инспектором на телефонном узле в Карлсхорсте. Нина жила в гостинице и могла распоряжаться своим свободным временем, как ей заблагорассудится. В Западном Берлине она всего второй раз. К концу вечера мое подозрение, что Нина вовсе не русский лейтенант, значительно окрепло, но выяснить все окончательно я мог, лишь попытавшись встретиться с ней вновь.

Я не мог не заметить, что Нина проявляет ко мне некоторый интерес, и во время одного из танцев попросил ее встретиться со мной как-нибудь вечером. Она сразу же согласилась, и мы договорились о свидании в следующую среду у одной из станций метро.

Докладывая в отделе о результатах встречи, я не преминул сказать о серьезных сомнениях в том, что Нина действительно советский офицер, и предложил проследить, куда она пойдет после нашей встречи. Если ее пропустят на советскую территорию в Карлсхорсте, то с определенной уверенностью можно будет сказать, что она та, за кого себя выдает. Если нет, подумаем, что делать дальше.

В среду вечером Нина пришла в условленный час, одетая на этот раз более нарядно. По дороге в ресторан, где я предложил пообедать, немного позади я заметил высокую фигуру шефа немецкого частного сыскного агентства, услугами которого мы всегда пользовались для подобных целей. Вечер прошел превосходно. Около одиннадцати мы покинули ресторан. Не думаю, чтобы Нина ответила "нет", пригласи я ее к себе. Но я сделал вид, что очень волнуюсь за ее безопасность и за то, чтобы она вовремя вернулась в Восточный Берлин. Мы договорились встретиться на следующей неделе. В метро, помахав ей на прощание рукой, я увидел нашего сыщика, устроившегося в другом конце того же вагона.

На другой день был получен его отчет. Нина вышла на следующей станции, задолго до того, как поезд должен был достичь границы сектора. Затем она села в автобус до Грюневальда, расположенного в американской зоне, сошла недалеко от штаба и, направившись к одной из близлежащих улиц, где жили только американцы, вошла в дом, открыв его своим ключом. Последующее расследование показало, что этот дом занимал хорошо знакомый нам офицер ЦРУ, в контакте с ко-

торым мы часто работали. Нина, служившая у него горничной, была беженкой из прибалтийской республики, что объясняло ее знание русского и славянский акцент в немецком. Мы заподозрили, что она могла оказаться одной из бесчисленных знакомых Траутманна и что это он уговорил ее прикинуться "перспективной" русской покупательницей, вместо того чтобы блюсти наши интересы в истории с магазином. Однако Траутманн все отрицал, заявил, что ничего об этом не знает, а Нину привел один из зазывал.

Вскоре операции "Магазин", авторитет которой и так сильно пострадал после случая с Ниной, был нанесен новый удар, от которого она уже не оправилась.

Однажды утром мы обнаружили, что Траутманн и его подруга исчезли. Никого не предупредив, не оставив записки. Следов насилия в квартире также обнаружено не было, они ушли без спешки, прихватив свои вещи и небольшой запас товаров. Так как и продавщица, и товар пропали, магазин пришлось закрыть. Мы обратились в берлинскую полицию с просьбой негласно выяснить местонахождение парочки.

Несколько дней спустя берлинские газеты запестрели крупными заголовками: Траутманн перебежал в Восточную Германию, на которую он, видимо, и работал последнее время. Там он дал интервью корреспондентам коммунистической прессы, рассказав все о своем сотрудничестве с Интеллидженс сервис, включая скандальные подробности о магазине, его адрес и истинное предназначение.

В Берлине я возобновил регулярные встречи с представителем советской разведки. На нашу первую встречу, о которой мы договорились еще до моего отъезда из Лондона, человек, ставший мне позднее известным как Коровин, привел своего сотрудника и представил его, сказав, что выходить на связь теперь будет он. Встречаться в Берлине с советскими разведчиками было гораздо менее опасно, чем в Лондоне, да и удобнее. Единственное правило, которое мне приходилось нарушать, – это запрещение офицерам британской разведки появляться в Восточном Берлине. С другой стороны, это было всего лишь одной из нескольких нелегальных встреч, которые мне приходилось проводить ежедневно, и риск попасться был не так уж велик. Я располагал поддельным немецким удостоверением, выданным мне английскими

властями в связи с моей работой в разведке, и в случае, если у меня потребуют документы, я всегда мог предъявить его. Сев в поезд метро за две или три станции до границы сектора, я выходил на второй или третьей остановке уже на территории Восточного Берлина, обычно на Шпитальмаркт. К семи часам центр города, в те годы еще лежавшего в руинах, был совершенно безлюден. Я неторопливо шел по тротуару мимо домов, от которых остались одни стены, пока рядом со мной не тормозил большой черный автомобиль с задернутыми занавесками и приоткрытой дверцей. Я быстро садился, и он мчал меня на конспиративную квартиру в окрестностях Карлсхорста. Там нас ждал накрытый для легкого ужина стол, и за едой и питьем мы обсуждали наши дела. Прежде всего я отдавал отснятые пленки и брал новые, которых мне должно было хватить до следующей встречи. Кроме того, всегда приходилось отвечать на вопросы и давать пояснения к ранее переданным материалам. Так в полной безопасности и за спокойной беседой проходило около часа, затем меня отвозили назад в центр города, высаживали неподалеку от станции метро, и десять минут спустя я был уже в Западном Берлине.

Моего нового связного звали Дик. Не знаю, почему он выбрал это английское имя, говорили мы всегда по-русски. Дик был коренастым мужчиной лет пятидесяти, с бледным лицом и приветливым выражением глаз, смотревших сквозь толстые стекла очков в роговой оправе. Вел он себя спокойно и немного по-отечески, всегда внимательно выслушивал собеседника, а его соображения, когда он считал нужным их высказать, были тщательно взвешены. За пять лет наших ежемесячных встреч я очень полюбил его и искренне огорчился, когда, завершив работу в Берлине, должен был попрощаться с ним. Больше мы никогда не виделись. Оказавшись в Москве, я сразу спросил о нем, и мне ответили, что несколько лет назад он умер от рака.

В отношениях как с Диком, так и с другими офицерами КГБ, с которыми мне приходилось иметь дело, меня поражало их почти полное "невмешательство" в мою работу. Проведение операций целиком зависело от меня самого. Они никогда не давали мне указаний, что делать, и абсолютно верили передаваемой мною информации. Мне казалось, что это противоречит общеизвестной советской практике: никогда не принимать решений, не получив санкции вышестоящего начальства. Мой двадцатипятилетний опыт жизни в Совет-

ском Союзе подтвердил, что это действительно отличительная черта и слабость всей системы. Даже самые, казалось бы, пустяковые вопросы не решаются без предварительного согласования с "руководящими товарищами", часто из высшего эшелона власти. Отход от этого принципа в моем случае могу объяснить лишь тем, что я был профессиональным разведчиком и они верили в мою способность наилучшим образом сориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Если встречаться с советским связным в Берлине было проще, чем в Лондоне, то в отношении фотокопий дело обстояло иначе: в отделе "Y" у меня был собственный кабинет, здесь же приходилось делить его с коллегой. Из-за специфики работы присутствие в офисе не отличалось регулярностью, и я никогда не мог точно знать, когда мой коллега, если его не было на месте, может вернуться. Если же, вернувшись, он нашел бы дверь запертой изнутри, у него были бы все основания очень удивиться. Тем не менее я постоянно ждал возможности для фотографирования и чаще всего не напрасно, хотя иногда, в случаях крайней срочности, мне приходилось сознательно идти на риск и уповать на то, что все обойдется. Зато раз в шесть недель сам собой представлялся отличный случай для снятия фотокопий: подходил мой черед заступать на дежурство. Я оставался на всю ночь один в здании, у меня были ключи и шифры от сейфов, к которым в другое время я доступа не имел. Я мог спокойно работать, не опасаясь быть застигнутым врасплох. Никто не мог войти в здание без предупреждения, и впустить кого-либо мог только я.

Если операция с магазином обернулась провалом, то случай с Борисом, по крайней мере на время, увенчался полным успехом.

Я познакомился с Борисом через человека по кличке Микки. В самом деле, он очень напоминал Микки Мауса — такой же маленький, шустрый, кривоногий и лопоухий. Не будь выражение его лица столь жизнерадостным, его можно было бы назвать крысиным.

Когда Микки достался мне от моего предшественника, он уже некоторое время работал на разведку. От случая к случаю его навещали многочисленные знакомые из Восточного Берлина, откуда он и сам был родом, и пересказывали ему обрывки политических и экономических сплетен, которые он преподносил нам как последние донесения своих агентов.

Несмотря на ничтожную ценность подобных сведений, ему аккуратно выдавали небольшую зарплату и некоторые суммы для агентов.

У Микки была молодая симпатичная жена, которая, независимо от него, тоже являлась агентом разведки. Еще подростком она участвовала в одной из восточногерманских операций ЦРУ. Вмешательство русских привело к провалу, ее арестовали и приговорили к двадцати пяти годам принудительных работ в Сибири. Через пять лет, попав под амнистию, она вернулась в Восточную Германию, осела в Западном Берлине, где вскоре встретила Микки и вышла за него замуж. Я пишу о Микки и его жене довольно подробно, потому что позднее они сыграли свою роль в событиях, приведших к моему аресту.

Я работал с ним уже около года, когда русский связной предупредил меня, что Микки и его жена перевербованы ГРУ, советской военной разведкой. Таким образом, они являлись двойными агентами, и мне следовало помнить об этом, имея с ними дело. Сами они, конечно же, и понятия не имели, что я тоже работаю на Советы. Считая вербовку Микки совершенно бесполезной, я ничего не мог поделать, так как была вовлечена родственная организация. С другой стороны, большого значения это не имело, и все осталось, как есть.

Западная граница сектора проходила через Веддинг, рабочий район, превращенный большей частью в груду развалин массированными бомбежками и артобстрелами. В первые же послевоенные годы здесь вырос целый городок мелких магазинчиков, торговавших всякой всячиной – от готового платья до старой мебели. Вперемежку с магазинами работали дешевые кафе, дансинги и прочие увеселительные заведения. Это нагромождение грязных и переполненных лачуг стало прибежищем проституции и черного рынка. Здесь-то и проводил Микки почти все время. Среди его знакомых был один еврей, владелец магазина готового платья, часто посещаемого жителями Восточного Берлина, а иногда и русскими. По моему настоянию Микки устроился к нему продавцом на неполный рабочий день для поиска полезных контактов среди покупателей.

Уже некоторое время мы с моим русским связным обсуждали возможность введения в игру настоящего советского сотрудника, которого я мог бы в итоге "завербовать" как полноценного агента. Это было бы очком в мою пользу и дало

бы дополнительную связь с КГБ, к которой в случае крайней необходимости я мог прибегнуть. Теперь для установления моего предварительного контакта с советским сотрудником мы решили использовать Микки с его магазином. Русский не будет ничего знать обо мне, но получит инструкции проявить сговорчивость.

Однажды Микки попросил меня о встрече и сообщил, что в магазин, где он работает, приходил один русский и хотел купить куртку на меховой подкладке. На складе магазина такой не оказалось, но Микки пообещал достать и попросил русского зайти еще раз на следующей неделе. Я велел Микки купить хорошую куртку в одном из самых дорогих магазинов на Курфюрстендамм и продать ее русскому за полцены.

Примерно через неделю русский вновь объявился, остался явно доволен курткой и тут же купил ее. Затем он сказал Микки, что хотел бы приобрести для своей жены швейцарские часы, но не сможет себе позволить слишком дорогие. Микки обещал подобрать что-нибудь подходящее и попросил зайти через три дня. На этот раз он решил назвать цену, несколько превышавшую ту, что могла бы устроить русского, а потом предложить выход из возникшего финансового затруднения: у него есть приятель, покупающий икру. Если русский сможет принести дюжину банок, то это и послужит платой за часы.

Русского сделка устроила, и он обещал в следующий раз принести икру. Мы сочли это подходящим случаем для моей встречи с ним. Микки пригласит его к себе домой выпить. Если он согласится, то в разгар вечера появлюсь я, чтобы забрать икру.

И вновь все прошло по плану. Когда я пришел, вино и коньяк были уже на столе, и царила оживленная атмосфера. Русский, прекрасно говоривший по-немецки, сказал нам, что зовут его Борис, что он экономист и работает в советском хозяйственном управлении в Восточном Берлине. Я обронил невзначай, что немного говорю по-русски, и мы сразу же перешли на этот язык. В тот вечер я представился как Де Врис, голландский журналист, работающий корреспондентом одной из берлинских газет.

Около десяти мы оба ушли от Микки, и я проводил Бориса до ближайшей станции метро. По дороге, когда мы проходили мимо слабо освещенного входа в ночной клуб, я спросил его, был ли он когда-нибудь в подобном заведении. Борис

ответил, что нет, и я предложил побывать в одном из клубов в его следующий визит в Западный Берлин. Он, не долго думая, согласился, и мы договорились встретиться на следующей неделе.

Так начались наши отношения, которые длились несколько лет и прервались лишь с моим арестом. Отныне я сам встречался с Борисом, Микки вышел из игры. Его поблагодарили за хорошую работу и выписали чек на 500 марок.

Во время последующих встреч с Борисом, приезжавшим в Западный Берлин каждые три недели, я общался с ним как журналист, больше заинтересованный в сборе информации, чем в делах черного рынка. Сначала я приглашал его в тихие, но хорошие ресторанчики или маленькие уютные ночные клубы, где можно было скоротать вечер за бутылкой мозельского. Ни Борис, ни я никогда не напивались. Позднее я снял небольшую меблированную квартиру, и наши встречи с выпивкой продолжились там. Борис стал свободнее говорить о своей работе, рассказал, что приехал в страну в качестве старшего переводчика по линии СЭВ и что в его обязанности входило обслуживать переговоры на высшем уровне между СССР и ГДР и сопровождать представительные советские делегации. Хотя я и доставал для его жены дорогие вещи в обмен на икру, которую он продолжал мне носить, мы оба прекрасно знали, что на самом деле меня интересовала доступная ему информация. Борис, казалось, принял мои объяснения, что она нужна мне как базовый материал, и заверения в том, что ничего из сказанного им не появится в моей газете.

Разведданные, получаемые от него таким образом, носили в основном экономический, хотя иногда и политический характер и были с энтузиазмом восприняты в Лондоне. Главное управление осталось очень довольно и полагало, что Борис подает большие надежды и заслуживает самого пристального внимания. Хотя он и не был еще "нашим человеком" в Кремле, все говорило за то, что он может стать таковым. Его роль переводчика, обслуживающего важные переговоры на высшем уровне, ни у кого не вызывала сомнений. Время от времени Лондон передавал мне специальные задания, касающиеся некоторых вопросов современной обстановки, и почти всегда Борис возвращался с необходимой информацией.

Так было почти два года. Но вот однажды вечером он сказал мне, что в конце месяца возвращается в Россию. Его пе-

ревели в штаб-квартиру СЭВ в Москве. Это означало повышение по службе, его новая работа предусматривала поездки по зарубежным странам для сопровождения советских высокопоставленных делегаций.

В его последний визит я устроил прощальный обед и подарил ему дорогую перьевую ручку. Кроме того, я дал ему адрес в Голландии, на который он мог писать, и сказал, что, если во время его поездок на Запад у него возникнут проблемы с карманными деньгами или с валютой, я всегда смогу помочь.

Мы встретились вновь более чем год спустя. К этому времени я тоже уехал из Берлина и работал в русском отделе Главного управления в Лондоне. Борис прислал из Австрии письмо, в котором сообщал, что он в составе советской промышленной делегации будет такого-то числа в Дюссельдорфе и остановится в таком-то отеле. Я решил, что самым безопасным способом войти с ним в контакт будет встретиться в холле его отеля, а затем договориться о дне встречи. Я сидел в холле уже минут двадцать, когда он и еще несколько русских вошли в отель. Помещение было небольшим, и он не мог не заметить меня, и я уверен, что заметил, хотя и не подал вида. Вместе с остальными Борис поднялся наверх, а примерно через полчаса вернулся и подошел ко мне. Мы с ним перебросились несколькими фразами, договорившись о встрече в другом месте.

Мы провели этот вечер привычным для нас образом: сначала обед, затем ночной клуб. Он передал мне много сведений, отчасти действительно ценных. Я со своей стороны "одолжил" ему сотню фунтов на покупку подарков семье. Рано утром мы расстались и больше не виделись.

Летом 1985 года я вместе с семьей проводил отпуск в ГДР, и мы на несколько дней остановились в Берлине. Там меня спросили, не хотел ли бы я повидаться со старым знакомым. Я, конечно, согласился и долго недоумевал, кто бы это мог быть. На следующий день, к моему великому удивлению, в доме, где мы жили, появился Борис. Время не пощадило нас обоих, но мы сразу узнали друг друга. Он дослужился до высокого поста в советском МИД и находился в Берлине с официальным визитом. Мы провели остаток дня, вспоминая былые дни в Западном Берлине, и он сказал, что никогда и не подозревал о моей связи с советской разведкой и узнал об этом, лишь

прочитав в газетах о суде надо мной. С тех пор мы виделись несколько раз в Москве.

У меня сохранились приятные воспоминания о годах, проведенных в Западном Берлине. Мы с женой жили в большой квартире на последнем этаже дома, занимаемого англичанами. Он находился в десяти минутах ходьбы от британского штаба, в красивом жилом районе, очень зеленом, который относительно мало пострадал от войны.

Штат Интеллидженс сервис в Берлине был достаточно велик, чтобы, включая жен и секретарш, образовать обособленную группу внутри большой английской колонии. Коктейли и званые обеды, устраиваемые нашими сотрудниками, на которых мы встречались друг с другом и куда крайне редко приглашались "чужаки", были неотъемлемой частью нашей жизни. Иногда даже выходило, что на один день намечались две, а то и три вечеринки: начав в одном доме, мы примерно через три четверти часа переходили в другой, где были те же лица, напитки, закуски, велись те же беседы, а потом отправлялись куда-нибудь еще. Подобное времяпрепровождение может показаться утомительным, но от каждого в большей или меньшей степени ожидалось, что он примет участие в этом круговороте.

Один-два раза в год нас по очереди приглашали в дом главнокомандующего (Вивиан Холт называл это "горячим питанием") на официальные приемы по случаю, например, Дня рождения королевы, но в остальное время мы мало общались с официальной частью Берлина. Кое-кто из нас знал нескольких американцев или французов, если по долгу службы приходилось вступать с ними в контакт, но вообще-то общение между иностранными колониями было минимальным. Что же до немцев, то знакомство с ними строго ограничивалось сугубо профессиональными интересами. Они, со своей стороны, тоже не горели желанием устанавливать близкие отношения с англичанами. Это резко котрастировало с тем, что я видел сразу же после войны: тогда можно было найти сколько душе угодно немецких друзей, а порой от них даже бывало трудно отделаться. Теперь же многое изменилось. У них появилось все, что есть у нас, а во многих случаях даже больше и лучшего качества, и в итоге они не хотели нас больше знать. Не могу сказать, чтобы нас это сильно задевало. Возможно, тридцатилетнее совместное пребывание в Европейском сообществе все это изменило.

Свой ежегодный отпуск мы всегда проводили с семьями в Англии, но для короткой передышки выбирали какое-нибудь местечко на континенте. В этом отношении Берлин был расположен идеально: один день на машине до Голландии или Австрии и полтора – до итальянских озер. Помню одну счастливую неделю, которую мы с женой провели в старом отеле на берегу озера Гарда. Именно здесь в моем образе жизни произошла крупная перемена. Отель предоставлял возможность заниматься воднолыжным спортом, которым мы с женой очень увлекались. Это послужило поводом для знакомства с двумя французскими парами, жившими в том же отеле. Они очень серьезно относились к своему здоровью, постоянно делали гимнастику и соблюдали диету. Хотя мое чрезмерное увлечение едой постепенно проходило, я успел набрать достаточный вес, и моя жена все время напоминала мне, что с этим надо что-то делать. Их пример заразил меня, и я тоже стал делать гимнастику и намного меньше есть. Вскоре мне попалась книга одного доминиканского монаха, в которой он описывал циклы упражнений йоги, весьма способствующие медитации. Сами упражнения и породившая их философия захватили меня, и я переключился с обычной гимнастики на йогу. С тех пор я занимался йогой ежедневно по часу и убежден, что именно этим упражнениям я обязан крепким здоровьем, не оставлявшим меня в те годы, и относительным самообладанием, с которым сумел встретить все превратности жизни.

Летом 1956 года жена сказала мне, что ждет ребенка. И вновь во мне началась внутренняя борьба, подобная той, что охватила меня перед женитьбой. С одной стороны, мысль, что я стану отцом, радовала меня, с другой же – я слишком хорошо понимал, что в моем положении нельзя иметь детей. Но как я мог объяснить все это жене, не сказав правды? Молодая, здоровая женщина, она, естественно, хотела ребенка и не поняла бы моих возможных возражений. Как и раньше, я убедил себя, что все будет хорошо и мне удастся выйти невредимым из всех испытаний, хотя внутренний голос и говорил, что шансы на это крайне малы. Так весной 1957 года на свет появился мой старший сын, чему мы с женой, а также наши родители были несказанно рады. Моя мать приехала помочь нам в первые месяцы, и вскоре мы привыкли к этой новой, более полной форме семейной жизни.

Ночью 22 апреля 1956 г. советские связисты, осуществляя срочный ремонт начавшего провисать телефонного кабеля, "наткнулись" на ответвление. Они обнаружили туннель, ведший к американскому пакгаузу по ту сторону границы сектора. Связисты проникли в туннель, но не смогли пройти дальше того места, где он пересекал границу: путь им преградили мешки с песком, и они не стали пытаться разобрать заслон.

Как только ответвление было обнаружено, на станции подслушивания в американском штабе раздался сигнал тревоги. Не догадываясь о намерениях советских солдат, американцы срочно выслали подкрепление, дабы воспрепятствовать русским пересечь границу как через туннель, так и поверху. Военное командование в Берлине было предупреждено об опасности, и почти целый день обстановка на границе оставалась напряженной.

Впрочем, вскоре стало ясно, что русские не планируют никаких серьезных акций для уничтожения устройства перехвата телефонных разговоров, подсоединенного к их кабелю военной связи. Они ограничились созывом на следующий же день пресс-конференции, на которой обвинили американцев в возмутительном вторжении на советскую территорию, в доказательство чего отвели собравшихся журналистов на "экскурсию" в туннель: он однозначно вел в сторону американской ставки.

В западной прессе операция "Туннель" расценивалась в основном как один из самых выдающихся успехов ЦРУ периода "холодной войны". Хотя и отмечалось, что бóльшая часть найденного оборудования была английского производства, никто не высказал предположения, что англичане участвовали в операции или хотя бы знали о ней. Для Питера Ланна это было уже слишком. Как только новость попала в газеты, он собрал весь персонал берлинский резидентуры сверху донизу и рассказал эту историю от ее зарождения до развязки, пояснив, что идея операции принадлежит Интеллидженс сервис и ему лично. Участие американцев сводилось лишь к предоставлению большей части необходимых сумм и средств обслуживания. Конечно же, они участвовали и в дележе результатов.

До этого вряд ли кто-нибудь в резидентуре знал о существовании туннеля. Помимо Питера Ланна и его заместителя я являлся единственным сотрудником, бывшим "в курсе",

да и то лишь благодаря моей прежней работе в отделе "Y".

Без сомнения я, со своей стороны, с некоторым беспокойством наблюдал за развитием событий, опасаясь подозрений со стороны своей разведки и ЦРУ в том, что русских могли предупредить. Но "обнаружение" туннеля было проведено столь искусно, что последовавшее за этим совместное расследование Интеллидженс сервис и ЦРУ обстоятельств провала операции пришло к выводу о его чисто технических причинах, об утечке информации и речи не шло. Должен признаться, что я провел несколько беспокойных недель, пока результаты расследования не были оглашены. Лишь тогда я вздохнул свободно.

Только в 1961 году, после моего ареста, разведке стало известно, что советские власти были детально ознакомлены с операцией "Туннель" еще до того, как первая лопата вонзилась в землю.

После обнаружения туннеля интерес Питера Ланна к берлинской резидентуре начал ослабевать, и он дал понять, что хотел бы перевестись. В итоге летом 1956 года ему поручили возглавить боннскую резидентуру, этот пост предполагал серьезные обязанности по обеспечению связи. Его сменил Роберт Доусон, шеф одного из берлинских подотделов. Этот уравновешенный, по-отечески заботливый человек с легким провинциальным налетом, которому помогала умная жена, обладал даром создавать такую атмосферу, что мы чувствовали себя членами одной большой семьи. Так же как во флоте есть счастливые и несчастливые корабли, в Интелллидженс сервис есть счастливые и несчастливые резидентуры. Берлинская стала счастливой.

В начале 1959 года Роберт Доусон покинул Берлин и возглавил Оперативный Директорат-4 (ОД-4). Он очень хотел, чтобы я перешел к нему, и летом того же года, после почти пятилетней работы в Берлине, я вернулся в Лондон, где и принял назначение в русский отдел Директората.

Глава девятая

Вскоре после нашего возвращения в Англию родился мой второй сын. Некоторое время мы жили с родителями жены на Честер-роу, откуда я ходил на работу пешком, а затем переехали в меблированную квартиру в большом старом доме в Бикли. В центре наших повседневных забот теперь была семья, и не только потому, что приходилось присматривать еще за одним малышом, но также из-за того, что круг нашего общения в Лондоне сильно отличался от берлинского. Там мы были частью дружной колонии, члены которой жили очень компактно, здесь же я влился в довольно аморфную массу государственных служащих, живших вразброс по всей огромной территории Лондона и редко встречающихся вне работы. Теперь мы вновь вернулись к нашим друзьям, которых у моей жены было много и с которыми иногда виделись, и к нашим родным, с которыми общались постоянно.

В конце 50-х годов благодаря политике Хрущева контакты со странами социалистического лагеря увеличились. Между Великобританией и СССР заструился тонкий, но постоянный ручеек взаимных визитов, от официальных торговых делегаций, деловых людей и ученых до артистов, студентов, приезжавших по обмену, и растущего числа туристов. Британские фирмы начали выполнять большие советские заказы, которые в одних случаях требовали длительного пребывания советских специалистов на английских предприятиях, а в других – приезда английских технологов в Советский Союз для консультаций по установке и наладке оборудования.

Существовало строгое правило, что Интеллидженс сервис не должна заниматься разведывательной деятельностью на

территории Великобритании, это находилось исключительно в ведении МИ-5. Теперь же было решено отойти от этого, с тем чтобы максимально использовать возможности, предоставившиеся "оттепелью" в отношениях между Востоком и Западом.

В разведке всегда существовал отдел, специализировавшийся на полезных контактах у себя дома, нечто вроде "группы поддержки". Если кто-то нуждался в совете специалиста по техническим или коммерческим аспектам той или иной операции либо требовалась "крыша" для агента, либо помощь, которую лучше всего могла оказать ему некая английская фирма или организация, то устроить все это было делом так называемого вспомогательного отдела (ВО). Таким образом, за годы работы было установлено огромное количество связей во всех сферах жизни, особенно в Сити* и на Флит-стрит**. Предполагалось непосредственно задействовать все эти контакты и превратить ВО в агентурную организацию с теми же функциями, что и у зарубежных отделов Интеллидженс сервис. С этой целью и был создан Директорат, состоявший из самостоятельных отделов, каждый из которых имел свою сферу деятельности.

Как и раньше, отдел, где я теперь работал, занимался разведкой непосредственно против Советского Союза, и в мои обязанности по-прежнему входило использовать любую возможность для установления контактов с советскими гражданами, могущими стать постоянными источниками информации. Главой отдела и моим непосредственным начальником был Дикки Френкс. Он с отличием окончил Кембридж и сразу стал одним из самых многообещающих молодых людей в разведке. Его дальнейшая карьера оправдала возлагавшиеся на него надежды: в итоге он стал шефом секретных служб. Тогда ему было под сорок, он очень модно одевался, и в нем было больше от пресс-атташе или влиятельного шефа рекламной фирмы, чем от простого служащего. В его подтянутой фигуре было нечто юношеское, а блестящие стекла очков без оправы, голова чуть крупнее положенного и мгновенная реакция неизменно напоминали мне примерного ученика в классе. На собраниях я всегда ждал, что, прежде чем сказать что-либо, он поднимет руку. Френкс был энергичен и трудолюбив, умел распределять обязанности,

---

* Деловая чать Лондона.

** Улица в Лондоне, где сосредоточены редакции газет.

словом, из него получился отличный руководитель отдела.

В его полномочия входило прежде всего поддерживать отношения с президентами и управляющими крупных компаний и газет, в чьем содействии мы нуждались. Было строжайше запрещено вербовать или использовать в своих целях сотрудников английских фирм без предварительного согласия президента или управляющего компании. Такие крупные концерны, как "Шелл" или Ай-си-ай, точно так же ассоциировались за рубежом с британским правительством, как и посольство, и нам постоянно напоминали об этом. Если кто-то из их служащих будет пойман на шпионаже, то политические и экономические последствия могут дорого обойтись и поставить нас в затруднительное положение. Стоило трижды подумать, прежде чем использовать их.

Одним из путей установления контактов с советскими сотрудниками, прибывающими в Англию, были переводчики, которые сопровождали их во время всего пребывания в стране. Я потратил много времени и сил, стараясь привлечь к этому как можно больше людей. Кроме того, мы основали свое собственное бюро переводов, расположившееся в нескольких комнатах в старом доме на Лейчестер-сквер. Двое русских с белогвардейским прошлым, давно работавшие в нашей разведке, стали его содиректорами. Целью бюро являлось создать коммерческую ширму для их разведывательной деятельности и нанять нужное количество внештатных переводчиков на полный или неполный рабочий день.

Так как оба директора были первоклассными переводчиками и отлично обслуживали своих клиентов, бюро стало пользоваться хорошей репутацией, и к его услугам все чаще прибегали британские и даже советские фирмы и организации, нуждающиеся в переводчиках. Таким образом, разведка могла оперативно приставлять в качестве переводчиков своих агентов буквально к каждому интересующему ее советскому гостю или отправлять их в СССР в составе разнообразных английских делегаций.

Все переводчики получили одно и то же задание: помимо сбора информации, непосредственно связанной с отраслью, в которой заняты их клиенты, устанавливать по мере возможности хорошие личные отношения со своими советскими знакомыми. Общаясь с ними, следовало как можно больше узнать об их работе, характере, слабостях, отношении к политическому строю в СССР. Надо было постараться завязать

переписку, с тем чтобы в дальнейшем отношения могли быть возобновлены.

Помимо переводчиков моей задачей являлась вербовка бизнесменов, преподавателей университетов, студентов, людей искусства и науки, которые так или иначе имели прямые связи с советскими гражданами. При первом контакте всегда взывали к их патриотическим чувствам, о материальном поощрении речь не шла. Больше всего приходилось иметь дело с бизнесменами, их обычно приглашали позавтракать вместе, чтобы они оказались в привычной для себя обстановке. Таким путем я посетил огромное количество лондонских ресторанов, но нашел эту работу утомительной. С самого начала я взял за правило не выпивать больше полубутылки вина в день, следя, как и обычно, за тем, чтобы не повредить своему здоровью.

Большинство людей, с которыми я встречался, соглашались сотрудничать, но всегда ставили одно условие: их никогда не попросят делать ничего такого, что могло бы повредить их торговым интересам или тому проекту, над которым они работали. Однако я обнаружил, что это условие позволяло им поддерживать видимость сотрудничества с нами, но почти ничего не делать. Другие сразу же заявляли, что не желают иметь ничего общего с разведкой, поскольку считают ее работу безнравственной и их совесть не позволяет в ней участвовать. Я всегда уважал людей такой категории и, конечно же, больше не докучал им своими предложениями.

Во время работы в Директорате я столкнулся с небольшим затруднением, которое не возникало, пока я работал за рубежом. Я владею английским совершенно свободно, и это отнюдь не хвастовство с моей стороны, поскольку по всем признакам я билингв. Но легкий голландский акцент все же сохранился. Он абсолютно не беспокоил меня, пока я имел дело с людьми, знавшими о моем прошлом, но он же стал источником неудобства, когда мне приходилось встречаться с новыми людьми, я имею в виду англичан, а ведь работа в Директорате в этом и состояла. Если бы я мог, я бы говорил каждому новому знакомому при первой встрече: "Послушай, вот кто я такой, и вот почему я так говорю". Конечно же, я не имел права так поступить, и до тех пор, пока мне не удавалось все нормально объяснить, я представлял себе, что думает другой человек: "Кто этот сотрудник Министерства иностранных дел ("крыша", которой мы обычно пользовались)? Он явно не англичанин, а имя у него английское..." Я считал, что это с самого начала смущает людей и вовсе не способствует свободному общению.

Но у моего акцента было и одно преимущество. Он не только ставил людей в тупик, но и спасал меня от попыток немедленно определить, к какому социальному слою я принадлежу. Англичане, и особенно средние слои английского общества, великие классификаторы и имеют, на мой взгляд, преувеличенное представление о важности сословного деления. Англичанин из средних слоев прежде всего спросит вас, какое учебное заведение вы посещали и не родственник ли вы таких-то или таких-то Блейков. А так как никакой школы в Англии я не посещал и родней никаким Блейкам не доводился, меня было трудно классифицировать, и потому не оставалось иного выбора, как принимать таким, каков я есть. В Голландии я уже привык к классовым различиям, но там они смягчались тем, что этот народ помимо горизонтального деления на классы был резко разделен по вертикали по религиозному признаку. В результате голландское общество состояло не из слоев, а как бы из квадратов, и известная солидарность, царившая внутри каждого из них, была выше классовых различий.

Я всегда был и являюсь поныне горячим поклонником многих благородных качеств английского народа, но вот некоторые типично английские черты вызывают во мне меньший энтузиазм: непомерная амбициозность, которая часто оборачивается чистейшим снобизмом, и привычка ставить себя выше других. Мне сказали, что обе эти черты гораздо меньше проявляются в младших поколениях. Что ж, если это так, то тем лучше.

В Лондоне я возобновил регулярные встречи с советским связным. Как и до моей работы в Берлине, это был Коровин. Когда он отсутствовал, его заменял молодой человек по имени Василий, отличавшийся от Коровина более веселым нравом и имевший внешность типичного англичанина, так что, если бы он не открывал рта, никому бы и в голову не пришло принимать его за иностранца. Я всегда испытывал удовольствие, гуляя с ним вечерами по тихим улочкам лондонских предместий.

К тому времени я уже настолько верил в искусство моих советских друзей ускользать от слежки МИ-5, что не усматривал в наших встречах никакой опасности для себя. Фотографирование документов тоже стало привычным делом, и я мог заниматься им, когда опасность быть застигнутым врасплох практически равнялась нулю. Только от двух опаснос-

тей я был не в силах застраховаться и смотрел на них как на промысел Божий: первая – если я попаду в автокатастрофу, имея при себе фотоаппарат "Минокс" с компрометирующими пленками; вторая – если один из сотрудников советской разведки или же разведки какой-нибудь другой социалистической страны, знающий, кем я являюсь, или располагающий информацией, способной прояснить это, решит дезертировать либо начнет работать на английскую или американскую разведку, словом, делать для Запада то же, что я делал для Востока.

Хотя всегда девизом моей жизни было уповать на лучшее и считать, что все в конце концов разрешится благополучно, я прекрасно понимал, что шансы продолжать действовать и не быть разоблаченным ничтожны и с каждым годом их становится все меньше.

Однажды чудесным летним вечером, прогуливаясь с Коровиным по тихой улице в районе Кройдона, я решил поговорить с ним об этом. Раньше я никогда не говорил о подобных вещах, и мне хотелось узнать, как, по мнению советских властей, я должен вести себя, если меня схватят и я предстану перед судом. Хотят ли они, например, чтобы я превратил суд в политический спектакль и предал огласке подрывные операции западных разведок против СССР и его союзников? Следует ли мне категорически отрицать, что я шпионил в их пользу, или же, наоборот, признать это? Мне можно возразить, что все это довольно наивно, поскольку человек в моем положении обязан знать, да и просто инстинкт самосохранения должен подсказать ему, какой линии поведения придерживаться. Тем не менее я чувствовал, что поведение, избранное мной в случае провала, должно отвечать высшим интересам советского руководства.

Если я и надеялся получить четкий ответ на свой вопрос, то меня постигло разочарование: Коровин откровенно отказался обсуждать эту тему. Он был старой сталинской закалки и явно полагал, что человек способен контролировать любую ситуацию. Он ответил, что если мы оба будем вести себя правильно и не наделаем ошибок, то ничего страшного не произойдет. Сам факт обсуждения этого вопроса уже являлся допущением вероятности провала, и в таком случае можно сразу же идти сдаваться. На этом разговор закончился.

Вполне вероятно, что, согласно инструкциям, Коровин был прав и что вообще не рекомендовалось обсуждать с агентами

вероятность их поимки. Но, по-моему, каждый случай строго индивидуален, и следовало детально учитывать характер конкретного человека. Я, например, всегда был глубоко уверен в существовании высших сил, определяющих нашу судьбу, они нам не подвластны, и остается только покориться им. Поэтому его ответ абсолютно меня не удовлетворил, и, дай он мне на той или на любой другой встрече четкие указания, как вести себя в случае провала, я бы следовал им, когда придет время.

В конце концов КГБ мог бы руководствоваться многочисленными прецедентами, взять хотя бы дело Филби и его поведение на допросе. К несчастью, накопленный всеми разведками опыт обычно пылится в архивах и редко извлекается на свет, изучается и перерабатывается в практическое руководство для каждого конкретного случая: я, например, ничего не знал тогда о деле Филби, а ведь оно могло бы внести свои коррективы. Конечно, было бы лучше о нем знать, но это уже другой вопрос. Как любят говорить адвокаты, "при любых обстоятельствах" вряд ли бы все закончилось для меня лучше, чем закончилось.

Как-то тем же летом я был вызван в управление кадров, где меня принял заместитель начальника Ян Кришли. Он спросил, не хотел ли бы я поехать на год в Ливан изучать арабский язык в Ближневосточном центре арабских исследований, чтобы затем получить назначение в одну из ближневосточных резидентур. Я попросил немного времени, чтобы подумать и посоветоваться с женой, что я и сделал, а заодно и проконсультировался с Коровиным. Оба не возражали, и я с радостью согласился.

Это было исполнением давней мечты. Годы, проведенные в Египте у родственников моего отца, возбудили интерес к региону, и я всегда надеялся вернуться туда когда-нибудь. Это желание лишь усилилось после историй о жизни в Ираке и отношениях с арабами, рассказанных Вивианом Холтом, когда мы были в плену. Разведка вербовала молодых востоковедов прямо с университетской скамьи, и теперь требовалось небольшое количество опытных сотрудников, хорошо знающих арабские и ближневосточные проблемы, на руководящие посты в региональных резидентурах. Кроме того, я чувствовал, что курс арабского может благоприятно повлиять на мою карьеру, и это давало мне еще одно основание страстно желать поехать. Ближний Восток вполне мог стать драма-

тической точкой пересечения раздирающих мир конфликтов и предоставить немало возможностей для интересной и важной работы.

Помимо этого, работа за рубежом, предполагающая всевозможные надбавки и приработки, отлично помогает пополнить счет в банке, истощающийся, как правило, за время службы в Главном управлении, где приходится жить на одну скромную зарплату. И наконец, перспектива на год отключиться от напряженной и опасной оперативной работы, посвятить себя изучению трудного языка и уединенно жить со своей семьей среди великолепия Средиземноморья казалась мне крайне привлекательной.

Так оно и было, по крайней мере некоторое время. В сентябре 1960 года я отправился в путь на машине, загруженной чемоданами, детскими колясками и игрушками. Жена и оба малыша должны были прилететь позднее.

Шемлан представлял собою деревню с низкими белыми домиками, тянувшимися вдоль извилистой дороги в отрогах Ливанского хребта. Сам Центр размещался в современном здании из белого камня и стекла с просторными балконами и террасами. Он был основан и финансировался МИД для подготовки специалистов по арабскому языку как для себя, так и для колониальной службы и вооруженных сил. Сначала Центр находился в Иерусалиме, но по истечении мандата на Палестину был переведен в Ливан. Бо́льшая часть учащихся была из дипломатической службы и вооруженных сил, включая одного-двух из Интеллидженс сервис, но нескольких прислали сюда английские нефтяные компании, банки и прочие торговые концерны, имеющие свои интересы на Ближнем Востоке. Здесь были даже два голландца с семьями, посланные компанией "Шелл".

Директором Центра всегда был высокопоставленный чиновник английского МИД, а замдиректора по учебной части – обычно востоковед, откомандированный на год одним из английских университетов. Остальной преподавательский состав был сформирован из палестинских арабов, все они являлись христианами и бывшими чиновниками колониальных властей.

Прибыв на место, я сразу же снял небольшой дом в пяти минутах ходьбы от Центра. С просторной веранды дома откры-

вался великолепный вид на раскинувшийся внизу белый город и синее море вдали. Спустя две недели жена и дети присоединились ко мне.

Потом было шесть очень счастливых месяцев. Интенсивный курс языка, рассчитанный на восемнадцать месяцев, делился на две части по девять месяцев каждая. Первая часть посвящалась фонетике, нас учили говорить и писать по-арабски, а вторая – подготовке к высшим государственным экзаменам по переводу. Частые зачеты и строгие экзамены в конце каждого семестра будили дух соперничества, ввиду чего у нас оставалось мало времени на отдых. Один день в неделю тем не менее я совсем не работал, давая мозгу полную передышку. В эти дни, обычно в компании других студентов и их семей, мы отправлялись в горы на пикник или находили защищенное от ветра место в скалах на морском берегу. Вечером мы, как правило, ужинали в маленьком ресторанчике, откуда шли иногда в один из бесчисленных ночных клубов Бейрута. Кроме этих вечеров, мы редко спускались в город. Иногда нас приглашали на обед или коктейль друзья из посольства. Но в целом мы мало участвовали в бурной светской жизни Бейрута. Я ни разу не встретил Кима Филби, одного из самых известных англичан в Бейруте тех времен. Лишь в 1963 году, уже находясь в тюрьме Уормвуд-Скрабс, я узнал из газет о его бегстве в Советский Союз и о том, что он был сотрудником Интеллидженс сервис и, как и я, советским агентом. Я же всегда думал, что он работал в МИД.

Вскоре после моего прибытия в Бейрут я вышел на связь с местным представителем советской разведки. Целиком отдавшись изучению арабского языка, я мало что мог ему сообщить, и мы решили, что будет вполне достаточным встречаться раз в два месяца. Он оставил мне номер телефона, по которому я мог, если потребуется, срочно с ним связаться.

Близился к концу пасхальный семестр. Я хорошо сдал экзамен за первый семестр и теперь ревностно соревновался со своим другом и коллегой за еще более высокую оценку на втором экзамене. Меня совершенно поглотили занятия, и я получал огромное удовольствие от замечательной логики и почти математического строя арабского языка. Мы уже достигли того этапа, когда полученные знания вскоре должны были подвергнуться испытанию. После коротких пасхальных каникул нам следовало разъехаться во все концы арабского

мира и, прожив месяц в арабской семье, набраться разговорной практики. Некоторые студенты воспользовались этим, чтобы посетить экзотические места, и добрались даже до Йемена и Хадрамаута. Моя жена в это время готовилась родить третьего ребенка, и я устроил так, что сумел остаться в ливанской семье в соседней деревне Соук-Эль-Гарб, чтобы быть поблизости. Моя мать собиралась приехать и присмотреть за детьми, пока жена будет в больнице.

Примерно за две недели до Пасхи мой маленький сын заболел пневмонией. Во время прогулки в горы внезапно хлынувший ливень промочил нас насквозь, и он простудился. Мальчика отвезли в бейрутскую больницу, жена все время была с ним и спала в его комнате. За вторым сыном приглядывала арабская няня, а я занимался зубрежкой перед завершающим семестр экзаменом.

Однажды, навещая их в больнице, я встретил там подругу жены, которая зашла проведать нашего мальчика. В разведке она работала секретаршей, причем некоторое время в одном отделе с моей женой, теперь же была личным помощником шефа бейрутской резидентуры Николаса Эллиота. Мы немного поболтали, и она сообщила, что идет вечером на пьесу "Тетка Чарлея", поставленную местным английским драматическим театром. Спектакль обещал быть забавным, а у нее как раз был лишний билет, который она мне и предложила. Мне не очень хотелось идти, но жена сказала, что небольшой перерыв в занятиях пойдет мне на пользу, и я дал себя уговорить. Пьеса действительно оказалась веселой, и я посмотрел ее с удовольствием. В антракте мы пошли в бар, где наткнулись на Николаса Эллиота с супругой, и они пригласили нас выпить. Во время разговора он отвел меня в сторону и сказал, что рад моему появлению в театре, поскольку это освобождает его от поездки в горы. Утром того дня он получил письмо из Главного управления. Согласно содержащимся в нем инструкциям, мне следовало вернуться на несколько дней в Лондон для консультации в связи с новым назначением. Выехать надлежало во второй день Пасхи, в понедельник, с тем чтобы рано утром во вторник уже быть в Лондоне.

После спектакля я подвез девушку домой и поехал по темной горной дороге обратно в Шемлан. Хорошо еще, что я знал наизусть каждый поворот и обрыв, так как мысли мои были далеки от управления машиной. Я ничего не мог понять. Видимо, что-то случилось. Почему меня вызывают сейчас? В

Главном управлении знали, что я прохожу интенсивный курс и у меня на счету каждый день, особенно перед последними экзаменами. В июле будет несколько недель каникул, и я в любом случае приехал бы домой. Почему бы тогда и не провести консультацию? К чему этот неуместный и внезапный вызов? Правда, в Конго вспыхнула гражданская война, возможно, что это потребовало нескольких срочных назначений, отсюда и необходимость моего безотлагательного возврата к оперативной работе. Однако и это объяснение меня совершенно не удовлетворило. Чем больше я думал о вызове, тем меньше он мне нравился. Подъезжая к дому, я уже не сомневался: оставался только один выход. Моя сирийская виза еще действовала, граница же с Сирией – в нескольких часах езды от Бейрута. Как только сына выпишут из больницы, в считанные дни я отвезу жену и детей в Дамаск, где и объясню ей все как есть, как бы болезненно это ни было, предложу выбирать, поедет ли она со мной в Советский Союз или же, забрав детей, вернется на машине в Бейрут, а оттуда в Англию.

Я плохо спал той ночью, вновь и вновь прокручивая в голове ситуацию. Наступившее теплое солнечное утро дало моим мыслям новое направление.

Меня и раньше довольно часто внезапно вызывали в Лондон. Каждый раз меня мучили дурные предчувствия, но всегда все заканчивалось благополучно. То совещание, то курсы, то консультация... Почему сейчас должно быть что-то иное? Если я сбегу из-за одних только догадок, то не буду ли мучиться потом всю жизнь, что, возможно, оставил свой пост без мало-мальски серьезных причин? А жена? Что я скажу ей и как она это воспримет? Не собираюсь ли я лишить себя самого дорогого из-за какой-то химеры? Не тот ли это случай, когда трус убегает, а его и преследовать-то никто не собирается?

Прежде всего следовало срочно встретиться с советским связным и уговорить его без промедления запросить Москву, может быть, там располагают информацией, что мои дела плохи, и смогут дать подходящий совет. Тем же вечером я встретился со своим русским связным на пустынном пляже недалеко от Бейрута и объяснил ему ситуацию. Он обещал сразу же связаться с управлением и выразил надежду, что получит ответ уже к вечеру следующего дня.

Когда мы встретились вновь, он передал мне, что в Москве не видят причин для беспокойства и, по их мнению, я могу

спокойно ехать. Это было именно то, что я хотел услышать. Объяснение с женой отменялось. Мне незачем стало признаваться ей, что я – советский агент. Я почувствовал такое облегчение, что сознательно подавил оставшиеся сомнения и на следующий день стал готовиться к отъезду в Англию. Последние дни прошли в суматохе, начались двухдневные экзамены, завершавшие семестр. Меня волновало только, в правильном ли падеже я употребил то или иное местоимение и верно ли образовал множественное число. После каждой письменной работы мы собирались в баре выпить кофе, ревностно сравнивая полученные отметки, ликуя, обнаружив, что правильно перевели мудреный оборот, и тут же сокрушаясь, что написали не тот ответ, хотя и знали верный. На следующий день мы напряженно ждали итоговых результатов. Увидев свою фамилию в первой четверке, я почувствовал удовлетворение и полную расслабленность, ведь предстояло несколько дней пасхальных каникул. Тем вечером, одевшись во фраки, мы устроили "мальчишник" в одном из самых дорогих ресторанов Бейрута, затем немного развлеклись в казино. Сначала мне повезло, а потом я сразу потерял весь свой выигрыш. Я не стал скрывать, что на несколько дней меня вызывают в Лондон. Все стали гадать о причине, но сошлись на мнении, что меня собираются назначить на какой-нибудь важный пост. Позже я был занят приятными хлопотами: мой сын вернулся домой из больницы и вновь был здоров. Жена составила список внезапно понадобившихся вещей, которые мне следовало привезти из Англии. Я послал матери телеграмму, сообщая о своем приезде.

Возбуждение, вызванное неожиданной поездкой, поглотило мои последние сомнения. Я зашел в посольство, чтобы взять деньги на авиабилет, и Николас Эллиот показал мне письмо из Главного управления. Текст выглядел вполне безобидно. Эллиоту было нечего добавить к письму, и он с вежливой улыбкой пожелал мне приятного путешествия. (Теперь-то я, конечно, понимаю, что Эллиот должен был знать, зачем меня вызывают в Лондон. В Главном управлении не могли не учесть возможность того, что я сбегу или, по крайней мере, свяжусь со своим советским "патроном". Эллиота наверняка ввели в курс дела, чтобы он был готов ко всему.) Уже уходя, он спросил, не заказать ли мне номер в отеле "Св. Эрминс", что напротив Главного управления. Я отклонил его предложение, пояснив, что остановлюсь у матери. Правильно ли я

сделал? Может быть, действительно было бы лучше остановиться в отеле? Нет, конечно же, нет. На мгновение в моем мозгу вновь мелькнула тень сомнения. Странно, что он настаивал именно на этом отеле. Но вскоре она рассеялась.

Я отлично помню последний день. Рано утром мы поехали на машине на экскурсию в Библ*. Первый день Пасхи, звонят церковные колокола, в деревнях празднично одетые люди толпятся возле маронитских** церквей. Величественные греческие соборы на фоне ярко-голубого неба. Пикник в тени фигового дерева на краю пустыни. Обратный путь через праздничные деревни. Друг, пригласивший нас пообедать. Потом беззаботная беседа на террасе, а под нами мириадами огней сиял Бейрут. Друг настаивал на том, чтобы открыть бутылку шампанского и выпить за мое новое назначение.

Раннее утро следующего дня – дорога в аэропорт. Проходя через таможенный досмотр, в последний раз машу рукой жене. Перед глазами все еще стоят Шемлан, белые домики, сгрудившиеся на склоне горы... Затем земля вдруг осталась где-то там, внизу, и мы взмыли в ослепительно-голубое небо.

В Риме с нашим самолетом что-то случилось. Долгое томительное ожидание, прерванное лишь скверным ленчем. Наконец вздыхаем с облегчением – нас везут на посадку на другой самолет до Лондона. В Хитроу противный моросящий дождь заставляет надеть плащ. Я быстро прохожу через паспортный контроль – прямо в ловушку.

Ту ночь я провел у матери, в ее маленькой квартирке в Родлетте. Разговаривая, мы засиделись далеко за полночь. Мне надо было многое ей рассказать о нашей жизни в Шемлане, обсудить ее предстоящий приезд и составленный женой перечень покупок. Моя мать, будучи человеком практичным, тут же распланировала, что и где каждый из нас купит. Все должно быть готово к пятнице, я рассчитывал вернуться в Бейрут в этот день, чтобы успеть к субботе, ко дню рождения старшего сына.

На следующее утро, в первый вторник после Пасхи, в десять с небольшим, как и было приказано, я явился на Петти Франс в управление кадров. Меня провели в кабинет заместителя начальника управления Яна Кришли. Там меня уже ждал

---

* Древнее название Джубейля, города в 40 *км* от Бейрута.

** Марониты (от имени основателя Мар Марона) – приверженцы особой христианской церкви. С V–VII веков живут в Ливане, Сирии, Египте и др.

Гарри Шерголд, один из экспертов разведки по советским делам и мой старый знакомый. Они оба дружески поздоровались со мной, и Шерголд предложил мне поехать с ним, дабы обсудить некоторые вопросы, возникшие в связи с моей работой в Берлине. Вместо того чтобы отвезти меня на Бродвей, в Главное управление, находившееся совсем рядом, он поехал через Сент-Джеймс-парк к дому на Карлтон-гарденз, столь знакомому мне со времени работы в отделе "Y". Мы прошли в довольно роскошную приемную на первом этаже. За большим столом сидели двое моих коллег по работе в советском секторе, имен которых, должен признаться, сейчас уже не помню. Они встали, поздоровались, и мы все расселись вокруг стола. После недолгой беседы на общие темы они перешли к делу. В основном говорил Шерголд. Он начал с одного происшествия, случившегося в Берлине вскоре после моего отъезда.

Как я уже упоминал, агент Микки – а на самом деле Хорст Эйтнер – был женат на молодой красивой женщине, проведшей пять лет в сибирском лагере. Советские власти в Восточной Германии приговорили ее к двадцати пяти годам заключения за шпионаж в пользу американской разведки, а потом она была амнистирована. Я упоминал и о том, что Микки вместе с женой был завербован советской военной разведкой и что оба они в итоге являлись двойными агентами.

У Микки и его жены вошло в привычку отмечать в одном из берлинских ресторанов каждую годовщину ее освобождения в компании подруги, сидевшей в том же лагере и выпущенной с ней в один день. Как и обычно, это была очень веселая вечеринка, и они выпили больше, чем следовало. Микки вздумалось ухаживать за подругой, что, естественно, жене не понравилось. Она выразила свое недовольство и велела ему прекратить. Он проигнорировал ее просьбу и продолжил флиртовать. В конце концов доведенная до бешенства жена Микки пригрозила пойти в полицию и рассказать, что он – советский шпион. Микки не принял угрозу всерьез и ответил, чтобы она поступала, как хочет. Не сказав ни слова, его жена встала и пошла прямо в ближайший полицейский участок. Там сначала подумали, что она слишком много выпила, и отказались ей верить. Тогда в доказательство правдивости своих слов она пригласила их домой, где и показала два потайных микрофона, установленных советской разведкой. Микки был арестован в тот же вечер, его жена – на следующий день.

Произошло следующее. Пока я работал в Берлине и курировал Микки, русским не было нужды подслушивать, о чем мы с ним говорим. Но когда я уехал, а его отдали под начало другого офицера Интеллидженс сервис, они заинтересовались моим преемником и попросили Микки разрешить им установить в его квартире микрофоны для прослушивания его бесед с "наставником". Микки согласился, и в квартире было спрятано два микрофона.

Довольно подробно ознакомив меня с этой историей, Шерголд поинтересовался, почему, по моему мнению, Советы решили установить микрофоны только после того, как я уехал и меня сменил другой сотрудник. Я ответил, что не имею представления.

Теперь совершенно ясно, продолжал Шерголд, что так как Микки оказался советским агентом, то и Борис, русский сотрудник СЭВ, тоже был "подсадной уткой". Как я объясню это? Я согласился, что, судя по всему, Борис шпионил за нами, а объяснить это могу лишь тем, что Микки явно использовали как самый подходящий объект.

Беседа затянулась до ленча. Когда мы прервались, никто не предложил, как этого требовала ситуация, если бы все было в порядке, позавтракать вместе. Я увидел в этом плохое предзнаменование. Я в одиночку отправился в Сохо и позавтракал в маленьком итальянском ресторанчике, куда иногда заходил раньше. Не могу сказать, чтобы меня мучил голод, мои мысли были заняты совершенно другим.

Конечно же, сам факт того, что русские установили в квартире Микки микрофоны только после моего отъезда, вполне можно было объяснить простым совпадением. Как и то, что Борис, исходя из ставшего известным предательства Микки, тоже являлся, по всей вероятности, подставной фигурой. Но в этом еще не было никакого криминала. Подобное могло произойти и происходило с каждым разведчиком, особенно в месте вроде Берлина, где многие агенты работали на двух, а то и на трех хозяев. Если они располагают только этими косвенными уликами, то мне не о чем беспокоиться. С другой стороны, меня не стали бы вызывать из Бейрута в решающий момент моих занятий лишь для того, чтобы обсудить чисто теоретические вопросы. И почему разговор происходит на Карлтон-гарденз, а не в кабинете Шерголда в Главном управлении? Зачем им понадобилось три человека?

Когда я вернулся на Карлтон-гарденз, трое моих коллег

возобновили допрос, перейдя от Берлина к Польше. По их словам, они располагают доказательствами того, что некоторые важные документы Интеллидженс сервис, относящиеся к Польше, доступ к которым был у весьма ограниченного круга лиц, в том числе и у меня, попали в руки польской разведки. Что мне известно об этом? Я ответил, что не больше, чем им.

Из последующих вопросов мне стало ясно, что в польской разведке, причем на достаточно высоком уровне, у них был свой осведомитель. Много лет спустя я нашел подтверждение этому в книге Питера Райта "Ловушка для шпионов", где он рассказывает о некоем Михаиле Голеневском (кличка "Снайпер"), якобы заместителе шефа польской разведки, который бежал в 1959 году в Америку и сообщил ЦРУ, что у русских есть два очень опасных шпиона в Англии: один в Интеллидженс сервис, а другой где-то в военно-морском флоте (гл. 10, с. 128). Это заявление в итоге привело к аресту сначала Лонсдейла и его группы, а через несколько месяцев и моему. В книге я также обнаружил, что мне был присвоен шифр "Лямбда-1", а Лонсдейлу – "Лямбда-2". Вопросы продолжались весь день и строились по принципу сужающегося круга, пока вечером – а допрашивающие все ближе и ближе подводили к этому – меня открыто не обвинили в работе на советскую разведку. Я категорически отрицал. В шесть часов мы прервались, и мне велели прийти на следующее утро к десяти. На обратном пути в Родлетт я прокручивал в голове все сказанное за день. Уже не приходилось сомневаться: Интеллидженс сервис известно, что я работал на СССР. Иначе мне никогда не было бы предъявлено подобное обвинение.

Сегодня я могу с уверенностью сказать: тот вечер и два следующих дня были самым тяжелым временем в моей жизни. Зная, что надо мной нависла серьезная опасность и, что бы ни случилось, жизнь никого из нас уже не будет прежней, мне приходилось вести себя с матерью так, как будто все в порядке, и мы продолжали обсуждать ее грядущее путешествие и покупки, которые необходимо сделать до конца недели. Помню, в частности, что важнейшей вещью в списке жены были противомоскитные сетки. Мать выяснила: их можно купить только в "Геммеджис" и, чтобы подстраховаться, посоветовала мне сходить туда на другой день и оставить заказ, а потом вовремя его забрать.

Короче говоря, весь следующий день мои мучители продолжали обвинять меня в том, что я – советский агент,

приводя понемногу все новые доказательства, а я продолжал упрямо отрицать это. Во время ленча, так как мысли мои были заняты отнюдь не едой, я решил сходить в "Геммеджис" и заказать противомоскитные сетки вместе с некоторыми другими товарами. Тем вечером я опять вернулся к матери, и ее квартирка показалась мне уютнее и безопаснее, чем когда-либо. Но мне становилось все труднее притворяться беззаботным, и, сославшись на то, что мне предстоит тяжелый день, я рано ушел к себе и остался наедине со своими мыслями.

На следующее утро мы опять собрались вчетвером вокруг стола в роскошной приемной на Карлтон-гарденз. Теперь я понял, почему для встреч было выбрано именно это место: в соседней комнате установили записывающее устройство, и все сказанное фиксировалось. Мы вновь и вновь возвращались к одному и тому же вопросу, ни на шаг не продвигаясь вперед. Впрочем, должен отметить, что все это время со мной говорили вежливо, не позволяя никаких угроз в мой адрес.

Когда мы вновь встретились после ленча, допрашивающие изменили направление беседы. Вспоминая об этом, я не считаю, что это с их стороны было просто хитрой уловкой. Как мне кажется, они сами искренне верили, что все произошло именно так, как им казалось, и именно это придавало их словам особый вес. Если это было так, должен признать: они нащупали верный психологический ход. Сказали же мне следующее: "Мы знаем, что вы работали на Советы, и мы понимаем почему. Пока вы были в корейском плену, вас пытали и заставили признаться, что вы – сотрудник британской разведки. С тех пор вас шантажировали, и, не имея выбора, вы сотрудничали с ними".

Когда они представили дело подобным образом, случилось нечто такое, что большинству людей может показаться противоречащим элементарному здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Я бы назвал это внутренней реакцией. Внезапно я почувствовал, как во мне вскипает возмущение, мне захотелось объяснить им, что я действовал по убеждению, веря в коммунизм, а не из-за пыток или денег. Это чувство было столь сильно, что я, не подумав, выпалил: "Нет, никто меня не пытал! Нет, никто меня не шантажировал! Я сам, по собственному решению пришел к русским и предложил им свои услуги!"

Эта внутренняя реакция была лишь вспышкой, но оказалась полным признанием. Сознавшись перед допрашиваю-

щими – уверен, столь же неожиданно для них, как и для себя, – что являюсь советским агентом, я стал объяснять подлинные причины, толкнувшие меня на это. Пораженные, они молча слушали меня, но их уважительное отношение ко мне не изменилось, и они не задали ни одного вопроса, ни тогда, ни после, относительно того, действовал ли я по каким-либо иным мотивам, кроме идеологических. Ни тогда, ни после они не предлагали мне помочь избежать наказания в обмен на то, что я мог им сообщить. В конечном счете моя реакция не отличалась от реакции моих друзей Майкла Рэндла и Пэта Поттла, когда в 1989 году стало известно, что именно они помогли мне бежать, и их имена появились в газетах. Они написали книгу "Побег Блейка", в которой признали свою роль в этом. Самым важным для них было, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, почему они это сделали. Они избрали опасность судебного преследования и даже тюрьмы, только бы им не приписывали какие-то ложные мотивы.

Когда я закончил, было около шести – время идти домой. Решили, что машина с шофером отвезет меня в Родлетт, где я переночую на квартире матери. Но мне ничего не следует ей говорить, только то, что мое возвращение в Бейрут откладывается на несколько дней, так как мне необходимо уехать в срочную командировку.

На следующее утро другая машина с шофером заехала за мной, я попрощался с матерью так, как если бы действительно уезжал всего на несколько дней, и помахал ей из окошка машины, не ведая, увижу ли ее когда-нибудь вновь. На Карлтон-гарденз меня ждали Гарри Шерголд, один из допрашивающих, чье имя я забыл, и мой старый друг Джон Куайн. Последнего я хорошо знал по Дальнему Востоку: во время моего пребывания в Корее он возглавлял токийскую резидентуру. Он два или три раза приезжал ко мне туда, а я всякий раз, когда был в Токио на совещании или чтобы передать дипломатическую почту, останавливался в его гостеприимном посольском доме, где Джон жил вместе со своей очаровательной женой. Теперь он пришел отчасти потому, что возглавлял Р-5, отдел контрразведки Интеллидженс сервис, работавший в тесном контакте с МИ-5, а отчасти, как мне кажется, потому, что был моим другом.

В сопровождении полицейских машин – одна впереди, вторая сзади – мы на двух автомобилях отправились в небольшую деревушку в Хэмпшире, где у Гарри Шерголда был

свой коттедж. Там нас встретили его жена и мать, очаровательная старушка с белоснежными волосами, очень напомнившая мне мою бабушку. Наступила пятница, тот самый день, когда я надеялся вернуться в Шемлан.

В следующие три дня происходило нечто абсурдное: все делали вид, что это просто встреча друзей, собравшихся провести вместе уик-энд. Разница заключалась лишь в том, что дом был окружен охраной и всякий раз, когда мы выходили прогуляться, за нами медленно ехала полицейская машина. Такое странное сочетание поразило меня как чисто английское, я бы сказал даже, излюбленно-английское. Помню, например, как провел полдня на кухне вместе со старушкой, жаря оладьи. Я считаюсь чем-то вроде специалиста по оладьям и, когда о них зашла речь, предложил свои услуги. Ночью мы с Джоном Куайном спали в одной комнате. Оставшись со мной наедине, он долго говорил о моей семье и попросил повторить ему причины, по которым я сделал то, что сделал, и которые, как мне казалось, он тщетно пытался понять. Днем велись многочисленные телефонные переговоры с Лондоном, но происходило это в другой комнате, и я не слышал, о чем шла речь. За это время мне стало ясно, что все мы чего-то ждем, однако не имел представления, чего именно.

Хотя моя собственная судьба меня больше не беспокоила, мысленно я был с женой и детьми, матерью и сестрами. Как они примут известие, не повредит ли оно им, что теперь с ними будет?

Пока я смотрел на полицейские машины и машины охраны вокруг дома, мне в голову пришла странная мысль. До сих пор именно мне приходилось остерегаться властей, выискивать малейшие признаки подозрительности с их стороны, боясь, что меня разоблачат. Теперь же, когда я пойман, мы как бы поменялись местами: уже не мне, а властям следовало быть начеку, беспокоиться и глаз с меня не спускать, чтобы я от них не улизнул.

В воскресенье вечером мы все вернулись в Лондон и переночевали в большом доме в одном из западных предместий. Тем же вечером состоялся телефонный разговор, не обрадовавший, насколько я заметил, моих коллег. Очевидно, было принято не то решение, на которое они рассчитывали.

На следующее утро, когда мы заканчивали завтрак, инспектор полиции, если не ошибаюсь, Смит, в сопровождении двух охранников пришел меня арестовать. Я попрощался с

коллегами, которые, как мне показалось, немного сочувствовали мне, а может быть, и жалели меня. Так или иначе, они пожали мне руку и пожелали быть мужественным.

Полицейская машина доставила нас в Скотленд-Ярд, где старший офицер предъявил мне официальное обвинение в соответствии с пунктом I (I) статьи о государственной измене. Взяв отпечатки пальцев, меня обыскали, но не обратили внимания на часы, которые я носил в маленьком кармашке на поясе брюк. Из Скотленд-Ярда нас повезли прямо в полицейский суд на Боу-стрит, где я был взят под стражу сроком на две недели. Вся процедура длилась не более десяти минут. Оттуда инспектор и два его помощника доставили меня в тюрьму Брикстон.

После регистрации меня поместили в большую комнату в больничном крыле, где стояли кровать, стол, стул и маленький радиоприемник. Было 12 апреля 1961 г. Тем вечером в газетах появилось короткое сообщение о том, что некто Джордж Блейк, государственный служащий (без указания места работы), взят под стражу по обвинению в разглашении тайны.

На следующий день я услышал по радио известие, что советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Это сообщение послужило мне огромной моральной поддержкой: я воспринял его как подтверждение того, что работал не напрасно и помогал тем, кто шел в авангарде прогресса, открывая новые горизонты и ведя человечество к лучшему будущему. Тогда мне казалось, что советское общество – самое передовое. Теперь я понимаю, что это действительно было так, но только в одной узкой области. До 70-х годов советские люди еще питали иллюзии, что все время движутся вперед, навстречу коммунизму. Сегодня, благодаря гласности, стало известно: на самом деле они двигались назад.

В тюрьме Брикстон я провел около месяца. Для меня это время отмечено в основном поглощением бесчисленных книг, к которым я имел неограниченный доступ, и визитами, наносимыми мне время от времени солиситором* и адвокатом из юридической службы. Оба мне сразу понравились: они были

---

* Солиситор – в Великобритании адвокат, ведущий дела в судах графств и подготавливающий материалы для барристеров (адвокатов, имеющих право выступать в высших судах).

расположены ко мне, и я верил, что сделают все от них зависящее, однако не завидовал их работе, считая ее довольно неблагодарной после сделанного мною признания.

Несколько раз ко мне приходил тюремный врач, мы с ним болтали, и он был неизменно добр. Оглядываясь назад, я до сих пор думаю, что встретившиеся мне тогда люди обращались со мной как с диковиной, как с человеком, у которого не все в порядке, а не как с опасным преступником.

Второго мая меня посетила жена. Ее сопровождал Джон Куайн, и мы встретились в небольшой комнате в больничном крыле тюрьмы. В день моего ареста Джон Куайн вылетел в Бейрут и сообщил ей страшную новость, сделав это со всей осторожностью и тактом, на которые был способен, чтобы смягчить удар. Затем он забрал ее с детьми в Англию. Джону помогла одна из жен сотрудников посольства, бывшая, как выяснилось, школьной подругой моей жены. Чтобы укрыться от газетчиков, жена с детьми и моя мать временно жили у моего бывшего коллеги по Берлину, имевшего большой дом за городом. И жена, и мать обладали сильным характером и, к счастью, ладили между собой, что помогло им стать опорой и утешением друг другу в те тяжелые дни. Мой арест и известие о том, что все эти годы я был советским агентом, обманывал их и вел двойную жизнь, явились для них страшным ударом и причинили много горя. Долгое время я просто боялся думать, сколько страданий я им принес, столь это было болезненно. Если я и испытывал какие-то угрызения совести за содеянное, то лишь за их горе и за то, что обманывал своих коллег и друзей, хотя и не работал лично против них.

Встреча получилась невеселой, но жена не проронила ни слова упрека. Она рассказала мне, как Джон Куайн сообщил ей новость и какой шок это вызвало. Жена не была рассержена, и в ее поведении я не чувствовал осуждения. Все следующие пять лет она навещала меня. (Для ее отца все это явилось огромным потрясением, и он очень тяжело переживал его. Но ее мать сумела совладать со своими чувствами и дважды приходила ко мне в тюрьму, как я подозреваю, втайне от мужа.) Хотя я и знал, что она не понимает моего поступка и, более того, осуждает его, я чувствовал ее преданность и поддержку в горький для меня час. Из разговора с ней я узнал, что суд состоится на следующий день. Все это было крайне неожиданным, поскольку мне никто ничего не говорил, и я совершенно не успел подготовиться. С другой сторо-

ны, к чему, собственно, было готовиться? К тому, сочтут меня виновным или нет? Мое признание все решило, дело осталось лишь за приговором. Я знал, что по статье о государственной измене самым строгим приговором было четырнадцатилетнее заключение, казавшееся мне тогда невероятно долгим. Вопреки очевидности, я надеялся, что, возможно, мой адвокат сможет убедить судью дать мне меньше, но, по трезвому размышлению, понял, что это невозможно. Кроме того, я не мог исключить, что судья отроет какой-нибудь древний средневековый закон, о котором все забыли, но который никто не отменял, и, согласно ему, меня приговорят к смерти. Вот так, между надеждой и отчаянием, я провел последнюю ночь перед судом. Позднее я понял, в чем заключалась слабость моей позиции: я не изучил должным образом соответствующее законодательство. Если бы я знал закон лучше, то смог бы придумать массу помех для судебного разбирательства.

Сидевший напротив меня старый судья выглядел вполне добродушно. Он и я – два главных участника спектакля, высоко вознесенные над всеми остальными; он, почти не поднимая головы, что-то озабоченно пишет, а я пытаюсь отгадать, что именно. Для него все теперь было так просто: я признал себя виновным, и он знал все факты. Я сам их для него записал, и ему оставалось только определить меру наказания. Его небольшой парик, надвинутый на лоб, почти касался золотой оправы очков и отчасти придавал судье вид старой девы.

Страх перед будущим, неуверенность в том, выдержу ли я годы тюрьмы, мучительное сожаление – ведь стоило только поверить предчувствиям, и я бы не вернулся в Англию, – все эти мысли, которые, бесконечно варьируясь, проносились в голове во время ожидания в тюрьме Брикстон, теперь покинули меня, забились в дальние уголки сознания, опустошив и выключив его.

Вновь я обратил свой взор к залу № 1 суда Олд Бейли*. После отталкивающей убогости тюрьмы, к которой я еще не успел привыкнуть, он выглядел грандиозно и величественно. Судья сидел не в центральном высоком кресле под гербом, а почти с краю. Это нарушало симметрию зала и встревожило меня, но ненадолго.

---

* Центральный уголовный суд в Лондоне.

И вот пришел сам шеф. Его седая голова и крупная фигура выделялись в зале суда среди некоторых моих бывших коллег, явившихся сюда. Я сказал "бывших", так как полагал, что, будучи на скамье подсудимых, обвиняемым по пяти (я так и не смог толком понять, почему по пяти) пунктам статьи о государственной измене, не считаюсь более их коллегой, хотя и не получал никакого уведомления о том, что моя служба в разведке окончена.

Генеральный прокурор сэр Реджинальд Меннингем-Буллер, выступавший в качестве обвинителя, заканчивал свою речь. Пока я рассматривал его, не вникая в то, что он говорил, я думал: до чего же это отталкивающий тип, с дряблыми малиновыми щеками и апоплексическими выпученными глазами сластолюбца. Он выглядел грубым и вульгарным рядом с утонченным королевским адвокатом Джереми Хатчинсоном, выступавшим в качестве моего защитника и сразу же вставшим после его слов, чтобы обратиться к суду.

Он говорил очень хорошо и трогательно. Я был уверен, что его слова произведут впечатление на судью и на всех, кто его слышал. Перед началом слушания дела он навестил меня в маленькой комнатке ожидания под залом суда. Адвокат спросил меня, может ли он в своем обращении к судье сказать, что я глубоко сожалею о содеянном. Это могло бы очень помочь. Я ответил, что не могу согласиться. Во-первых, это было неправдой, так как я чувствовал, что поступил правильно, и соответственно не мог ни о чем сожалеть. Во-вторых, мне казалось недостойным для человека, который в течение почти десяти лет чуть ли не ежедневно фотографировал все важные документы, проходившие через его руки, для их передачи советским властям, вдруг раскаяться только потому, что его выследили и арестовали. Если бы моя деятельность не была обнаружена, я бы продолжал ею заниматься. Он понял меня и не настаивал, хотя очевидно, что мой отказ осложнил его задачу склонить суд к снисхождению.

Когда адвокат закончил, судья объявил короткий перерыв, затем встал, и меня поразило, что он довольно высокого роста. В течение десяти минут, пока его не было, я гадал, сколько мне дадут или, возможно, приговорят к смерти? С другой стороны, если повезет, после столь талантливого и

красноречивого выступления Джереми Хатчинсона, в котором он ясно и с большим пониманием объяснил мои мотивы и которое, как я чувствовал, должно было тронуть судью, срок мог быть и менее четырнадцати лет. Возвращение судьи резко оборвало мои мысли. Допущенная в зал публика заполняла балкон: судья собирался вынести приговор, а эта часть процесса уже не была закрытой.

В своей короткой вступительной речи судья сказал, что своими действиями я свел на нет бо́льшую часть работы британской разведки с конца войны. Он признал, что я исходил из идеологических побуждений, а не из финансовой выгоды. Тем не менее он считал, что, дабы покарать и пресечь, должен быть вынесен показательный приговор. Судья потребовал для меня пять сроков по 14 лет тюремного заключения каждый: три последовательных и два параллельных, пояснив, поскольку никто, кроме него, не мог понять этого, что приговор означает 42 года тюрьмы.

После его последних слов в зале раздались возгласы изумления. Для меня это прозвучало совершенно невероятно, настолько, что мне не удалось удержать улыбку. Скажи он 14 лет, это произвело бы на меня куда более ужасное впечатление. Мой разум отказывался постичь протяженность подобного отрезка времени. Сорок два года находились вне пределов понимания, и поэтому в них было столько же смысла, как если бы он назвал две тысячи лет. Кроме того, кому дано предвидеть, что может случиться за столь долгий срок и какие великие перемены могут произойти?

Когда судья покинул зал заседаний, меня отвели вниз в одну из камер. Она оказалась маленькой и темной, предназначалась только для ожидания, и из мебели там были лишь деревянный стул и небольшой стол. Ее грязные сырые стены пестрели надписями, среди которых попадались просто непристойные, но большинство свидетельствовало об отчаянии, горечи, вызове или надежде тех, кто ждал здесь. Пока я был там, ко мне пришел врач из тюрьмы Брикстон. Я еще не утратил привычек дипломатического мира, в котором вращался. И хотя он явно пришел узнать, каково мое самочувствие, я принял это за визит вежливости и был тронут его добротой. Лишь позднее я понял, что он пришел исключительно по

долгу службы, посмотреть, как я принял удар и не нужны ли транквилизаторы. Ближе к вечеру меня приковали наручниками к двум тюремным служащим и в небольшом фургоне отвезли в тюрьму Уормвуд-Скрабс. По дороге я заметил продавцов газет, несших плакаты с моей фотографией, сделанной восемь лет назад, после моего возвращения из Кореи, гласившие, что новости о приговоре появятся в первом же вечернем выпуске газет. На короткое время я стал сенсацией.

Вскоре огромные тюремные ворота распахнулись, пропуская фургончик, и мгновенно закрылись за ним. Наступил еще один переломный момент в моей жизни. Начался новый этап, и все говорило за то, что он окажется долгим.

Глава десятая

В Уормвуд-Скрабс меня провели в "приемную", должным образом внесли в тюремные книги, записав самую раннюю дату моего освобождения – 1989 год и самую позднюю – 2003 год. Всю одежду и личные вещи у меня отобрали, после ванной выдали тюремную одежду и отвели в больницу. Это было сделано вовсе не потому, что я находился в шоке или в состоянии полной подавленности, как писали в газетах (что вполне могло бы быть правдой), просто таков обычный тюремный порядок. Всех новоприбывших, осужденных на пожизненное заключение или другие длительные сроки, помещали сначала в тюремную больницу, где около недели наблюдали за их состоянием. Здесь мне вновь пришлось раздеться, и я получил пижамную пару слишком большого для меня размера без пуговиц и резинки на поясе брюк. Меня заперли в камере, вся обстановка которой состояла из лежащего на полу резинового матраца. Следующий день оказался хлопотным: я принял целую вереницу посетителей, среди них главного врача, начальника тюрьмы и его заместителя, капеллана и других, чьих должностей я не знал. Они, с любопытством глядя на меня, вежливо спрашивали, как я себя чувствую. У меня создалось смутное впечатление, что, услышав мой ответ "хорошо, спасибо", они оставались слегка разочарованными.

В тот же день меня также навестил мой добрый и опытный солиситор мистер Кокс, по просьбе которого мне вернули тюремную одежду и отвели в блок для посещений. Он пришел поторопить меня с подачей апелляции, и я согласился больше для того, чтобы доставить ему удовольствие (ведь он так настаивал), нежели потому, что питал какие-то надежды на

возможность хоть что-то изменить. Я был уверен, что мой приговор был не результатом чувств или настроения судьи, а заранее обдуманным актом государственной политики.

Это стало ясно по количеству предъявленных обвинений. В полицейском суде и на предварительном слушании дела речь шла только об одном. На суде же их неожиданно стало пять. Почему? Максимальное наказание, установленное парламентом по закону о государственной тайне, составляет 14 лет. Но этого, естественно, было мало. Подобный приговор сочли бы слишком мягким, особенно американцы, поднявшие шум и жаждавшие крови. Итак, следовало найти способ увеличить срок.

Обвинение в заговоре, хорошо сработавшее во время шпионского процесса в Портленде несколькими месяцами раньше и давшее возможность отправить Лонсдейла и чету Крюгеров в тюрьму (первого – на 25, а вторых – на 20 лет), в моем случае не годилось, поскольку был всего один обвиняемый. Тогда кто-то из руководства прокуратуры вспомнил дело Тичборна, спор о титуле в прошлом веке, в котором судья вынес отдельные приговоры по каждому обвинению касательно одного и того же преступления. Годы, когда я передавал информацию советской разведке, были разделены на пять периодов в соответствии с различными постами, которые я занимал в это время, и для каждого периода заготовили отдельное обвинение. Произвольность подобного деления очевидна, так как одно обвинение включало пять лет, другое – одну или две недели, тогда как остальные три – от одного до двух лет. По каждому обвинению я получил полных 14 лет, три срока из пяти должны были проистекать последовательно, а два – параллельно, что и составляло 42 года. Через несколько месяцев после суда в прессе появились утверждения, что я несу ответственность за смерть около 40 агентов, работавших на британскую и прочие западные разведки, и что присужденные мне 42 года складываются из одного года заключения за каждого агента.

Прежде всего, на суде, во время всего слушания дела, не упоминалась моя ответственность за смерть каких-либо агентов. Этих заявлений не было и быть не могло. Тем не менее я не отрицаю, что действительно рассекретил перед советской разведкой многих агентов, но не 40, как предполагалось, а почти 400. Но пусть кто-нибудь назовет мне хоть одного казненного. Многие из них сегодня активно участвуют в демок-

ратических движениях в восточноевропейских странах. Я передал их фамилии, твердо зная, что они никак не пострадают. Это было моим главным условием. Против них должны быть приняты чисто профилактические меры и закрыт доступ к важной информации, передача которой могла нанести вред интересам стран социалистического блока.

Так и было сделано.

Во-вторых, в этой связи мне хотелось бы сделать еще одно замечание. Выданные мною агенты были вовсе не безвредны. Они по тем или иным причинам обдуманно собирались причинить вред своей собственной стране и правительству, зная о связанном с этим риске. Иными словами, они были в том же положении, что и я, и подвергались той же опасности. И были преданы точно так же, как был предан я.

Часто о них говорят как об английских агентах. Это верно в том смысле, что они работали на английскую разведку, но англичанами они не были. Все агенты являлись гражданами стран социалистического блока. Я подчеркиваю сказанное лишь для того, чтобы внести ясность, а не потому, что это имело какое-то значение. Лично я не вижу разницы между британцем и готтентотом. Все мы люди и одинаково ценим жизнь.

Помимо рассекречивания агентов вместе со структурой и организацией Интеллидженс сервис я передал имена многих сотрудников разведки (все англичане) с перечислением занимаемых ими тогда постов. Это никак не отразилось на их жизни. Им грозило лишь не получить "добро" на их назначение в одну из стран социалистического лагеря или, если подобное разрешение они получали, а впоследствии были пойманы на шпионаже, их просто просили покинуть страну в трехдневный срок.

В своей книге "Суперагент Блейк" Монтгомери Хайд, писатель, специализирующийся на темах разведки, прямо обвиняет меня в смерти двух агентов. Первым был важный перебежчик из Восточной Германии генерал-лейтенант Роберт Биалек, глава службы безопасности ГДР, которого, как утверждает мистер Хайд, в 1956 году похитили в Западном Берлине, привезли в его бывшее Главное управление и после долгого допроса казнили. Совершенно честно заявляю, что я никоим образом не был здесь замешан и впервые узнал об этом из упомянутой книги.

В этой связи необходимо сделать два замечания: во-пер-

вых, мистер Хайд пишет, что генерал-лейтенант Биалек жил по тому же адресу, что и я, то есть Западный Берлин, Платаненаллее, 26. Этого просто быть не могло, ведь указанный дом занимали члены британской Контрольной комиссии и офицеры вооруженных сил с семьями. Там не жил ни один немец. Во-вторых, что важнее, если мистер Хайд не ошибается и в Западном Берлине действительно был украден дезертировавший шеф Государственной службы безопасности ГДР, я, зная правила в отношении перебежчиков, совершенно уверен, что британские власти никогда не поселили бы его в квартире всего в трех милях от границы сектора, которую можно беспрепятственно пересечь в любое время. Более того, не странно ли, что сам генерал-лейтенант Биалек согласился жить столь "открыто"? На самом деле перебежчик его ранга и значимости был бы немедленно, в день прибытия, отправлен из Берлина самолетом в Западную Германию или Англию, а затем, после краткого допроса, оставлен в одной из этих стран или переправлен в другое безопасное место. Что же касается самого похищения, могу лишь повторить: я к нему никакого отношения не имею.

Второй случай, приведенный мистером Хайдом, касается подполковника ГРУ (Главного разведывательного управления) Петра Попова, который, я цитирую:

> "...первоначально работал в Вене, где добровольно предложил свои услуги американцам, бросив записку на переднее сиденье американской дипломатической машины. Его предложение было принято, и он попал под опеку Джорджа Кисвальтера, офицера ЦРУ, воспитывавшегося в Санкт-Петербурге до революции и свободно говорившего по-русски. За последующие два года Попов передал Кисвальтеру имена и коды около 400 советских агентов на Западе. В 1955 году во время отпуска он вернулся в Москву и, поскольку ГРУ ни о чем не подозревало, был назначен в Восточный Берлин. Однако этот перевод означал, что у ЦРУ не будет возможности поддерживать с ним связь. Попов тоже понял это, написал письмо Кисвальтеру, объясняя в нем свои затруднения, и вручил его одному из членов британской военной миссии в Восточной Германии. Тот передал послание в МИ-6 (Олимпийский стадион, Западный Берлин), где оно легло на стол Джорджа Блейка вместе с инструкцией переслать его в

Вену для ЦРУ. Блейк так и сделал, но лишь после того, как прочитал письмо и передал его содержание русским, которым потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать.

Попов продолжал встречаться с Кисвальтером, но попал под подозрение после того, как передал американцам, что ему предстояло забросить в Нью-Йорк секретного агента, молодую девушку по фамилии Тайрова. Сделать это следовало по американскому паспорту, принадлежавшему парикмахерше польского происхождения, жившей в Чикаго, и "потерянному" во время ее визита на родину в Польшу. ЦРУ с некоторой неохотой предупредило о ней ФБР, и девушку окружили столь плотной слежкой, что она это почувствовала и самостоятельно приняла решение вернуться в Москву. ГРУ отозвало Попова в Москву, и он обвинил во всем Тайрову. Его объяснениям поверили, и некоторое время он, как обычно, работал в Главном разведуправлении. Тогда же его связным стал Рассел Ленгрелл, сотрудник ЦРУ и американского посольства в Москве.

КГБ, не спускавший с Попова глаз, 16 октября 1959 г. перешел к действиям и арестовал его в московском автобусе во время передачи записки Ленгреллу. Последнего тоже арестовали, однако, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью, ему удалось освободиться. А Попову была уготована участь предателей: так же как и его предшественники, он был приговорен к "высшей мере" (согласно газете "Известия"). Он принял страшную смерть: в присутствии его коллег по ГРУ Попова заживо сожгли в топке".

Я привожу этот отрывок полностью, так как, по-моему, он объясняет, как на самом деле был пойман Попов. Прежде всего я должен заявить, что никогда не слышал о Попове, пока не прочел о нем в книге мистера Хайда. Не я предупредил советскую разведку, что он – агент ЦРУ. Письмо, врученное им сотруднику британской военной миссии в Восточной Германии, не могло лечь на мой стол: в берлинской резидентуре не я отвечал за связи с этой миссией и с ЦРУ. Письмо должно было пройти по совершенно другому каналу. Во-вторых, очевидно, что в 1955 году советские власти еще не знали, что Попов – американский агент, а если бы я их проин-

формировал, как пишет мистер Хайд, они уже тогда были бы в курсе дела. Знай они об этом, то: а) Попову бы не позволили отправлять Тайрову в США с секретным заданием; б) не поверили бы его объяснениям, что Тайрова сама его провалила; в) не стали бы его держать столько лет в Главном разведуправлении.

Советские власти узнали о работе Попова на ЦРУ просто в результате слежки за Ленгреллом, который, как сотрудник посольства США в Москве и предполагаемый связной ЦРУ, находился под постоянным наблюдением. Они дождались момента передачи Поповым записки и арестовали обоих. Что же касается способа казни Попова, остается только удивляться, откуда он стал известен мистеру Хайду. Происходи все действительно так, как он это описал – в чем я лично сильно сомневаюсь, – подобный факт держался бы в строжайшей тайне в любой стране, а в столь закрытой, как Советский Союз, особенно.

Был ли вынесенный мне приговор справедливым или нет, вопрос спорный. Но, на мой взгляд, бесспорно то, что он явно несправедлив, если сравнить его с тем, как обошлись с двумя другими советскими разведчиками – Блантом и Филби. Блант получил полное прощение, ему позволили сохранить высокое положение при дворе и титул. Что же касается Филби, который, я уверен, сделал не меньше меня, дабы расстроить планы британской и других западных разведок, то высокопоставленный сотрудник Интеллидженс сервис Николас Эллиот, тот самый, что вручил мне в Бейруте распоряжение вернуться в Англию, был специально послан в Бейрут с целью предупредить его, чтобы он не возвращался в Англию. Если бы он тем летом все-таки вернулся, сказал мне сам Филби много лет спустя, то был бы арестован и судим. Почему их отпустили, тогда как мне пришлось предстать перед судом и получить столь суровый приговор? Могу ответить на это только так: в отношении Бланта и Филби последующие возможные скандалы должны были быть предотвращены любой ценой. Кроме того, оба они были англичанами, и не простыми, а частью истэблишмента, а потому, казалось бы, заслуживали большего, а не меньшего порицания со стороны сограждан. Я же, наоборот, не принадлежал к истэблишменту, был иностранного происхождения, и меня, как полагали, вполне можно было примерно наказать в назидание другим.

Как бы то ни было, я не жалуюсь, ведь столь долгому сроку я обязан своей свободой. Он вызвал ко мне симпатии не только товарищей по заключению, но и многих из тюремного персонала. Он побудил меня попытаться вырваться из тюрьмы, ведь воистину я мог сказать, что мне нечего терять, кроме своих цепей. Все это позволило мне со временем совершить успешный побег. Если бы меня осудили на 14 лет, подобный срок произвел бы на меня гораздо более тяжелое впечатление, чем эти фантастические 42 года, но вызвал бы значительно меньше интереса и приязни ко мне со стороны других, и вполне вероятно, что я отсидел бы их до конца.

Неделя в больнице, по счастью, пролетела с невероятной быстротой, и мне не терпелось как можно скорее влиться в обычный распорядок тюремной жизни, привыкнуть к новым условиям и совместному существованию с остальными заключенными, что на первых порах могло оказаться далеко не простым делом. Бо́льшую часть времени я проводил за чтением благодаря больничному библиотекарю, тоже заключенному, который, в нарушение правил, беспрепятственно снабжал меня книгами. Это помогло пережить первые дни. Обложившись книгами, я тщетно пытался расслышать новости, доносившиеся до моего окна из какого-то дальнего радиоприемника. Иногда мне удавалось уловить несколько слов и свое имя, но этого было недостаточно, чтобы понять, о чем идет речь, и я испытывал танталовы муки.

Спустя неделю меня отвели из больницы обратно в "приемную". Там мне приказали снять бывший на мне синий тюремный костюм и дали взамен другой – с большими белыми заплатами на куртке и брюках*. Служащий тюрьмы, передавший мне эти изрядно поношенные вещи, сказал, что отныне по приказу начальника тюрьмы я нахожусь под "спецнадзором". Он не объяснил, что это значит, а так как он не был склонен к разговору, я не стал спрашивать. Но вскоре все прояснилось: это особый режим для заключенных, совершивших побег и вновь пойманных или, согласно обнаруженным уликам, готовивших побег. Обычно он устанавливался начальником тюрьмы, который также имел право освобождать заключенных от "спецнадзора".

* Как правило, в форме ромба или круга на груди, спине (напротив сердца) и по обе стороны колена, с тем чтобы охране удобнее было целиться в случае побега заключенного.

В такой большой тюрьме, как Уормвуд-Скрабс, служившей также изолятором, всегда было от пяти до десяти заключенных под "спецнадзором". Они могли выходить из камер только на работу или прогулку и передвигались по тюрьме под усиленной охраной. Каждый день их обязательно переводили в новые камеры, так что никто не мог знать заранее, где будет размещен, и не имел возможности выпилить прутья или подделать ключи. Их часто обыскивали, а каждый вечер, в семь часов, забирали всю одежду, за исключением ночной рубашки; в камерах всю ночь горел свет и проводились постоянные проверки.

Первые шесть месяцев заключения я провел в секторе "С", одном из пяти не сообщавшихся между собой высоких зданий в псевдоготическом стиле. В сектор "С" помещались недавно осужденные заключенные, ожидавшие перевода в другие тюрьмы, и те, кто отбывал срок не более трех лет. Высокое просторное здание этой большой "гостиницы" со стальными лестницами и четырьмя площадками-этажами с сотней камер на каждой целый день оглашалось топотом марширующих ног, громкими приказами, сигнальными звонками, стуком дверей камер, звоном металлической посуды и гулом голосов.

Когда я прибыл в Уормвуд-Скрабс, там уже находился еще один советский разведчик, Лонсдейл, – так называемый "тайный резидент" советской разведки, бывший центральной фигурой в портлендском процессе над шпионами, приговоренный несколькими месяцами раньше к 25 годам тюрьмы. В тот день, когда меня перевели из больницы, Лонсдейла, содержавшегося до тех пор в обычных условиях, также поместили под "спецнадзор".

Я встретил его в первый день моего пребывания в секторе "С", когда меня отвели вниз, во двор, на ежедневную получасовую прогулку после ленча. Так как мы оба были под "спецнадзором", мы гуляли вместе, в компании еще шести "заплатников", образуя маленький внутренний круг, двигавшийся в направлении, обратном движению большого, неторопливо переставлявшего ноги круга из почти семисот заключенных. Он, должно быть, знал, кто я, так как сразу же подошел ко мне, пожал руку и представился. Лонсдейл был среднего роста, крепкого сложения, с широким веселым лицом и очень умными глазами. Он говорил с явным "заморским" акцентом, пересыпая речь американскими оборотами.

Когда я узнал его лучше, он поразил меня тем, с каким искусством он играл свою роль. Встретив его, никто бы ни на секунду не усомнился в том, что перед ним этакий рубаха-парень, трудолюбивый, зарабатывающий себе на хлеб рекламой канадского бизнеса, то есть человек, за которого он себя выдавал.

Он с замечательной стойкостью и неизменно хорошим настроением переносил выпавшие на его долю испытания. Лонсдейл был великолепным рассказчиком, и то, что он был рядом со мной в первые недели заключения, послужило для меня огромной моральной поддержкой. Во время наших ежедневных прогулок по мрачному тюремному двору мы, конечно же, часто обсуждали наши шансы выбраться на свободу. Лонсдейл был советским гражданином, и всегда оставалась возможность, что русские поймают английского шпиона и произведут обмен. Я же с самого начала понял, что для меня подобной перспективы не существует. Я был британским подданным, бывшим государственным служащим, и власти, которые вообще недолюбливают подобные сделки, никогда меня не отпустят. Британское уголовное законодательство не предусматривает амнистий, так что мне оставался только побег.

В этой связи я вспоминаю нашу беседу, которая состоялась за несколько дней до его внезапного перевода в другую тюрьму. "Что ж, – сказал он своим обычным оптимистическим тоном, – я не знаю, что произойдет, но уверен в одном. Во время большого парада по случаю 50-летней годовщины Октябрьской революции (в 1967 г.) мы с тобой будем на Красной площади". Тогда это прозвучало фантастично, ведь наши долгие сроки только начались. Но в жизни случаются чудеса. Он оказался совершенно прав. Мы оба присутствовали на параде, а потом пили шампанское.

Однажды он не появился на прогулке. Среди ночи, без предупреждения, его перевезли в тюрьму на севере Англии. Я сожалел о его переводе, ведь я потерял доброго друга и веселого товарища.

Строилось много предположений в отношении того, почему нам позволили встретиться. В конце концов, одно из главных правил безопасности – не допускать общения двух находящихся под арестом разведчиков. Предполагали, что нас с Лонсдейлом определили под "спецнадзор" специально, чтобы подтолкнуть друг к другу с целью дать возможность

службе безопасности подслушивать наши разговоры. Лонсдейл упорно отказывался открыть, кем он был на самом деле, и продолжал выдавать себя за канадца, и они, возможно, надеялись, что в беседах со мной он скажет правду. Как бывшее второе лицо в отделе "Y" могу сказать, что это совершенно нереальное допущение. Даже с помощью самых совершенных подслушивающих средств, существовавших тогда, наши разговоры в тюремном дворе – а мы встречались только там – никак не могли быть подслушаны.

Мы ходили по большому открытому двору, один за другим, в центре огромного, медленно двигающегося круга из семисот болтающих, кричащих и шаркающих заключенных. Ни один микрофон не смог бы уловить наш разговор.

Все объясняется много проще. В МИ-5 забеспокоились, когда узнали, что два важных советских агента содержатся в одной тюрьме. За ними следовало установить "специальный надзор", дабы быть уверенными, что они не смогут войти в контакт друг с другом. Приказ был передан в Управление тюрьмами, а оттуда – начальнику Уормвуд-Скрабс, который сразу же его выполнил. Вот здесь и произошла ошибка, так как "спецнадзор" на языке тюремной администрации означает совершенно иное, нежели то, что понимали под этим в МИ-5. Вместо того чтобы предотвратить мои встречи с Лонсдейлом, их, наоборот, максимально облегчили. Еще одна типично бюрократическая неувязка.

То, что это объяснение вполне правдоподобно, явствует, как я думаю, из ответа министра внутренних дел на вопрос, заданный ему по этому поводу в парламенте в 1964 году. Мистер Брук, занимавший тогда этот пост, категорически отрицал, что между нами происходили какие-либо встречи, и заверил, что были приняты меры с целью изолировать нас друг от друга во время пребывания в одной тюрьме. Когда ему вновь возразили, он еще несколько раз отрицал это. Позднее, когда один бывший заключенный показал под присягой, что видел нас несколько раз вместе, министр внутренних дел сообщил палате общин, что указанный заключенный отличался сомнительным душевным здоровьем и был направлен в Уормвуд-Скрабс на психиатрическое обследование. И все это несмотря на то, что не один заключенный, а еще по меньшей мере тысяча других, не говоря о тюремном персонале, могли уличить его во лжи палате общин.

Я был уже около шести месяцев в тюрьме, когда однажды утром меня вызвали в "приемную" и вернули обычную тюремную одежду. Я больше не значился в списках "спецнадзора". В тот же день меня перевели в сектор "D". Еще раньше я был определен на работу в швейную мастерскую, где кто-то, явно обладавший чувством юмора, поручил мне шить мешки для дипломатической почты.

Сектор "D", так называемая центральная тюрьма, предназначался для тех, чей срок заключения превышал три года. Парадоксально, но режим там был мягче, чем в секторе "C", где отбывались короткие сроки. Управление тюрем страдало от острой нехватки кадров. Поэтому была выработана система, сокращавшая до минимума нагрузку для заключенных с длительными сроками и облегчавшая возможность надзора за ними силами имевшегося в наличии персонала. Таким образом, удалось избежать многих неприятностей, с которыми было бы трудно справиться. Так что за двойными воротами и решетками скрывается определенная свобода. Камеры отпирались в семь часов утра и не запирались до восьми вечера. Заключенные питались здесь же, в секторе "D", и во внерабочее время были вольны собираться, смотреть телевизор или читать в своих камерах. Прожившим там некоторое время разрешалось иметь свой радиоприемник. Там же стоял большой титан, всегда полный кипятка для чая или кофе, которые можно было купить в тюремной лавке. Раз в неделю показывали кинофильм.

Этот режим – прекрасный пример чисто английского рационализма. Он вполне удовлетворяет заключенных и позволяет властям охранять их минимальным штатом. В секторе "D" находилось около 370 заключенных, примерно 70 из которых отбывали пожизненное заключение за убийство, и по меньшей мере еще 100 человек, осужденных за различные преступления насильственного характера. Однако, когда все заключенные собирались вместе, дежурило всего два охранника. Если и возникали иногда какие-то неприятности, то, по крайней мере, не в тот период, когда я был там.

Хотя я не находился больше под "спецнадзором" и мог нормально общаться с товарищами по заключению, меня продолжали бдительно сторожить. Для меня был выработан некий промежуточный режим, что-то среднее между "спецнадзором" и обычным тюремным распорядком.

Заключенные передвигались по тюрьме группами, кото-

рые вели их заслужившие доверие начальства собратья, прозванные "командирами", или "голубыми повязками", так как на рукаве они носили повязки такого цвета. Меня же везде водил охранник, и была заведена специальная книга, где отмечалось мое местонахождение в течение дня. Это имело свое преимущество, так как я всегда обслуживался вне очереди. Швейная мастерская была самой надежной из всех, и поэтому меня определили именно туда. Я проработал там пять лет. Этот труд считался в тюрьме самым неквалифицированным и использовался в качестве наказания. Большинство заключенных, осужденных на длительный срок, не находились здесь дольше нескольких недель, а потом получали более подходящую работу или обучались ремеслам. В основном в этой мастерской трудились эпилептики, душевнобольные, наказанные и ждавшие перевода в другую тюрьму. И наконец, ежемесячные свидания с приходившими меня навестить происходили в маленькой комнате и в присутствии охранника. Это ограничение являлось для меня самым болезненным. Остальные заключенные общались с посетителями в большой столовой, за отдельными столиками, под общим присмотром охранника, сидевшего вне пределов слышимости.

Тем не менее справедливости ради следует признать, что тюремные власти старались смягчить это ограничение тем, что, если позволял график дежурств, на моих встречах с посетителями присутствовал один и тот же человек. Это был добродушный, жизнелюбивый отставной армейский сержант, который со временем стал для нас почти членом семьи. Мы, со своей стороны, никогда не пользовались его добротой и не нарушали тюремные правила, передавая записки или как-нибудь еще. Жена регулярно приходила раз в месяц вместе с моей матерью или другими родственниками. Они всегда приносили бутерброды или домашние пироги, доставлявшие мне истинное наслаждение. Иным способом передавать пищу запрещалось. В основном мы говорили о семейных делах, а иногда я рассказывал им маленькие истории из тюремной жизни. Через месяц после суда жена родила третьего сына. С самого начала мы решили, что на свидания со мной детей лучше не брать, и строго этого придерживались. Посещения, хотя я и не мог бы обходиться без них, были очень тяжелы психологически для всех нас и всегда оставляли чувство огромной грусти, стоило только подумать о разрушенной

жизни. К счастью, мои жена и мать, помимо того что поддерживали друг друга, встретили сердечную помощь со стороны своих друзей и родственников, что до некоторой степени облегчило их участь. Большинство этих людей проявили себя с наилучшей стороны.

Мне с самого начала было ясно, что, если я хочу бежать, необходимо создать у всех окружающих твердое убеждение, что я не собираюсь этого делать. Совсем не легкая задача. Все, начиная с начальника тюрьмы, казалось, полагали, что никто не в состоянии смириться со столь тяжелым приговором и в конце концов попытка побега неизбежна. У одного охранника даже вошло в привычку, где бы он меня ни встречал, спрашивать, скоро ли состоится мой побег. Однако время шло, ничего не происходило, и он, похоже, был искренне разочарован, что я еще в тюрьме. Так что могу утверждать, что, когда я в конце концов все-таки убежал, это было полной неожиданностью для всех. Тюремные власти, да и заключенные пришли к убеждению, что я успокоился, смирился с приговором и решил извлечь максимум возможного из тюремной жизни. Это во многом соответствовало действительности, но совершенно не исключало планов побега.

Я понимал, что самым важным для меня было стараться поддерживать душевную и физическую форму. Я не видел смысла тратить энергию на борьбу с тюремной системой, тем более что это все равно было бесполезно. Вместо этого я с самого начала решил беречь силы, чтобы, когда представится возможность убежать, не упустить ее.

Такое поведение, между прочим, расположило ко мне персонал тюрьмы. Я не доставлял ему много хлопот, а значит, у персонала было меньше работы, что ценит большинство людей. Многие заключенные испытывают затаенную ненависть и злобу к тюремным служащим. Это столь же неразумно, как обижаться на тюремную стену. Охранник – не более чем ее человеческое подобие и так же безответен. Я считаю их в основном здравомыслящими и честными людьми, сдержанно и тактично исполняющими трудную работу. Некоторые из них были даже сердечны и искренне пытались помочь попавшим в беду или переживающим семейные неурядицы заключенным. Лишь немногие являлись явными садистами и, если бы позволяли правила, с удовольствием обращались бы с нами жестоко. Но это исключение. В своих отношениях с персоналом тюрьмы я всегда держался на расстоянии, но был вежлив. Мы

неплохо ладили между собой – важный фактор для того, кто отбывает длительное заключение.

С большинством заключенных я жил в согласии. Сначала я ожидал, что могу столкнуться с недобрым отношением к себе. Профессиональные преступники обычно придерживаются крайне консервативных взглядов, что, возможно, и неудивительно, если иметь в виду их немалую "долю" от свободного предпринимательства и частной собственности. Я не думал, что эти люди могут быть ко мне особенно расположены. К моему удивлению, все оказалось наоборот. В тюрьме существует строгая иерархия в отношении преступников, получивших большие сроки, на вершине которой находятся ограбившие банк, бизнесмены-обманщики и мошенники. Из-за продолжительности срока и характера моего преступления оказалось, что я принадлежу к тюремной аристократии. Многие смотрели на меня как на политического заключенного, вопреки тому что британское правительство отрицает существование подобной категории в Англии.

Возможно, из-за важной роли, которую играла в их истории длительная борьба за гражданские и религиозные свободы, англичане склонны уважать убеждения других, если чувствуют их искренность. Они могут не разделять, осуждать их и решительно пресекать порождаемые ими действия, но не перестают уважать человека, который их придерживается. Это качество, на мой взгляд, достойно восхищения, и, как показал мой опыт, оно вовсе не миф, а реальность, о чем свидетельствует отношение ко мне со стороны товарищей по заключению, персонала тюрьмы и многих других, кого я встретил после суда.

Некоторым заключенным я мог кое в чем помочь. Я выслушивал их истории, рассказы о столкновениях с законом и семейных неурядицах. Многим не очень удавалось изложить свои мысли на бумаге, так что я помогал им составлять прошения в Министерство внутренних дел, если они хотели добиться пересмотра дела, условного освобождения или перевода в другую тюрьму по семейным соображениям. Многие заключенные, как я заметил, писали прошения лишь для того, чтобы дать выход затаенной обиде на власти, и настаивали на включении в текст ругательств и оскорбительных замечаний. Я отказывался делать это и спрашивал, чего именно они хотят: облегчить душу или воспользоваться реальным шансом, чтобы их прошение было удовлетворено.

Кроме того, я помогал им, храня для них табак. В тюрьме табак является общепринятой валютой для оплаты всех видов услуг: нанять другого заключенного, чтобы тот убрал в вашей камере, дать кому-нибудь из прачечной погладить вашу одежду или получить от человека, работающего на кухне, хороший бифштекс с жареной картошкой. Один молодой американский "хиппи", сидевший за наркотики, зарабатывал табак, сочиняя порнографические рассказы и подгоняя их под вкусы своих клиентов. Бóльшая часть "контрабандного" табака поступала во время свиданий, и тюремные власти пытались препятствовать этому, проводя частые обыски заключенных и их камер. Так как было известно, что я не курю и не покупаю табак в лавке, меня часто просили, чтобы я прятал излишки их табака в своей камере. Позже, когда через пять лет, проведенных в швейной мастерской, меня сделали управляющим тюремной лавкой и под моим контролем был весь запас продававшегося там табака, я мог хранить большее количество излишков, просто присоединяя их к этому запасу, который никогда не проверяли. Так я стал чем-то вроде тюремного банкира. Думаю, мой каирский дядя оценил бы юмор этой ситуации.

Как и следовало ожидать, в тюрьме я столкнулся с отвратительными типами, но также встретил и много людей с благородными качествами, такими как мужество, душевная стойкость и бескорыстие. Люди, с которыми мне нравилось разговаривать, были в основном отпетыми мошенниками, чрезвычайно умными и занимательными, с неиссякаемым запасом историй. Со временем я очень подружился с некоторыми из них и всегда буду вспоминать о них с удовольствием.

Тесное общение в течение пяти лет с самыми разными заключенными привело меня к убеждению: они сетуют на то, что попали в тюрьму, не больше, чем пациент больничной палаты. Это наблюдение укрепило мою веру в отсутствие свободы воли и в правоту слов святого апостола Павла в Послании к Римлянам: "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое" (гл. 7, стихи 19–21).

Поэтому мне кажется, что существующая система наказания, пресечения (по-моему, оба эти понятия суть одно и то же) и перевоспитания столь малоэффективна в достижении своих

задач прежде всего потому, что основывается на ложном представлении о человеческом разуме. Кроме того, она рассчитана на большие группы заключенных и не предполагает индивидуального подхода.

"Внутренние" условия таковы, что тюрьмы становятся вербовочным пунктом для последующих преступлений. Многие заключенные, пройдя тюремную "школу", выходят из нее более опасными для общества, чем когда попадают туда. Если подумать, это и неудивительно. Представьте себе больницу, где все пациенты, независимо от их болезней и травм, будь то рак, холера, пневмония, аппендицит или сломанная нога, находятся в одной палате и получают одно и то же лечение, скажем, ударные дозы слабительного. Никто не станет ожидать, что после такого "врачевания" они выйдут из больницы здоровыми людьми. Подавляющее их большинство принесет свои болезни назад в общество и вполне может заразиться новыми. Вот и тюремная система работает так же.

В чем же дело? На протяжении последних двухсот лет, и особенно в ближайшие пятьдесят, человечество делало важные открытия, касающиеся Вселенной, в которой мы живем, открытия, оказавшие самое серьезное воздействие на наш образ жизни и на наше отношение к ней. Но до сих пор было предпринято сравнительно мало исследований в области другой, не менее загадочной Вселенной – той, что внутри каждого из нас.

Я верю, что с ростом наших знаний об этой внутренней Вселенной цель будет достигнута, когда новые достижения позволят отвергнуть старую систему уголовного законодательства и принять новую. Отличительной чертой этой системы станет, как я полагаю, ее скорее профилактический, чем исправительный аспект. Потребуется много времени и знаний, прежде чем этот момент настанет и общество будет согласно выделить необходимые средства для изучения вопроса, подготовки персонала и создания учреждений, способных реализовать индивидуальный подход к преступникам, подобный тому, который сегодня все чаще и чаще применяется к душевнобольным.

А пока это время не пришло, остается только мириться с существующей системой. Она все же лучше, чем никакая, и ее отсутствие означало бы для государства отказ от той самой функции, для которой оно и возникло. При всех своих ошибках тюрьма, несомненно, действует как весьма реальный сдер-

живающий фактор, влияющий на поведение многих, хотя и не всех, людей.

Сейчас, когда я пишу это, с сожалением осознаю, что мой побег мгновенно повлек за собой серьезное ужесточение условий содержания заключенных, в первую очередь отбывающих длительные сроки. Так что нарисованная здесь картина тюремной жизни больше не соответствует действительности. Мне, право же, очень жаль.

Власти запаниковали, и принятые ими меры лишь нанесли ущерб декларированной цели тюремной системы: перевоспитанию преступников. И хотя это правда, что меньшему количеству заключенных теперь удается бежать, их содержание в тюрьмах, если процитировать "Таймс", "стало оскорблением человеческого достоинства".

Чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, я возобновил занятия арабским языком, столь резко прерванные моим арестом. Я спросил, нельзя ли мне воспользоваться возможностью, доступной для всех заключенных, обладающих необходимой подготовкой, учиться на заочных курсах Лондонского университета. Тюремные власти удовлетворили мою просьбу. Думаю, они были даже рады этой инициативе, поскольку поддержание в той или иной степени моего душевного равновесия, пока я был на их попечении, входило в их задачу. Это был многолетний план, и когда они со временем увидели, что я серьезно отношусь к занятиям и каждый год сдаю положенные экзамены, это сыграло важную роль в том, чтобы убедить их, что я и не помышляю о побеге.

Упражнения по системе йоги, которыми я занимался уже много лет, в огромной степени помогали мне поддерживать хорошую форму. Я делал их каждый вечер перед тем, как лечь спать, и они обеспечивали мне хороший сон. Однажды вечером, когда я стоял на голове, ночной дежурный заглянул в "глазок" камеры, проверяя, все ли в порядке, прежде чем выключить свет. Увидев меня в таком необычном положении, он, наверное, был поражен, потому что спросил слегка встревоженным голосом, хорошо ли я себя чувствую. Я заверил его, что все в порядке, и он зашаркал прочь, бормоча: "Ну конечно, чего еще ожидать от человека, которому сидеть 42 года".

Тюремная пища содержит много крахмала. В основном

она состоит из каши, хлеба, картофеля и мучного. При отсутствии упражнений это легко может привести к избыточному весу, особенно в моем возрасте. Так что я внимательно следил за этим, приучил себя есть очень мало, и подобный режим вполне меня устраивал. Кроме небольшого периода, когда я жестоко страдал от фурункулеза, я больше не болел в тюрьме. Я даже перестал простужаться, что всегда, весной и осенью, происходило на воле.

В итоге не могу сказать, чтобы временное пребывание в Уормвуд-Скрабс нанесло мне какой-нибудь душевный или физический урон. Пожалуй, опыт тюремной жизни, позволивший по-новому взглянуть на человеческую природу, расширил мой кругозор и завершил формирование меня как личности.

Когда я вспоминаю сегодня свою жизнь в Уормвуд-Скрабс, мне кажется, будто все это время я был окутан, как ватой, густым туманом, притупившим все ощущения и изолировавшим меня от радостей и удовольствий обычной жизни, равно как и от ее потрясений и стрессов, все свелось к долгой, унылой монотонности. Каждый день был точной копией минувшего и безупречным образцом грядущего. Пятилетнее существование можно было бы уложить в один день, и этот "один день" тянулся пять лет. Хотя Уормвуд-Скрабс расположена в западной части Лондона, ее внутренняя жизнь столь отлична и оторвана от той, которая была за ее высокими стенами, что она вполне могла бы находиться на другой планете. В этом смысле я покинул Англию не в декабре 1966 года, как было на самом деле, а в мае 1961-го, когда впервые переступил порог Уормвуд-Скрабс, этой иной Вселенной.

Глава одиннадцатая

Я уже свыкся с тюремной жизнью и сумел выработать образ жизни, который находил терпимым. Во многих отношениях я воспринимал себя как монаха-созерцателя, ведь когда-то я чувствовал призвание к этому. Тем не менее меня не оставляла мысль попытаться предпринять побег. Приговор был таков, что не бросить ему вызов было просто невозможно. К тому же я считал себя политическим заключенным, а значит, побег для меня, так же как и для военнопленного, являлся долгом и делом чести.

Я не питал иллюзий относительно возможности помощи со стороны КГБ, поскольку отлично понимал: если что-то не получится и выяснится, что здесь замешан КГБ, разразится крупный международный скандал, а там не могли так рисковать. Кроме того, им было бы крайне сложно установить со мной связь. Так что у меня не было иного выхода, как только полагаться на собственные силы.

Все время я подыскивал людей как в самой тюрьме, так и вне ее, которые были бы готовы и могли мне помочь. Я отлично понимал, что без подобной помощи мой план неосуществим. Даже если мне удастся перелезть через стену самому, куда я пойду и что буду делать? Я нуждался в друзьях, которые могли спрятать меня, пока идет погоня, а затем тайно вывезти из страны. Последнее могло стать самой трудной частью операции. Англия – остров, и не так-то просто ее покинуть. Без располагавших средствами бесстрашных друзей успех предприятия был весьма и весьма сомнителен. Прежде чем выйти из тюрьмы, я должен иметь абсолютную уверенность, что мне есть куда пойти и существует надежный шанс

выехать в страну, где я наверняка найду убежище. Я не мог допустить, чтобы меня вновь схватили. Другой возможности больше не будет.

Насколько помню, как-то в мае 1962 года я встретил двух членов "Комитета 100"*, Майкла Рэндла и Пэта Поттла, осужденных на 18 месяцев тюремного заключения за организацию мирной демонстрации у базы ВВС США в Уэзерсфилде. Так случилось, что они и я посещали занятия по английской литературе и класс любителей музыки, организованные попечителем тюрьмы мистером Слоуном, добрым, энергичным, но немного нервным ирландцем, в чьем ведении была система тюремного образования. Система включала самые разнообразные предметы – от черчения, столярного и переплетного дела до занятий с людьми, не умевшими читать и писать. Занятия проводились после работы и посещались обитателями секторов "С" и "D". Мне очень нравились эти занятия, ведь они давали возможность послушать хорошую музыку, лекции по литературе и встретить людей со схожими интересами, что относительно редко случается в тюрьме. С самого начала между нами троими возникло полное взаимопонимание. Все мы считали себя политическими заключенными, были осуждены по статье о государственной измене, наши процессы вел один и тот же генеральный прокурор, а защищал нас королевский адвокат Джереми Хатчинсон. Это сближало нас.

По правде говоря, они отнюдь не одобряли мою деятельность, как и шпионаж вообще, и не скрывали этого, но симпатизировали мне, поскольку, по их собственным словам, вынесенный мне приговор был жесток и бесчеловечен. Мы продолжали часто встречаться, и вскоре между нами возникла дружба. Однажды, когда никто не мог нас услышать, они предложили помочь мне, чем смогут, если я решусь бежать. Я был очень тронут этим великодушным и неожиданным предложением и ответил, что если смогу разработать конкретный план и буду нуждаться в их помощи, то обязательно дам им знать. Вскоре после этого их освободили, так что мы не успели ни о чем толком договориться. Прошли годы, но они не забыли обо мне и регулярно присылали рождественскую поздравительную открытку. Я, в свою очередь, тоже помнил их и их предложение. Они казались мне идеальными помощниками не только потому, что сами вызвались и я им

---

* Английское движение сторонников мира.

верил, но и потому, что они были активистами с опытом организации антиправительственных демонстраций и акций, обладали широкими связями в левых кругах. Но, разумеется, прежде всего мне требовался человек, который смог бы войти с ними в контакт и осуществить необходимые приготовления.

Человек, которого я подыскивал, должен был быть инициативным, смелым и решительным, могущим довести дело до конца и к тому же взяться за него добровольно. Кроме того, его срок обязательно должен был истечь в обозримом будущем, иначе вся затея не имела никакого смысла. Но главное, я должен был быть уверен, что он не выдаст меня тюремному начальству, независимо от того, согласится он мне помогать или нет.

За годы, проведенные в Скрабс, я присматривался к некоторым людям. Кое-кто обладал отдельными из перечисленных качеств, но сочетал их все только один – Шон Бэрк. Кроме того, Шон обладал еще одним неоценимым достоинством: он посещал те же занятия по литературе, что и Майкл Рэндл, Пэт Поттл и я. Он их хорошо знал, и они бы ему поверили.

Сегодня я свободно могу писать об участии этих трех людей в моем побеге, так как они сами публично признали это, описав в своих книгах. В противном случае я, конечно же, хранил бы молчание. Кроме того, благодаря им подробности побега уже хорошо известны, и я могу ограничиться лишь описанием моего в нем участия.

Мы с Шоном Бэрком попали в тюрьму примерно в одно и то же время и вскоре познакомились. На прогулках мы обычно держались вместе, и мне нравилось слушать его истории. Он обладал чисто ирландским обаянием и хорошо владел словом. Шон красочно описывал свое детство в маленьком ирландском городке и годы, проведенные в интернате для мальчиков. Воспитателями там были монахи, а основным педагогическим средством – палка.

Шон был привлекательным мужчиной довольно крепкого сложения и производил впечатление человека уравновешенного и добродушного. Однако те, кому довелось узнать его получше, видели, что под флегматичной внешностью скрывается умная артистичная личность, обладающая богатым творческим воображением, умеющая скрывать свои чувства, невероятно гордая и остро ненавидящая любого представителя власти. Он попал в тюрьму за то, что послал по

почте бомбу полицейскому, который ошибочно обвинил Шона в растлении малолетнего. Любой другой махнул бы на это рукой или нашел какой-нибудь иной способ возместить моральный ущерб. Но только не Шон. Он изготовил бомбу, упаковал ее и отослал по почте. Когда полицейский открыл сверток, бомба взорвалась. Он спасся чудом. Операция была тщательно подготовлена и ловко проведена, и, не допусти Шон маленькой, но существенной оплошности, его вина никогда не была бы доказана, а так он сразу же попал под подозрение.

Восьмилетнее заключение Шона подходило к концу, и вскоре он должен был перебраться в тюремное общежитие. Шон показал себя как прекрасный издатель тюремного журнала, проявив в этой работе прирожденный талант. Как заключенный он пользовался доверием и некоторыми преимуществами, так что имел реальную возможность попасть в общежитие. Это означало, что последние девять месяцев до истечения приговора у него будет нормальная гражданская работа вне стен тюрьмы, а в общежитие он должен возвращаться только на ночь. Я решил, что настало время сойтись с ним поближе.

Во время одной из наших ежедневных прогулок я изложил ему свой план. Он сразу же согласился помочь. Я предложил ему подумать несколько дней, прежде чем дать окончательный ответ, но он сказал, что все уже решил и готов взяться за дело. Кроме того, по его словам, я давал ему отличный шанс: он ненавидел власти, полагал, что не свел еще счеты с полицией, и не хотел упустить возможность отыграться. Шон относился ко мне с симпатией и всегда считал мой приговор чудовищным. Ничто не доставило бы ему такого удовольствия, как помочь мне осуществить побег.

Мы сразу же приступили к разработке операции. Главнейшим условием была хорошая связь. Общежитие располагалось на территории тюрьмы и в то время еще достраивалась. Там работали заключенные из сектора "D", и среди них было нетрудно найти кого-нибудь, кто согласился бы передавать записки. С просьбой быть связным мы решили обратиться к одному нашему другу, которому оба симпатизировали и верили.

Несколько недель спустя Шон предстал перед комиссией и был переведен в общежитие. Однажды вечером в начале

ноября 1965 года мы попрощались, и он приступил к работе. Первая часть операции началась.

Как только Шон оказался в общежитии и смог свободно передвигаться по Лондону до 10 часов вечера, он связался с Майклом и Пэтом. Те без долгих разговоров согласились помочь и начали с того, что решили собрать необходимую сумму, чтобы купить для побега автомобиль, снять квартиру-убежище и так далее. Как я узнал позже, полная стоимость операции от начала до конца составила 800 фунтов.

Шон информировал меня о развитии событий через связного. Это было опасно. Шон любил писать – он собирался стать литератором – и мало думал о безопасности. Как потом выяснилось, безрассудство было еще не самой худшей чертой его характера. Его письма, столь красочные и подробные, могли провалить побег, попади они в чужие руки. Так чуть было и не произошло.

Шон был добрым человеком, ему нравилось помогать людям, и он обещал другому заключенному, требовавшему пересмотра своего дела в суде, сделать кое-что и для него. Таким образом, помимо меня он переписывался еще с одним узником. Я знал об этом, считал это весьма неразумным, но поделать ничего не мог, поскольку Шон договорился с ним, не посоветовавшись прежде со мной.

Я был хорошо знаком с этим заключенным, Кеннетом де Корси. Он являлся финансовым воротилой, имел широкие деловые связи с США и получил восемь лет за мошенничество. Как бы то ни было, де Корси настаивал на своей невиновности, решительно требуя пересмотра дела, которое было очень запутанным и касалось ряда компаний – держателей акций. Я знал его, потому что сидел рядом с ним в мастерской, где мы шили брезентовые мешки для почты. Де Корси был человеком крайне правых взглядов и ярым антикоммунистом. Кроме того, он был очень религиозен и принадлежал к маленькой секте "британских израэлитов", считавших, что англичане происходят от десяти рассеявшихся израильских племен и являются, таким образом, наследниками обещаний, данных Аврааму*. Несмотря на наши совершенно противоположные политические взгляды, мы прекрасно ладили. Де Кор-

---

* Согласно Ветхому Завету, Авраам, послушный воле Бога, скитался в поисках пути в Ханаан. Во время этих скитаний Бог не раз обещал ему создать из его колена великий народ, столь многочисленный, что он овладеет всей землей Ханаанской.

си был хорошим рассказчиком, и я с удовольствием слушал его истории, которые помогали нам скоротать долгие часы работы в мастерской. Я также проявлял некоторый интерес к его финансовым делам, и он объяснял мне их, вдаваясь в подробности, которые многим могли бы показаться слишком сложными и обременительными.

Помимо этого было еще одно, совершенно неожиданное обстоятельство, укрепившее наши отношения, по крайней мере с его стороны. Стихи 1–2 гл. 6 Книги Бытия гласят: "Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал". И вот, основываясь на этой цитате, де Корси твердо верил, что человечество делится на две части: одна состоит из обычных людей, которые по природе своей есть зло, а другая – из отпрысков союзов, заключенных между сынами Божиими и дочерями человеческими, несущих в себе искру Божию, которые и есть добро. Де Корси утверждал, что для глаза обычного человека разница между этими двумя категориями людей неразличима, но сам он обладает даром распознавать их. К моему большому счастью, он сразу заметил, что я принадлежу к потомкам сынов Божиих. И тут случилось то, что следовало бы предугадать заранее: посланник, носивший письма Шона нам обоим, перепутал их и вручил предназначавшееся мне де Корси.

Однажды с видом заговорщика (он вообще обожал всякую конспирацию) де Корси зазвал меня в свою камеру и показал мне письмо Шона, начинавшееся словами "Дорогой Джордж!" и содержавшее некоторые детали, не оставлявшие ни малейшего сомнения в том, что готовится побег. Де Корси был заметно взволнован. "Когда я прочитал это, – сказал он хриплым шепотом, – я сразу понял, что оно может быть адресовано только тебе. Но не беспокойся. Я не скажу никому ни слова. Обещаю. А ты только держи меня в курсе событий".

Де Корси оказался верен слову. Он выполнил свое обещание, хотя мог бы многое выиграть, раскрыв заговор. В награду ему бы наверняка уменьшили срок, и большинство его проблем было бы решено. Он проявил подлинное благородство, и я всегда буду вспоминать о нем с благодарностью. В свою очередь, я тоже сдержал обещание и информировал его о том, как шли дела.

В результате этой путаницы, о которой я сразу же преду-

предил Шона, его осенила блестящая идея. Из тех денег, что ему теперь платили за работу, он купил уоки-токи*. Предназначавшийся мне аппарат он тайно переправил через нашего связного во время тюремного концерта, в котором сам принимал участие. Тогда Шон еще жил в общежитии при тюрьме.

К тому времени я уже несколько месяцев работал в тюремной лавке, размещенной в камере, проводил инвентаризацию, вел бухгалтерию и заботился о пополнении запасов. Ключи от этой камеры были у меня. Итак, я располагал идеальным местом, где мог спрятать рацию: здесь вряд ли стали бы что-то искать. Я уверен, что сумел бы надежно спрятать аппарат, даже если бы не работал в лавке. Это просто значительно облегчило задачу.

В ночь после того, как мне тайно передали рацию, мы впервые ею воспользовались. Я лежал на кровати спиной к двери и, пока говорил по рации, держал ее под одеялом. Если бы ночной надзиратель неожиданно включил свет и заглянул в "глазок", то не заметил бы ничего необычного.

В одиннадцать часов, как мы условились, я вышел в эфир, послав позывной. Через несколько секунд громко и четко отозвался Шон. Мне пришлось максимально уменьшить громкость: прием был отличный, и той ночью мы всласть поговорили. Помимо очевидной пользы это была возможность вновь свободно общаться с кем-то из внешнего мира, к которому Шон, хотя и находился в общежитии всего в 50 ярдах от меня, уже фактически принадлежал.

После первой долгой беседы мы связывались регулярно раз в неделю, обычно в субботнюю ночь, когда большинство жильцов общежития отсутствовало. Однажды в воскресенье, во время ленча (а за ночь до этого мы с Шоном вволю поговорили), ко мне в камеру вошел один молодой человек, которого я довольно хорошо знал, и тщательно закрыл за собой дверь. Он выглядел встревоженным и возбужденным. Хриплым шепотом он сказал:

– Ради Бога, Джордж, будь осторожен. Я все слышал.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я.

– Прошлой ночью по своему радиоприемнику я слышал, как вы с Шоном разговаривали. Причем очень ясно слышал.

---

* Портативная рация, переговорное устройство, состоящее из двух аппаратов, каждый из которых одновременно и приемник, и передатчик.

– Но это невозможно, – возразил я.

– Уверяю тебя, это так. Будь осторожней с этой штукой. Я слушал переговоры полицейских машин и уже собирался выключить приемник, повернул наудачу ручку настройки и вдруг наткнулся на разговор. Сначала я подумал, что это радиопьеса, но потом узнал ваши голоса. Я ушам своим не поверил.

– Что ж, я рад, что нас слышал именно ты, а не кто-нибудь другой, – ответил я, сильно волнуясь.

– Еще бы. Многие здесь слушают разговоры полицейских и запросто могут напасть на вашу волну. Я пролежал всю ночь без сна, боясь, что вас мог услышать кто-то еще, услышать и донести. Конечно, я буду молчать, обещаю тебе, но будь осторожен.

Я поблагодарил его за предупреждение и сказал, что дам знать Шону. Он ушел, пожелав нам удачи.

Нам опять невероятно повезло, что нас подслушал именно этот человек.

Этот парень работал на кухне, стоял у плиты, раскладывал пищу, мыл тарелки и поэтому, так же как и я, весь день находился в секторе "D", в то время как большинство заключенных работали в различных мастерских. Мы, естественно, часто болтали друг с другом, и я неплохо его знал. Он был из Ист-Энда и "схватил" пожизненный срок, убив в уличной драке негра. Как и у каждого приговоренного к пожизненному заключению, длительность его пребывания в тюрьме полностью зависела от усмотрения Министерства внутренних дел. Заявив о готовящемся побеге, он наверняка заслужил бы благодарность властей. Ему это было известно, но совесть не позволила воспользоваться этими случайно полученными сведениями. Он так никому ничего и не сказал.

Шон уверял меня, что длина волны нашей рации иная, чем у обычных радиопрограмм. Так и было, но она почти совпадала с полицейской волной. Что же делать? Вернуться к письмам? Здесь тоже был свой риск. Лучший выход – это сократить количество контактов до необходимого минимума, находиться в эфире как можно меньше и верить, что удача нас не оставит. Так мы и сделали.

Вскоре после этого Шон покинул общежитие. Он снял комнату недалеко от тюрьмы, но, как выяснилось, за пределами радиуса действия наших уоки-токи. Тогда поздно ночью он подошел к Уормвуд-Скрабс и вызвал меня. Слышали мы

друг друга очень плохо, и ему пришлось пробраться так близко, что он почти лежал под тюремной стеной: только так удалось наладить прием, достаточный для того, чтобы понимать друг друга.

А потом на Брейбрук-стрит, совсем рядом с тюрьмой, застрелили троих полицейских, и около трех недель в этом районе было столько полиции, что Шон и близко не мог подойти к Скрабс.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу. Шон купил подержанный автомобиль и снял маленькую квартирку в пяти минутах ходьбы от тюрьмы. Она должна была стать моим первым убежищем. Из тонкого нейлона он изготовил веревочную лестницу, укрепив ее вязальными спицами так, что она должна была висеть прямо, пока я по ней буду карабкаться. В середине сентября Шон оставил квартиру, работу на заводе и якобы навсегда вернулся в Ирландию.

Три недели спустя он возвратился под чужим именем и поселился в новой квартире, выдавая себя за свободного журналиста. Все уже было готово, и мы назначили день и час побега – суббота, 22 октября, 6.15 вечера.

В это время уже достаточно темно, а большинство заключенных уйдут смотреть еженедельное кино.

По совету нашего друга-связного, специалиста по взломам, в качестве "выхода" мы выбрали одно из высоких окон, занимавших почти всю стену по обе стороны сектора. Эти окна походили на церковные, что соответствовало псевдоготическому стилю всего здания, и, так же как и церковные окна, были разделены на несколько толстых стеклянных сегментов в переплетах из литого железа. Каждый второй сегмент мог открываться для проветривания помещения, но был слишком узок для того, чтобы сквозь отверстие мог пролезть человек. Если же выломать железную перегородку между неподвижным сегментом и открывающимся, то получалось отверстие, достаточное для человека моей комплекции. Большим преимуществом было то, что всего три фута отделяло окно второго этажа от крытого перехода, с которого, повиснув на желобе, можно было легко спрыгнуть на землю. А там мне пришлось бы пробежать всего пятнадцать ярдов до стены. Одна из угловых башенок здания была точно напротив того места, где Шон должен будет перебросить через стену веревочную лестницу.

В среду перед операцией у нас состоялся окончательный

разговор. Выбранное для него время совпадало с часом побега. Шон сидел в машине, припаркованной у боковых ворот больницы Хаммерсмита на Артиллери-роу, узкой улочке, отделявшей ее от тюрьмы, там же, где он будет ждать меня в условленный вечер. Шон спрятал рацию в букете цветов, создававшем впечатление, что его хозяин собирается навестить кого-то в больнице. Я зашел в камеру моего связного, откуда и вызвал Шона по рации.

Мы убедились в том, что с обеих сторон все в порядке и операция может начаться, как и запланировано. На всякий "пожарный" случай мы решили связаться еще раз в субботу, во время ленча, дабы убедиться, что в последний момент не возникло никаких помех. Прежде чем уйти из эфира, Шон пропел своим мелодичным голосом старую ирландскую песню: "Я пойду рядом с тобой".

Мешкать было нельзя. Летом произошел скандальный побег шести заключенных. Некоторые из них были особо опасны. Это получило отклик в прессе, и власти стали принимать меры повышенной безопасности: высокие боковые окна затягивали толстой стальной сеткой. Работы в секторах "А" и "В" были уже окончены и теперь велись в секторе "С". На следующей неделе очередь должна была дойти до сектора "D". Хорошо, что как истинные бюрократы они работали, следуя алфавитному порядку.

В будках по оба конца стены теперь постоянно дежурила охрана. С этих выгодных позиций стена просматривалась с обеих сторон по всей длине. Мы решили, что, если меня заметят и поднимут тревогу, у нас будет достаточно времени скрыться до того, как патруль достигнет стены.

Побег был спланирован таким образом, что не было нужды прибегать к насилию, так что мы с Пэтом и Майклом решили однозначно: Шон не станет брать с собой никакого оружия и ни в коем случае не применит силу.

В субботу, в час дня, у нас состоялся заключительный разговор. Никаких неожиданных помех не возникло, в этот день в самом деле собирались показывать фильм, и мы могли действовать, как условились. Стекло неподвижного сегмента в нижнем углу окна, рядом с полом, мы вынули за день до того. Это было нетрудно (так как оно уже было разбито) и прошло незамеченным. В последний момент оставалось лишь выломать железную перегородку.

Многие заключенные использовали свободное субботнее

время, для того чтобы прибраться в камерах и проветрить одеяла, развесив их на стальных перилах площадок. Таким образом, не было ничего особенного в том, что на перилах напротив той части окна, сквозь которую я собирался пролезть, висели одеяла, надежно закрывая ее от взглядов двух охранников, дежуривших на посту в центре коридора.

По субботам, в половине четвертого, в Скрабс пили чай. В половине пятого бóльшая часть заключенных пошла смотреть кино, посещение которого было добровольным. Сектор затих и опустел. В противоположном его конце группка заключенных сидела вокруг телевизора, за столами шла игра в карты. Один из дежурных охранников смотрел телевизор, другой, сидя на центральном посту, читал. Это были самые тихие часы за всю неделю.

Казалось, время течет убийственно медленно. Я зашел в камеру к де Корси попрощаться. Он пожелал мне удачи и попросил подарить ему что-нибудь на память. Я вернулся к себе, подписал мой Коран с параллельными арабским и английским текстами и отдал ему. Затем неспеша подошел к телевизору. Насильно заставив себя немного посмотреть передачу, я отправился в камеру, перекинувшись по дороге парой фраз о футболе с охранником. Я решил принять душ: это должно было меня успокоить, и, что бы ни случилось, я по крайней мере буду чистым. В душевой я провел время, болтая с несколькими парнями, а на обратном пути в камеру налил кружку чая. Охранника на посту не было, он ушел в подсобку играть в шахматы. Еще полчаса – и время побега настанет. Я посмотрел в окно и с радостью обнаружил, что погода окончательно испортилась, моросил дождь. Скоро начнет смеркаться, и видимость ухудшится. Все шло как нельзя лучше.

Не торопясь, я выпил чай и прочитал газету. Когда пришло время собираться, я обулся в спортивные туфли и, взяв из тайника рацию, сунул ее себе под свитер и зажал под мышкой. Бросив последний взгляд на предметы, к которым уже успел привыкнуть, а теперь должен был оставить, я вышел из камеры. В коридоре все было по-прежнему спокойно. Один охранник продолжал смотреть телевизор, другой пока не выходил из подсобки. Было 6.15. Из камеры моего друга-взломщика я вызвал Шона. Тот вскоре отозвался: он уже на месте, по ту сторону стены.

– Все в порядке? – спросил я.

– Да, – последовал ответ.

– Мы уже можем выламывать перегородку?

– Да, действуйте.

Мой друг, с нетерпением ждавший рядом со мной, тут же ушел. Спустя всего три минуты он появился вновь. Я подумал, что он столкнулся с неожиданным препятствием и не смог сломать перегородку.

– Что-то случилось? – спросил я. – Ты очень быстро вернулся.

– Нет, все отлично, можешь идти. Перегородка так проржавела, что одного рывка оказалось достаточно, чтобы она вылетела.

Я опять вызвал Шона, и он тут же откликнулся.

– Перегородка сломана. Ты готов?

– Что, уже? Можешь идти, я готов, – послышался голос Шона.

Я засунул рацию под свитер, мой друг пожелал мне удачи, мы обменялись рукопожатиями, и я быстро прошел на площадку, не встретив никого по дороге. Было самое время: через центральный вход уже ввалилась первая партия любителей кино, и коридор наполнился их голосами. Это было неожиданно рано, видимо, фильм оказался коротким. Скоро они с шумом появятся на площадках, направляясь в свои камеры. Я проскользнул в отверстие в окне и нащупал ногами крышу над переходом. Это было делом одной минуты. Осторожно ступая по скользкой от дождя черепице (дождь уже не моросил, а лил вовсю), я стал спускаться вниз. Было совершенно темно. Я достиг желоба, повис на нем, легко спрыгнул на землю и очутился в небольшом укрытии, образованном стеной перехода и выступающей угловой башенкой. Прижавшись к стене, я мог не опасаться, что меня заметит проходящий мимо патруль, даже если бы погода и не загнала охранников под навес. Оказавшись внизу, я сразу же достал рацию и вызвал Шона. Тот немедленно ответил.

– Я снаружи и жду лестницу, – доложил я.

– Подожди минутку, у меня непредвиденные затруднения, – ответил он взволнованным голосом и прервал связь.

Я стоял в темном укрытии и ждал. Дождь не стихал, и скоро я совершенно промок. Время шло, но ничего не происходило. Рация продолжала молчать. Я вновь вызвал его, но ответа не получил. Неужели он попал в беду и ему при-

шлось срочно бежать? Или струсил в последний момент? Это было на него не похоже, но кто знает...

Из тюрьмы донесся сигнальный звонок, призывающий заключенных разойтись по камерам. Потом их пересчитают и запрут. Топот и голоса людей нарастали. Значит, было где-то без десяти семь. Теперь оставалось совсем мало времени до того момента, когда обнаружат, что меня нет. Рация молчала. Шон, видимо, уехал. Возвращаться в тюрьму не было смысла, и я решил ждать.

Вдруг вновь громко и четко раздался голос Шона. Я вздохнул с облегчением, поскольку уже почти потерял надежду услышать его.

– Извини, произошла заминка. Сейчас я все улажу.

– Пожалуйста, поторопись, – в отчаянии прокричал я, – у нас не остается времени.

– Еще минутку, – ответил Шон, и снова наступило долгое молчание.

Я напряженно ждал, готовый броситься к стене, как только через нее перелетит веревочная лестница. Но ничего не происходило. Тишину нарушали лишь шум дождя да стук дверей запираемых камер. Примерно через пять минут, показавшихся мне вечностью, Шон опять вышел на связь, на этот раз голос его звучал твердо и уверенно:

– Будь готов!

Тут же в свете дуговой лампы я увидел, как лестница перелетела через стену, перекрутилась, выпрямилась и застыла. Она казалась невероятно тонкой и ненадежной, но, как только я увидел ее, понял, что меня уже ничто не остановит. Я засунул уоки-токи под мокрый свитер и, низко пригнувшись, бросился к стене, вцепился в лестницу и полез наверх. Это было на удивление просто. На одном дыхании, незамеченный охраной в караульных будках, но сопровождаемый (я уверен в этом) несколькими парами возбужденно горящих глаз, следивших за мной из камер, я достиг верха стены. Сев на нее верхом, я увидел внизу машину и рядом с ней Шона, смотревшего на меня с нетерпеливым ожиданием.

– Прыгай! – крикнул он мне высоким от напряжения голосом. – Быстрее!

Я прошел по стене вперед, чтобы не упасть на машину, и стал спускаться, пока не повис на руках. Падая, я заметил прямо под собой Шона, решившего меня подстраховать. У меня мелькнула мысль, что, если я свалюсь ему на голову, он

может пострадать, и что с нами будет тогда? Тут же, прямо в воздухе, я сделал движение, стараясь избежать этого. Шон отступил в сторону, но, падая, я все же задел его и приземлился неудачно. От толчка моя голова качнулась вперед и ударилась о гравий. Одновременно я почувствовал острую боль в руке. На мгновение я потерял сознание, но Шон схватил меня и запихнул на заднее сиденье машины. Сам он вскочил на переднее и завел мотор. Я достал платок и вытер лицо, по которому, ослепляя меня, струилась кровь. Как только мы тронулись, какая-то машина с зажженными фарами скользнула на узкую улочку. Прежде чем продолжить путь, нам пришлось ждать, пока она не свернет в ворота больницы. Произойди это минутой раньше, сидевшие в ней люди увидели бы, как я падал со стены.

Мы доехали до конца улицы и свернули на главную магистраль. Я буквально чувствовал напряжение Шона. Чтобы изменить внешность, он надел очки, дождь намочил их, и теперь в машине они запотели. Шон начал ругаться и налетел на шедшую впереди машину. Мы двигались довольно медленно в потоке машин, и, к счастью, наши бамперы не сцепились. Но водитель свернул к обочине, чтобы осмотреть машину, и, видимо, был возмущен, что мы не поступили так же. Когда мы подъехали к светофору, загорелся красный свет. Шон, казалось, собирался его проигнорировать.

– Спокойно, Шон, – сказал я. – Успокойся, и с нами ничего не случится. Все идет хорошо.

Шон снял очки и немного расслабился. Вскоре мы свернули на пустынное загородное шоссе. Еще несколько поворотов, и машина остановилась. Тем временем я надел лежавшие на заднем сиденье плащ и шляпу. Мы вышли, пересекли дорогу и двинулись по улице, застроенной старыми домами. У одного из них Шон остановился, достал ключ, и мы вошли. На блестевшей от дождя улице нам не встретилось ни души. Мы прошли по длинному темному коридору, в конце которого была дверь, и Шон открыл ее другим ключом. Мы оказались в ярко освещенной комнате, где были задернуты занавески и горел газ. В углу стоял большой телевизор. После тюрьмы и приключений последнего часа комната показалась мне уютной, здесь я почувствовал себя в безопасности. Мы с Шоном переглянулись и пожали друг другу руки. "Получилось! Получилось!" – почти одновременно воскликнули мы от избытка одного и того же чувства победы и огромного облегчения.

Пока все шло хорошо. Но оставалось еще много дел. Шон сказал, что ему вновь надо уйти: следовало избавиться от машины. Он обещал вернуться часа через полтора и перед уходом показал мне ворох одежды, купленной им для меня. Я запер за ним дверь, снял тюремную одежду и умылся. Лицо выглядело ужасно. Но после того, как я тщательно промыл рану, стало ясно, что она поверхностная, хотя и большая. В любом случае это неплохо меняло внешность.

Я посмотрел на причинявшее мне боль левое запястье. Рука была изогнута под каким-то странным углом и начала опухать, очевидно, запястье все-таки было сломано.

Я переоделся и посмотрел в зеркало. Что ж, оно отражало правду: я больше не был заключенным. Ни с чем не сравнимое ощущение. Даже не верилось. Но наиболее трудная и опасная часть плана была впереди. Часы показывали 7.30: тревога наверняка уже объявлена, и охота началась.

Шон вернулся почти в девять. Некоторое время он кружил по городу и в конце концов припарковал машину на одной из улиц в Килберне. На обратном пути Шон позвонил Майклу и Пэту и сообщил им радостное известие. Они ликовали. Кроме того, он принес бутылку бренди, наполнил рюмки, включил телевизор, и мы сели смотреть выпуск новостей. "Чрезвычайное происшествие в Западном Лондоне", – объявил диктор, на экране появилось мое бородатое лицо, и дальше пошел комментарий о том, как был обнаружен мой побег. Все порты и аэродромы взяты под наблюдение. За посольствами стран "железного занавеса" установлен особый надзор. Корабли этих стран в лондонском порту обыскивались. Полицейские бригады с собаками прочесывали прилегавшие к тюрьме кварталы. Охота велась по всем правилам. "Интересно, – подумал я, – смотрят ли сейчас телевизор у меня дома. Как они примут эту новость?"

Шон пошел на кухню жарить две огромные отбивные и печь яблочный пирог. Во время ужина он рассказал мне, что случилось тем вечером по его сторону стены.

Вскóре после того, как он дал мне команду действовать, появился человек на велосипеде с немецкой овчаркой на поводке. Он проехал мимо до конца Артиллери-роу, где проверил, заперты ли двери спортивного зала неподалеку. Несомненно, это был кто-то из охраны. На обратном пути он слез с велосипеда и стал присматриваться к Шону, сидевшему в автомобиле с букетом хризантем на коленях. Он так и

стоял, не двигаясь с места, и Шон решил, что лучший способ избавиться от него – это уехать, а чуть позднее вернуться. Он так и сделал, но по дороге чуть не попал в серьезную транспортную пробку. К счастью, расторопный полисмен вовремя вывел его из нее, и четверть часа спустя Шон вновь был у тюрьмы. Человек с собакой ушел, и Шон подумал, что больше помех не предвидится.

Едва он ответил на мой вызов и собрался выйти из машины, чтобы перебросить лестницу, как подъехал автомобиль и остановился у стены напротив Шона. Внутри сидела парочка, которая тут же принялась целоваться, совершенно не собираясь уезжать. Шон, знавший, что я уже выбрался из сектора "D" и отчаянно жду лестницу, не мог ничего поделать. В конце концов он придумал, как заставить парочку убраться: включил фары и уставился на этих голубков. Через некоторое время они все-таки смутились и уехали.

Только он хотел достать из багажника лестницу и перебросить ее мне, забравшись на крышу автомобиля, как на дороге стали появляться машина за машиной: в больнице Хаммерсмита подошло время посещений. Он понял, что мы не можем больше терять время, и решил действовать во что бы то ни стало. Воспользовавшись коротким затишьем, Шон залез на крышу и перебросил веревочную лестницу.

В тот вечер мы засиделись далеко за полночь, разговаривая. Оба, хотя и были измотаны, чувствовали необычайный подъем и никак не могли решиться закончить столь замечательный день. Наконец мы легли спать, однако ночь прошла беспокойно. Шон все бормотал: "Господи, получилось" и ворочался. У меня же болели голова и рука, и я был слишком возбужден, чтобы уснуть.

Когда я проснулся на следующее утро, мое запястье распухло и страшно болело. Я не сомневался, что оно сломано и что с этим надо что-то делать. Шон обещал связаться с Майклом и Пэтом: может быть, им удастся найти врача, который вправит кость. В противном случае, сказал он, нам придется идти в травмопункт при больнице. Последнее меня совершенно не устраивало, и я выразил надежду, что мы найдем какой-нибудь другой выход. После завтрака Шон отправился покупать воскресные газеты. Через полчаса он вернулся и сообщил, что собирается навестить Майкла и попросить его разыскать врача. Все принесенные им газеты крупными заголовками

кричали о моем побеге, и тут же были помещены мои большие фотографии.

Шон возвратился вскоре после полудня с новостью, что наши друзья бросились на поиски доктора, который согласился бы помочь. Такой поворот событий предусмотрен не был, а найти кого-нибудь в воскресенье, когда многие уезжают за город, совсем не просто. Он повторил свое предложение пойти в больницу. Я решительно не хотел этого делать, особенно после газет с моей фотографией во всю первую полосу. Если уж нет другого выхода, я предпочитал оставить все как есть.

В семь часов вечера наконец позвонил Майкл и сказал, чтобы через час мы ждали гостя. Когда Майкл с доктором, несшим черный чемоданчик, пришли, не последовало никаких восторженных поздравлений. Нас даже не представили друг другу: доктор сразу же перешел к делу, осмотрел запястье и подтвердил мой диагноз – перелом, а затем сделал краткое заявление: "Вообще-то полагается, чтобы вы пошли в больницу, где вам наложат гипс. Но я понимаю, что по той или иной причине больницы вам противопоказаны. Посему считаю своим долгом помочь вам. Это, надеюсь, понятно?" – спросил он глядя на меня. "Конечно, – ответил я, – я это отлично понимаю и очень ценю".

"Мне понадобится горячая вода для гипса, и накройте газетами стол", – продолжал доктор. У нас оказались только утренние газеты с моими фотографиями, но доктор сделал вид, что не замечает их, и, сделав мне укол, занялся запястьем. Шон помогал ему, крепко держа мою руку. Было больно, но не так, как я ожидал. Минут через пять доктор вправил кость и наложил гипс. Хотя боль и не прошла окончательно, руке было теперь намного лучше. Доктор оставил нам немного снотворного, и Майкл проводил его к выходу. О деньгах никто и не заикнулся.

Еще до ухода доктора приехал Пэт, а вскоре появилась и Энн, жена Майкла, красивая молодая женщина, высокая и темноволосая. Она очень напоминала мою жену и сразу же мне понравилась. Они захватили с собой выпить, и теперь, когда остались одни свои, состоялось нечто вроде праздничного вечера, во время которого мы с Шоном посвятили их в подробности моего побега.

В тот вечер мы решили, что мне прежде всего необходимо перебраться в более надежное убежище. Эта квартира была не более чем временным пристанищем и снята лишь для того,

чтобы было куда податься прямо из тюрьмы, как можно скорее "исчезнуть". Через два дня я переехал на другую квартиру, также оказавшуюся временной. Вокруг побега поднялся такой шум и крик, что мои новые хозяева, естественно, нервничали, и для нашего общего спокойствия мы решили еще раз сменить место. Пэт сказал, что самым простым выходом было бы поселить меня в его маленькой холостяцкой квартире в Хэмпстеде. Так как ничего более подходящего не было, это показалось нам наилучшим решением проблемы, и тем же вечером Майкл отвез меня туда на своей машине.

Еще до конца недели ко мне присоединился Шон. Его искала полиция, и оставаться в непосредственной близости от Скрабс стало опасно, поскольку его легко могли узнать.

Брошенную машину нашли, а по следам протекторов у стены и оставленному внутри букету хризантем определили, что это тот самый автомобиль, которым воспользовались для побега. Шон купил его у человека, бывшего вместе с ним в тюремном общежитии, но не знавшего, для каких целей он понадобился. Таким образом, найдя предыдущего владельца, полиции стало известно, что здесь замешан Шон. Все очень просто. Его приметы появились в газетах, и Скотленд-Ярд жаждал поймать его не меньше, чем меня. Это означало, что моим друзьям придется возиться не с одним, а с двумя беглецами. О чем мы и понятия не имели, а узнали лишь позже, после выхода книги Шона "Побег Джорджа Блейка", так это о том, что Шон сам позвонил в полицию и сказал, где они смогут найти брошенный автомобиль, который был использован при побеге. Знай мы об этом, наверняка бы пришли в ужас, а посоветуйся он с нами заранее, мы бы отвергли подобное предложение как совершенно безумное. Шон настаивал, что, поступив так, он навел полицию на свой собственный след и обезопасил активистов пацифистского движения, с которыми, казалось бы, не был связан. Спорный момент. С моей точки зрения, главным оказалось не то, замешан здесь Шон или нет, а то, что полиция с самого начала решила, что побег организован КГБ, а значит, ей противостояли хорошо подготовленные профессионалы. Это парализовало полицию, поскольку там заранее были убеждены, что нет ни малейшего шанса меня поймать. А если настраиваешь себя на невозможность найти то, что ищешь, как правило, и не находишь. Мне кажется, полиция даже предположить не могла, что здесь замешан кто-то из пацифистов. В противном случае меня бы наверняка

нашли. Как бы то ни было, Шон избавил бы себя и нас от лишних осложнений, не предприми он столь опрометчивый шаг.

Оказавшись в квартире Пэта, я почувствовал себя в гораздо большей безопасности, и мы отлично ладили втроем. Весь день Пэт работал, а когда приходил вечером домой, часто приносил что-нибудь вкусное на ужин, а уж в темах для разговоров недостатка не было. Время от времени к нам присоединялись Майкл и Энн. Они всегда приносили несколько бутылок вина, и вечер превращался в маленький праздник, на котором, впрочем, никто из нас, за исключением Шона, много не пил. Иногда разговоры переходили в политические споры. Мои друзья хотя и одобряли конечные цели коммунизма, но осуждали методы их достижения, отсутствие свободы личности в коммунистических странах и жестокость, с которой подавлялось всякое инакомыслие. Они особенно просили меня – если я благополучно доберусь до Москвы – использовать свое влияние, чтобы добиться освобождения двух известных писателей-диссидентов – Даниэля и Синявского, судьба которых их глубоко волновала. Я обещал, хотя и не был вполне уверен, что мое влияние, если оно вообще имелось, простирается столь далеко.

В свою очередь, я не мог согласиться с моими друзьями по поводу полного запрещения ядерного оружия. Я верил и продолжаю верить, что Европа прожила сорок пять лет в мире исключительно из-за ядерного паритета между двумя сверхдержавами. Даже после уничтожения ядерных арсеналов (предположим, что это возможно) вспышка страшной мировой войны станет лишь вопросом времени, и война эта неизбежно превратится в ядерную, поскольку каждая сторона немедленно приступит к изготовлению атомной бомбы, и тот, кто первым ее получит, использует ее до того, как противник успеет подготовиться. Долгие кровавые войны между Ираном и Ираком и в Афганистане, хотя там и не было угрозы ядерного удара, на мой взгляд, убедительно показали, что человечество пока не готово жить в мире и только страх атомной бойни удерживает его от более серьезных конфликтов. Наши споры, хотя и довольно оживленные, никогда не принимали обидный характер.

Помимо непроходящего чувства опасности, что нас найдут, постоянную тревогу вызывал Шон. Оказалось совершенно невозможным держать его взаперти. Иногда днем он исчезал и возвращался с явными признаками того, что не смог

устоять перед искушением заглянуть в паб. Склонность к выпивке была частью его натуры, а я, естественно, не имел возможности заметить это в тюрьме. По складу характера Шон был "рубахой-парнем", и мы содрогались при одной мысли о том, что́ он мог выболтать случайным посетителям бара, ведь помимо своей неосторожности Шон буквально горел желанием крикнуть всем и каждому, что не кто-нибудь, а именно он вытащил Джорджа Блейка из тюрьмы. Пэт и я часто увещевали его, и некоторое время он сидел в квартире. Но надолго его никогда не хватало. Мы были бы еще больше напуганы, если бы знали тогда, что однажды Шон отправился прямо в полицейский участок, дабы убедиться, что его фотография действительно висит на доске розыска.

Вскоре после нашего переезда в Хэмпстед мы стали обсуждать следующий, самый трудный этап операции: как вывезти меня с Шоном из страны и куда именно. Мои друзья придумали план превратить меня в индуса или араба и выехать из Англии по фальшивому паспорту. Для полной убедительности маскировки мне следовало временно изменить цвет кожи, для чего в течение шести недель надо было пить препарат под названием меладинин в сочетании с сеансами под ультрафиолетовой лампой. Они уже приобрели лампу и собирались достать лекарство через своих друзей-медиков. Шон не сомневался, что сможет раздобыть поддельный паспорт у знакомых в преступном мире. С самого начала план не внушал мне доверия, хотя я и не говорил об этом прямо. Мне вовсе не хотелось менять цвет кожи, ведь не было никакой уверенности, что первоначальный цвет затем вернется. Еще меньше мне нравилась идея достать паспорт у преступников. По счастью, из-за моих ран мне не рекомендовалось сразу же начинать принимать препарат, а вот сидение время от времени под ультрафиолетовой лампой никакого вреда причинить не могло. Вскоре, к моему огромному облегчению, они сами отказались от своего плана, так как Шона самого разыскивала полиция и ему было слишком опасно выходить на связь с преступным миром.

И тогда, не помню уж кто, мне предложили попробовать проникнуть в советское посольство на Кенсингтон-гарденз. В него не слишком трудно пробраться сзади через парк, а оказавшись внутри, я попрошу убежища. Это мне показалось совершенно безнадежным, и я сразу отказался. Мне не хотелось быть помехой и обузой кому бы то ни было или уподоб-

ляться кардиналу Миндсенти*. Если уж на то пошло, то я предпочел бы оставаться узником Уормвуд-Скрабс, чем быть им же, но в советском посольстве и продолжать фигурировать в списке бежавших.

Затем друзьям пришла идея спрятать меня в багажнике автомобиля или фургона и самим вывезти в безопасную страну. Этот план, на мой взгляд, давал много больше шансов на успех, и я сразу же принял его. Пэт и Майкл, не теряя времени, занялись решением практических вопросов и вскоре приобрели дормобил (туристский вариант легкового автомобиля в виде фургона). Их друзья, обладавшие необходимым мастерством, предложили переоборудовать фургон, соорудив спальное место в его кухонном шкафу.

Финансовые проблемы, связанные с покупкой фургона и прочими расходами, решились самым неожиданным образом. Когда Майкл уже планировал побег, молодая женщина, которую он называл Бриджит, друг его семьи, обратилась к нему за советом. Она унаследовала от тетки некоторую сумму и хотела пожертвовать ее на благое дело. Будучи социалисткой, она не могла принять свалившееся на нее богатство, так что не посоветует ли ей Майкл, как его использовать. Он сразу ей не ответил, а когда у нас возникли финансовые проблемы, подсказал ей, как можно с пользой употребить эти деньги. Она без колебаний согласилась и выписала чек на нужную сумму.

Затем возник вопрос, в какую страну ехать. Я подумал было о Египте, но это, несомненно, слишком далеко и сложно. Югославия? Это ближе, но пришлось бы пересекать множество границ. Швейцария исключалась из-за тесного сотрудничества между Интеллидженс сервис и Сюрте. Для меня решение казалось очевидным – Восточная Германия. Это была ближайшая безопасная страна, и к тому же я прекрасно знал обстановку в Берлине и вокруг него. У этого варианта было еще одно неоценимое преимущество. Я знал, что мои друзья хотели бы избежать каких бы то ни было контактов с власти-

---

* Миндсенти – венгерский священник. С 1946 года – кардинал. Выступал против коммунистического правительства страны. В декабре 1948 года арестован. В феврале 1949 года освобожден, но оставлен под домашним арестом. Во время октябрьского восстания в 1956 году возобновил свою деятельность, но вскоре был вынужден укрыться на территории посольства США.

ми коммунистических стран и придавали этому большое значение. Они не желали, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог сказать, будто они действовали не бескорыстно, а из каких-либо иных, нежели чисто гуманные, побуждений, в интересах правительства или организации одной из стран советского блока или даже были связаны с ними. Берлинский вариант давал возможность начисто исключить необходимость подобных контактов. Я объяснил друзьям, что они могут просто высадить меня где-нибудь в окрестностях Берлина на автобане недалеко от восточногерманского пограничного поста, а затем отправиться в Западный Берлин уже без меня и прибыть туда еще до того, как я вступлю в переговоры с пограничниками. А так как они англичане и на их фургоне английский номер, следовательно, они являются гражданами одной из четырех стран, представлявших оккупационный режим, их не имеют права обыскивать или допрашивать и обязаны беспрепятственно пропустить. Этот план понравился им и был принят.

Так как из всех нас права были только у Майкла, фургон предстояло вести ему. Его жена Энн сразу же вызвалась поехать с нами, кроме того, они решили взять с собой обоих своих сыновей, двух и трех лет, чтобы, как они объяснили, вызывать меньше подозрений. Последнее поставило меня в сложное положение. Конечно, если в машине путешествует семья с маленькими детьми, вероятность обыска и разоблачения значительно меньше, но, с другой стороны, совесть не позволяла мне взвалить на себя ответственность за судьбу этих замечательных людей и их малышей в случае, если их схватят при попытке нелегально вывезти меня из страны. Ведь я уже сломал жизнь своей собственной семьи. Имел ли я право подвергать риску еще одну? Не слишком ли большую ответственность я беру на себя? Долгое время, пока шли приготовления, меня не покидали сомнения и тревоги. В конце концов друзья убедили меня, что это решение самое надежное не только для меня, но и для них самих.

Теперь оставалось уладить вопрос с Шоном: не мог же он скрываться вечно. Если он попытается жить в Англии под чужим именем, то рано или поздно, а скорее рано, из-за присущей ему неосторожности попадет в руки полиции. Вскоре после того, как вскрылась его причастность к побегу, два сотрудника спецслужб посетили в Ирландии мать Шона. Это свидетельствовало о тесном сотрудничестве ирландских

властей с британской полицией. Нам казалось весьма сомнительным, что он может рассчитывать на убежище в Ирландии.

В сложившихся обстоятельствах, хотя никогда раньше такой вариант и не рассматривался, я предложил лучший выход для всех: Шон поедет со мной в Советский Союз.

Я был уверен, что мои советские друзья сделают для него все возможное. Поначалу Шон отверг мое предложение: он хотел вернуться в Ирландию. Он твердо верил, что ирландские власти ни в коем случае не выдадут его британским. Но даже если это случится, успокаивал нас Шон, он никогда не предаст своих друзей. В последнем мы не сомневались, однако я заметил, что при допросе ему могут ввести "элексир правды", и он ничего не сможет скрыть, как бы ни крепился. Для Пэта, Майкла и Энн возникало другое затруднение, морального свойства. Если Шон предстанет перед судом, неужели они смогут остаться сторонними наблюдателями того, как его приговаривают к длительному тюремному заключению?

В конечном счете Шон согласился поехать со мной в Советский Союз и переждать, пока не утихнет шум и не угаснет интерес к этому делу. Он был не в восторге от этого решения и принял его только ради безопасности своих друзей. Но как его вывезти? Идея повторить трюк с фургоном отпадала: Шон был намного крупнее меня и, как мы полагали, не мог оставаться восемь-девять часов запертым в тесном темном пространстве, пока не будет проделан весь путь от Лондона до Остенде. Так как фальшивого паспорта тоже не было, Пэт предложил переклеить фотографию Шона на его паспорт. Примерно через неделю после моего благополучного прибытия в Восточный Берлин Шон доберется поездом до Парижа, а оттуда – самолетом до Берлина. Там по своему британскому паспорту он попадет в Восточный Берлин через контрольно-пропускной пункт "Чарли", отправится в советский штаб в Карлсхорсте и подойдет к часовому у входа. Я же, попав в Восточный Берлин, договорюсь с советскими властями, и они будут готовы принять его.

После нескольких экспериментов со старым просроченным паспортом Пэт, печатник по профессии, так ловко поменял фотографию в своем паспорте и воспроизвел печать, что это невозможно было заметить невооруженным глазом.

Когда переоборудование фургона закончилось, все было готово к путешествию. День отправления мы назначили на субботу, 17 декабря. Подошли рождественские канику-

лы, целые потоки туристов потянулись на континент, и мы надеялись, что проверка будет более поверхностной, чем обычно. За неделю до выезда Майкл совершил пробную поездку: я забрался в багажник, пол которого покрывал кусок пенорезины. Несмотря на некоторую тесноту, мне там было вполне удобно, и, оказавшись в багажнике, я почувствовал уверенность в том, что наш план удастся.

Друзья заказали билеты на полуночный паром из Дувра в Остенде, и в 6.30 назначенного дня Майкл с семьей заехал за мной. Перед отъездом мы в последний раз поужинали вместе. Я предложил выпить за успех, но не нашел слов, чтобы выразить свою благодарность этим смелым, замечательным людям, рискнувшим своей свободой и благополучием, чтобы помочь мне бежать из тюрьмы, прятать меня и тайно вывезти из страны. Я сказал, что, когда окажусь в Москве, мне будет непросто объяснить советским властям, кто они и почему решили помочь мне. Думаю, что такие люди есть только в Англии. Если все, что со мной случилось, понадобилось лишь для того, чтобы встретиться с ними, пусть даже ненадолго, то, честное слово, стоило жить.

Мы выехали сразу после ужина. После долгого трогательного прощания с Пэтом и Шоном я забрался в фургон. Прежде чем я исчез в своем убежище, Майкл протянул мне резиновую грелку. Я почти ничего не пил в тот день, но мне предстояло провести взаперти около девяти часов, и она могла мне понадобиться. Я немного поворочался в поисках наиболее удобного положения, дверцу багажника закрыли, застелили постель, и водитель занял свое место. Вскоре спустилась Энн с детьми и сразу уложила их спать. Затем мы тронулись в путь.

Сначала мне было вполне уютно, но постепенно дыхание затруднилось, мне не хватало воздуха. Я был уверен, что все дело в резиновой грелке, запах которой чувствовался все сильнее и сильнее. Кроме того, она оказалась бесполезной, поскольку в таком узком пространстве я все равно не смог бы использовать ее по назначению. Я не знал, как долго мы едем, но чувствовал, что больше не выдержу. Мне был необходим свежий воздух, иначе я бы потерял сознание. Скрепя сердце я все-таки решил постучать, как и было оговорено на случай крайней необходимости. Сначала они не слышали моего стука из-за шума двигателя, но наконец Майкл остановил машину. Энн завернула детей в одеяло и перенесла на переднее сиденье, и только тогда Майкл смог открыть багажник. Я

выбрался из тайника с ощущением слабости и тошноты. "Я задыхаюсь, – сказал я Майклу, протягивая ему грелку. – Все из-за нее". Мне сразу стало лучше. Мы остановились на пустынном участке дороги милях в десяти от Дувра, и нас освежал замечательный холодный бриз. После короткой передышки я снова почувствовал себя в состоянии вернуться в багажник, но на этот раз без грелки.

Вскоре мы достигли Дувра, где сильно перенервничали, проходя таможенный досмотр перед въездом на паром. Затаив дыхание, я пытался по звукам и движению фургона представить, что происходит снаружи. Мы медленно подъехали и остановились. Я слышал, как кто-то попросил предъявить паспорта. Минуту спустя раздался голос Майкла, произнесший: "Спасибо!", и мы тронулись дальше. Вскоре я почувствовал несколько глухих ударов и понял, что мы въехали на паром. Дело сделано. Контрабандный вывоз меня из Англии увенчался успехом, и теперь я находился на бельгийской территории. Самая опасная часть операции осталась позади.

Во время морского путешествия на пароме Майкл, Энн и дети должны были покинуть фургон и сидели в креслах в помещении для пассажиров. Услышав выкрикиваемые команды, я понял, что мы отчалили. После того как я отдал грелку, меня ничто больше не беспокоило, но теперь потребность облегчиться стала все явственнее напоминать о себе. Однако оставалось только терпеть. Море было спокойным, и я не страдал от качки. Затем моторы остановились, движение парома прекратилось, и я услышал, как пассажиры возвращались к своим машинам. Мы прибыли в Остенде. Майкл и его семья заняли свои места, и машины тронулись. После долгой остановки вновь послышались глухие удары – мы покидали паром. Опять небольшая заминка, Майкл предъявляет паспорта бельгийским таможенникам, и мы снова в пути.

Минут через тридцать, когда мы уже прилично отъехали от Остенде, Майкл притормозил у обочины. Детей опять перенесли вперед, и я наконец смог выбраться. Если не считать краткой стоянки по дороге из Дувра, я пробыл в тайнике восемь с половиной часов. Увидев, что со мной все в порядке, Майкл и Энн с облегчением вздохнули: они уже стали бояться, не умер ли я, настолько тихо я себя вел. Было раннее утро, но еще не рассвело. Отойдя от фургона, я помочился, и это, видимо, продолжалось дольше, чем когда бы то ни было за всю мою жизнь.

Остаток пути прошел без происшествий. Пока мы ехали по Бельгии, мне не было особой нужды прятаться, и я устроился на сиденье позади Майкла и Энн, болтая с ними и с детьми, которые отнеслись к этому совершенно спокойно и даже не удивились, когда я внезапно возник ниоткуда.

Когда мы приблизились к бельгийско-германской границе, я вновь спрятался в тайнике. Паспортный контроль был чисто формальным, и четверть часа спустя я опять сидел в фургоне. Все воскресенье мы ехали по Западной Германии. День выдался серым и дождливым. У машины барахлили "дворники", а в мастерской, куда мы заехали по дороге, нам не смогли их правильно установить, и нам с Энн приходилось по очереди двигать их вручную, когда шел дождь.

Около 8.30 вечера того дня мы подъехали к границе между Западной и Восточной Германией рядом с Хельмштедтом. Майкл остановил фургон, и я снова спрятался. Это была последняя граница, которую нам предстояло пересечь, и все здесь вполне могло оказаться намного сложнее. Небольшая остановка у западногерманского пропускного пункта, и мы въезжаем на территорию Восточной Германии. Здесь ждать пришлось дольше. Я слышал, как открывали задние двери фургона, и немецкие голоса. Должно быть, пограничники осматривали салон. Я даже дышать перестал, но вот дверцы захлопнулись, и Майкл занял свое место за рулем. Путешествие продолжалось, начался его последний этап. Чтобы избежать лишнего риска, мы решили, что я пробуду в тайнике, пока мы не пересечем Эльбу у Магдебурга. Наконец Майкл остановил машину, и я вышел. Операция завершилась. Но где же радость? Мы все устали от напряжения долгого пути и вынужденной бессонницы, особенно Майкл, которому пришлось без отдыха вести фургон более 24 часов. По мере приближения к месту, где мы должны были расстаться, тревога Майкла и Энн за мою судьбу возрастала. Колючая проволока, сторожевые вышки и прожектора восточногерманской границы отнюдь не способствовали их оптимизму. Не для того ли они вызволили меня из одной тюрьмы, чтобы отвезти в другую? Я постарался успокоить их, так как был абсолютно уверен, что все обойдется хорошо, по крайней мере после того, как мне удастся объяснить восточногерманским и местным советским властям, кто я такой. Это немного приободрило их, но, как я чувствовал, не развеяло сомнений.

Наконец я издали увидел огни восточногерманского конт-

рольно-пропускного пункта рядом с Берлином. Наше путешествие подошло к концу. Я велел Майклу остановиться и выключить фары. Было около полуночи. Дети спали. Я напомнил Майклу и Энн о формальностях прохождения двух пропускных пунктов, через которые им предстояло проехать, и сказал, где следует свернуть с западноберлинского автобана, чтобы добраться до Курфюрстендамм, порекомендовал им, в каком отеле остановиться. И вот пришло время прощаться. С тяжелым сердцем я расставался с Майклом и Энн, а вместе с ними с Англией и с большей частью собственной жизни. "Спасибо за все, что вы сделали для меня. Мы еще отпразднуем это с шампанским. Верю, такой день настанет", – сказал я. Они пожелали мне удачи, и мы вновь обменялись рукопожатиями. Потом дверца захлопнулась, последний взмах руки, и они уехали. Стоя на обочине пустынной дороги, я долго смотрел, как габаритные огни фургона таяли в темноте. Я давал моим друзьям время проехать через восточногерманский пропускной пункт прежде, чем появлюсь там сам. На какое-то время я почувствовал себя свободным и одиноким в этой ночной темноте, находясь между двумя мирами и не принадлежа ни одному из них. Стоя среди шумящих на ветру сосен, я размышлял обо всем, что произошло, о событиях и людях, приблизивших эту минуту, и о иных людях и событиях, сделавших неотвратимыми мой арест и суд. И мне вспомнились слова Екклесиаста: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать"*.

Затем я направился к пропускному пункту. Я ступил из темноты в слепящий свет прожекторов и подошел к восточногерманскому пограничнику, стоявшему у опущенного шлагбаума.

---

* Библия, Книга Екклесиаста, или Проповедника, гл. 3, стихи 1, 4, 6.

Глава двенадцатая

Без каких-либо документов, удостоверяющих мою личность, мне стоило некоторого времени и труда убедить восточногерманских пограничников связаться с местными советскими властями. В итоге пришлось переночевать на заставе. На следующее утро, около восьми, меня разбудил офицер, принесший поднос с кофе и бутербродами. Я еще завтракал, когда дверь комнаты неожиданно распахнулась. На пороге, глядя на меня, стояли трое мужчин. В одном я сразу же узнал Василия, молодого человека – впрочем, уже не столь молодого, – с которым у нас было немало приятных прогулок по лондонским предместьям. Увидев меня, он радостно воскликнул: "Это он! Это он!" – и бросился обнимать меня. Я очень удивился, не понимая, каким образом ему удалось добраться сюда из Москвы за то короткое время, пока я находился на заставе. В машине по дороге в Восточный Берлин он объяснил, что это чисто случайное совпадение: Василий участвовал в одном совещании и уже собирался уезжать, как вдруг среди ночи ему позвонил шеф КГБ в Берлине, знавший о нашей совместной работе в Лондоне, и сказал, что на восточногерманском контрольно-пропускном пункте рядом с берлинским автобаном объявился человек, именующий себя Джорджем Блейком. Не мог бы Василий съездить туда и провести опознание?

В Берлине со мной обращались как с героем, а немецким товарищам особенно импонировало то, что я выбрал именно их город в качестве убежища. Хотя я никогда и мысли не допускал, что меня могут выставить из Берлина или невни-

мательно ко мне отнесутся, столь теплого приема я никак не ожидал.

Здесь я получил целый гардероб новой одежды. Каждый день один из сотрудников, в обязанности которого входило заботиться обо мне, отправлялся в Западный Берлин покупать мне что-нибудь из платья. Если одежда не подходила, он возвращался и менял ее, в зависимости от необходимости, на меньший или больший размер. Эта процедура, которую я считал излишней и слишком хлопотной, вызывала мое искреннее недоумение. Мне сказали, что через несколько дней специальным авиарейсом я буду доставлен в Москву. Так почему бы не подождать с моим гардеробом? Там я мог бы походить по магазинам, примерить и купить все необходимое самостоятельно. Сегодня, прожив в Москве более двадцати четырех лет, я уже не удивляюсь. Товарищи хотели обеспечить меня хорошей одеждой, пока это было еще возможно. В Москве, как мне вскоре предстояло узнать, хорошо одеться весьма сложно.

В Москве меня поселили в большой комфортабельной квартире, а помогала по хозяйству пожилая экономка. Через две недели ко мне присоединился Шон Бэрк. Строго придерживаясь выработанного нами плана, ему удалось благополучно добраться до Восточного Берлина.

К сожалению, история Шона имеет печальный конец. Пока мы вместе с ним жили в Москве, наши отношения расстроились. Главной причиной стало коренное расхождение во мнениях по поводу его будущего. Если бы Шон мог осесть в Советском Союзе, это было бы идеальным решением вопроса. Он ни в чем не испытывал бы недостатка, а Пэт, Майкл и Энн были бы в полной безопасности. Но, как я вскоре понял, Шон и слышать об этом не хотел. По своей природе он был слишком большим индивидуалистом, если не сказать анархистом, слишком нетерпимым к любой форме власти, чтобы жить счастливо в столь авторитарной стране, как СССР в те годы. Кроме того, здесь все для него было непонятным и чужим. Языка Шон не знал, телевидение, радио, кино, театры и газеты теряли для него всякий смысл. Близкой ему оказалась разве что почти всеобщая склонность к потреблению крепких напитков и та терпимость, с которой здесь относились к изрядно подвыпившим субъектам. В то же время, как мне кажется, ни по чему он так не тосковал, как по уюту и непринужденности английского паба, поскольку в СССР не сущест-

вовало ни одного заведения, хотя бы отдаленно напоминающего паб. Не исключено, что, несмотря на все затруднения, он бы остался, если бы захотел сделать над собой усилие и выучить язык, узнав таким образом русский народ и его традиции, которые во многих отношениях не так уж сильно отличались от традиций его собственного народа. Но это ему и в голову не приходило.

В отличие от меня, Шон не имел коммунистических взглядов и не желал приспосабливаться к жизни советского общества. Я знал, что мне предстоит провести в этой стране если и не всю жизнь, то бóльшую ее часть и поэтому с самого начала старался находить во всем положительные моменты. Я ведь знал, на что шел. Неудивительно, что Шон относился к этому совершенно по-другому. Приехал он сюда крайне неохотно и теперь стремился как можно скорее покинуть страну, к которой с самого начала отнесся с предубеждением и реагировал только на негативные стороны жизни здесь, утверждаясь в своем желании уехать. За это я не мог осуждать его, да и не осуждал. Убедившись, что Шон настроился на отъезд, мои друзья из КГБ предложили ему поселиться в любой стране под чужим именем, обещая снабдить безупречными документами и суммой, позволявшей начать жизнь заново. Но он отверг и это. Шон не просто хотел написать книгу о побеге и своей выдающейся роли в нем – он вполне мог бы сделать это и здесь, а опубликовать на Западе, – ему необходимо было иметь возможность хвастаться этим перед своими друзьями и подвыпившими знакомыми в Ирландии, а если придется, то и перед товарищами по заключению в какой-нибудь английской тюрьме. Его решимость оказалась столь сильной, что однажды он отправился прямо в посольство Великобритании в Москве сдаваться, но ему указали на дверь. Пытаться вывезти его тайком из страны было бы слишком хлопотно, поэтому с этим предпочли не связываться.

Жажда саморекламы, снедавшая Шона, могла серьезно повредить нашим друзьям в Англии, которые не хотели, чтобы их участие в побеге стало известно властям со всеми вытекающими отсюда последствиями. В конце концов именно ради этого мы уговорили Шона уехать в Советский Союз. Я оказался перед мучительным выбором: мне предстояло либо поддержать Шона в достижении его личных целей, поставив таким образом под удар Пэта, Майкла и Энн, либо ради их безопасности пойти против Шона.

Именно Шон организовал мой побег из Уормвуд-Скрабс. Но Пэт, Майкл и Энн нашли деньги для всей операции, прятали меня и в итоге сумели тайно вывезти из Англии. Им я обязан тем же, чем Шону, если не большим. И я выбрал их безопасность, делая все от меня зависящее, чтобы убедить Шона остаться или уехать куда-нибудь под чужим именем. Это очень обижало его, и он так и не простил мне, что я не принял его сторону.

Никто не собирался удерживать Шона против его воли, и была достигнута договоренность о его возвращении в Ирландию. Там он едва избежал опасности выдачи британским властям. Шон написал свою книгу, в которой без всякой необходимости и по совершенно непонятным причинам столь прозрачно намекнул на участие Пэта, Майкла и Энн, что в Англии не составило труда понять, о ком идет речь. Однако власти по им одним известным соображениям решили тогда не возбуждать дело.

Некоторое время Шон жил на доходы от книги и, без сомнения, наслаждался своей местной славой, которой он так жаждал. Он умер в сорок с небольшим лет от злоупотребления спиртным в нищете и одиночестве в доме-фургоне на одном из ирландских морских курортов. Печальный конец для одаренного, обаятельного, отважного, но непредсказуемого человека, которого я всегда буду вспоминать с благодарностью.

Моя склонность видеть все в СССР в розовом свете, характерная и для многих коммунистов Запада, иногда приводила к довольно поспешным и наивным выводам. В 60-е и 70-е годы купить шампанское здесь не составляло труда, и оно было очень дешево. Во многих продовольственных магазинах за специальными прилавками продавали всего за 40 копеек стакан отличного советского шампанского. Я счел это весьма впечатляющим и воспринял как верный знак того, что советское общество вот-вот войдет в эру коммунизма: ведь здесь шампанское перестало быть привилегией богатых и доступно самой широкой публике. Во время недавней антиалкогольной кампании, когда приходилось по два часа простаивать в очередях, чтобы купить хоть что-нибудь из спиртного, я рассказал об этом моим друзьям. Не было

конца их язвительному веселью и удивлению по поводу моей величайшей наивности.

Советское общество сильно отличалось от того, каким я его себе представлял. Когда меня "одевали" в Берлине, я был смущен как сложностью процедуры, так и обилием покупок, полагая, что мне выдадут один, два, ну три костюма и кое-что из действительно необходимых вещей. Кроме того, я воображал, что получу в Москве скромно обставленную одно- или двухкомнатную квартиру. К моему изумлению, это оказалась просторная четырехкомнатная квартира с высокими потолками, восточными коврами, массивной мебелью красного дерева и хрустальными люстрами.

Удивительно, но таксисты и официанты, не моргнув глазом, принимали чаевые и так же, как их западные коллеги, клянчили еще, если, по их мнению, они были невелики. Как-то в первые месяцы моей жизни в Москве я выполнил перевод для одного крупного издательства и отказался от гонорара, мотивировав это тем, что у меня все есть. Стен, сотрудник КГБ, на чьем попечении я находился, отчитал меня и заметил, что это социалистическое общество, где платят по труду, а не по потребностям, что я не прав и что мой поступок все равно не поймут и не оценят, привести же он может лишь ко всяким осложнениям. Например, что издательство станет делать с деньгами, от которых я отказался? Я только нарушу четкую работу административной машины.

С тем же бюрократическим подходом я столкнулся вновь примерно год спустя, когда устроился в другое издательство на свою первую постоянную работу в качестве переводчика. Недели через две мне велели получить премию. Заподозрив ошибку, я заметил, что никак не могу рассчитывать на премию, поскольку проработал всего четырнадцать дней. Мне объяснили, что как штатный сотрудник я автоматически включаюсь в положение о премировании и должен получить деньги. Всех, казалось, больше всего беспокоило то, что они не знали, куда девать деньги, если от них кто-нибудь откажется, ведь система не предусматривала подобной возможности. Проведя шесть лет в тюрьме, я прекрасно усвоил тщетность борьбы с системой и без дальнейших возражений получил премию.

Я часто думал, легче или тяжелее мне привыкать к жизни в Советском Союзе, попав сюда прямо из тюрьмы. С одной стороны, после долгого заключения всегда трудно адапти-

роваться к свободе и нормальному существованию. Сделать же это в совершенно по-иному устроенном обществе может оказаться еще труднее. С другой стороны, если бы я приехал в Советский Союз прямо из Бейрута, как вполне могло случиться, контраст был бы еще более разительным, что создало бы для меня лишние сложности. Уормвуд-Скрабс по-своему оказалась чем-то вроде шлюза, облегчившего переход и смягчившего неожиданности. После тюрьмы было просто замечательно вставать по утрам и планировать день по своему усмотрению, идти, куда захочешь... Благодаря этому низкий уровень жизни и прочие недостатки советского общества становились не столь уж неприемлемыми.

Если говорить о неожиданностях, то среди многого другого меня удивила взаимная грубость людей в общественных местах. В социалистическом обществе, как я представлял себе раньше, должно было быть все наоборот. В длинных очередях нередки ссоры и препирательства, когда кто-нибудь, не желая ждать, идет прямо к прилавку, оттесняет остальных или позволяет себе оскорбительные комментарии. За редким исключением, продавщицы в магазинах грубы и угрюмы, поскольку измучены работой и бесконечными потоками назойливых, толкающихся покупателей, изводящих их вопросами, а также из-за того, что в условиях дефицита и им самим, и их начальству безразлично, осчастливит ли кто-нибудь их магазин покупкой. Они в любом случае все продадут. Всеобщая грубость, мрачность, толпы усталых людей на улицах – результат трудного быта, постоянного раздражения и изнеможения от очередей и неудач, порожденных бесчисленными помехами, которые бюрократическая машина – а обойти ее невозможно – ставит на пути решения любого, даже самого элементарного вопроса.

Тяжелее всего я переживал грубость и безразличие, поскольку сам всегда придавал огромное значение вежливости и внимательности, считая их "смазкой", смягчающей отношения между людьми. Улыбка или "спасибо" ничего не стоят, а могут творить чудеса, и воистину мудро библейское выражение, гласящее: "Кроткий ответ отвращает гнев"*. Но вскоре я получил урок. Помню, как однажды, входя в магазин, я остановился и придержал дверь, пропуская шедшую за мной молодую женщину. Она вошла, не поблагодарив и даже не

---

* Библия, Книга притчей Соломоновых, гл. 15, стих 1.

взглянув на меня, и, прежде чем я сам успел переступить порог, за ней последовал целый поток покупателей, с подозрением смотрящих, как я стою и держу дверь. Я почувствовал себя полным идиотом и никогда уже больше так не поступал.

Если люди в толпе злы и угрюмы, то вне ее они добросердечны, милы, щедры и удивительно гостеприимны. Встречи с ними подобны лучу солнца в пасмурный день. У русских есть еще одно замечательное качество, выгодно отличающее их от многих других народов: они чрезвычайно любезны и предупредительны с иностранцами, те ведь гости, а значит, и обращаться с ними надо лучше. Случалось, что в магазинах мои покупки заворачивали в бумагу только потому, что мой акцент сразу выдавал во мне иностранца, тогда как всем остальным вручали без упаковки.

Мне объяснили, что это уважительное отношение проистекает отчасти из чувства жалости, которое большинство русских испытывает к иностранцам, столь одиноким, как им кажется, в чужой стране и, следовательно, нуждающимся в помощи. Это вполне может быть правдой, если учесть их собственную привязанность к родной земле и то, с каким трудом они сами привыкают к жизни в других странах. Но у столь замечательного качества есть и обратная сторона, которая мне нравится уже значительно меньше: чрезмерный восторг перед всем иностранным. Так, хотя у русских есть свой отличный национальный напиток – квас (он вкуснее и, на мой взгляд, лучше утоляет жажду), многие считают престижным ставить на стол кока-колу.

Другая черта русских, особенно меня поразившая почти сразу же, – это их отношение к закону и власти. Я был воспитан в весьма уважительном отношении к закону, столь распространенном в Англии и особенно в Голландии, и приучен сдержанно воспринимать любого представителя власти. В России все наоборот. Здесь мало обращают внимания на закон и очень уважают, а часто и просто раболепствуют перед носителями власти. Не надо даже утруждать себя тем, чтобы обойти законы, их просто не замечают. Еще в XIX веке Салтыков-Щедрин отмечал, что многочисленность и сложность законов Российской империи искупаются тем, что их нет нужды соблюдать. Боюсь, что это справедливо и сегодня. Принятые в последнее время законы тщательно проработаны, призваны поднять авторитет как законодательства, так и

правоохранительных органов и подчинить себе все структуры власти, как, впрочем, и должно быть. Но это высшая задача, и она потребует немало времени и сил, дабы побороть вековые привычки и образ мыслей, и она осложняется тем, что русским явно присущ анархизм. Очевидно, им нравится проявлять непослушание, нарушая правила и распоряжения властей. Это можно ежедневно видеть на улицах. Люди постоянно переходят дорогу на красный свет светофора, входят в метро через двери с надписью "выход" или выходят через "вход". Мусор, как правило, бросают именно там, где есть большие объявления, строго воспрещающие делать это. Перечисленные нарушения, конечно же, незначительны, но очень характерны. Такое поведение делает русский народ трудноуправляемым и, возможно, объясняет причину издревле существовавшей потребности в "твердой руке".

Русские ударяются в крайности и склонны видеть все в черно-белом цвете, не в силах придерживаться золотой середины. Окружая своих лидеров восхвалениями, низкопоклонством и лестью, приобретающими временами непомерный размах, после смерти или отстранения от власти их подвергают уничтожающей критике и насмешкам. Отсутствие умеренности сочетается у русских с непредсказуемостью поведения, что хорошо иллюстрируют слова одного британского советолога: "Европейцы всегда пишут слева направо. Арабы – справа налево. Китайцы и японцы – сверху вниз. Русские же пишут по диагонали то из левого верхнего в правый нижний угол, то наоборот. И никто, включая их самих, не может сказать заранее, как будет на этот раз".

Русские часто нетерпеливы или просто не считают нужным обращать внимание на мелочи. В этом смысле они – полная противоположность японцам. Многие жилые дома и административные здания в Москве и других городах страны окрашены в мягкие розовые, желтые и зеленые тона, что придает им светлый, радостный вид, но почти все страшно запущенны. Дело в том, что, когда красят стены домов – впрочем, так же как и внутренние помещения, – никто не дает себе труда соскоблить старую краску. Ни разу не видел, чтобы для этих целей здесь пользовались паяльной лампой, как это делают на Западе. Новая штукатурка или краска просто наносятся на грязную поверхность старой. В результате новая начинает трескаться, облупливаться, осыпаться, и нужен новый ремонт. Ради ничтожных результатов расходуется слишком

много краски и сил. Небрежение к "мелочам" и нетерпеливость проявляются также в отношении к станкам и инструментам, которые часто используются не по назначению и в итоге быстро выходят из строя.

Сами русские прекрасно знают о своих недостатках и умеют смеяться над ними.

Все это делает Россию страной парадоксов и противоречий. Насколько я знаю, это единственная страна в мире, где суп подают холодным, а кока-колу теплой, где приходится стоять около двух часов, чтобы попасть в кафе быстрого обслуживания, где "правое консервативное крыло" выступает за "твердую линию партии", а "левое радикальное" – за частную собственность и свободное предпринимательство. Для человека, выросшего на Западе и живущего в этой стране, трудно понять, в какой степени трудности порождены социалистическим строем, а в какой – русским характером.

Мои замечания могут произвести негативное впечатление, тем не менее я искренне восхищаюсь русскими, считаю их одаренными, изобретательными, стойкими и добросердечными людьми. В повседневной жизни с ними просто общаться, и среди них я чувствую себя дома. Без всякого преувеличения могу сказать, что 24 года, проведенные в этой стране, стали самым спокойным и счастливым периодом моей жизни.

Первые шесть месяцев моего пребывания здесь были, безусловно, самыми трудными. Почти все время мы с Шоном проводили в квартире, как и тогда, когда прятались в Хэмпстеде. У нас было вволю денег и свободного времени, о чем может лишь мечтать заключенный, но очень мало возможностей потратить их. Москва – отнюдь не всемирно известный центр развлечений, к тому же мы ее совсем не знали. А так как было нежелательно, чтобы о нашем присутствии в Москве стало известно, нам с Шоном приходилось избегать крупных гостиниц, ресторанов, театров и прочих мест развлечений, особенно в центре города, где часто бывают иностранцы. В итоге мы проводили время, гуляя по Москве, и наши прогулки длились все дольше и дольше, по мере того как мы знакомились со столицей. Я сразу полюбил старую Москву с ее причудливыми улочками, внутренними двориками и ку-

печескими домами, прекрасными дворянскими особняками, многочисленными церквами с золотыми или голубыми в звездах куполами, монастырями, похожими на крепости. Мне не понравились районы новых застроек, столь холодные, уродливые и безликие. Зато великолепно метро с его станциями-дворцами, украшенными скульптурами и настенной росписью, освещенными тяжелыми люстрами и содержащимися в идеальной чистоте. Впечатляло и обслуживание: в часы пик поезда подходили каждую минуту.

В то время меня сильно волновали отношения с женой. За полгода до моего побега, который уже планировался, придя ко мне в очередной раз, жена попросила у меня развод. Она встретила кого-то, страстно желавшего на ней жениться, и не хотела упускать возможность начать новую жизнь. Фактически она могла бы считаться вдовой с тремя детьми на руках. Хотя я и не помышлял о разводе, но в той ситуации не мог ни отказать, ни воспрепятствовать ей. Итак, я сразу согласился и, несмотря на то что ее неожиданная просьба была для меня тяжелым ударом, связался со своим солиситором, который приступил к работе. Но на подобные вещи требуется время, и слушание дела было назначено примерно через месяц после предполагаемого дня побега. Ей я, естественно, ничего об этом не сказал, поскольку втайне надеялся, что, узнав об удачном побеге, она захочет вместе с детьми присоединиться ко мне, в какой бы стране я ни нашел убежище. Скрываясь в Хэмпстеде, я узнал, что из-за моего отсутствия слушание дела откладывается, и во мне вновь шевельнулась надежда.

Спустя два месяца после моего прибытия в Москву Стен принес газетную вырезку, сообщавшую о том, что слушание состоялось без меня и просьба о расторжении брака удовлетворена. Эта новость развеяла все надежды на встречу с женой и доставила мне много горя. Позднее, когда я лучше изучил жизнь и условия в СССР, и особенно после того, как познакомился с товарищами по эмиграции Кимом Филби, Дональдом Маклейном и их семьями, я понял, что мое горе обернулось благом и что жена лишь проявила мудрость, отказавшись последовать за мной. В противном случае это превратилось бы в муку для нас обоих. Моя жена, я уверен, никогда не была

бы счастлива, живя здесь. Она столкнулась бы с массой трудностей и, не имея той идейной связи с советским обществом, которая была у меня, не смогла бы мириться с ними. Она была слишком англичанкой и, например, всегда носила вещи только английского производства. Помню, что в Западном Берлине жена никогда не покупала для детей немецкую одежду, а дожидалась отпуска и все приобретала в Англии. В первые два года моей жизни в Москве советником британского посольства был мой друг по Центру арабских исследований, с которым мы провели последний вечер в Бейруте. Наши жены тоже были подругами, и могу себе представить, как тяжело было бы моей жене жить с ней в одном городе и не иметь возможности увидеться.

Что ж, все хорошо, что хорошо кончается, и за одно это уже можно быть благодарным судьбе. Новый брак моей бывшей жены оказался очень счастливым. У нее родился еще один сын, а ее муж сумел стать для моих детей отличным отцом. Через два года я тоже женился вновь, у меня тоже родился сын, и мой новый брак не менее счастлив.

Как только я оказался в безопасности в Москве, мне сразу же захотелось известить об этом семью, поскольку я представлял, как они беспокоятся за меня после побега. Через два месяца, в феврале, мне удалось послать матери первое письмо, где я писал, что со мной все в порядке. Его отправили из Египта, чтобы создать впечатление, будто я там. Спустя месяц я послал другое письмо, с обратным адресом в Восточной Германии, на который мать могла писать. В нем я приглашал ее приехать и побыть со мной несколько недель. Она сразу ответила, что приедет, и сообщила, когда и каким поездом. В июне того года ее поезд прибыл на Восточный вокзал в Восточном Берлине, где, как она думала, я буду ее ждать. Но вместо меня ее встретил Стен и сказал, что я в Москве, куда они на следующий день и отправились. Эта встреча после долгой разлуки, третьей в нашей жизни, была счастливой и волнующей. Мы чудесно провели время вместе. Шон к тому времени получил свою квартиру, я обходился без услуг экономки, так что моя квартира была полностью в нашем распоряжении. В компании Стена мы съездили в Карпаты и жили там в доме лесника в прекрасном заповеднике.

Матери не понравилось, что я живу в Москве совсем один, и она предложила приезжать ко мне хотя бы на несколько месяцев. Я с благодарностью принял это. Мы с матерью всегда

отлично ладили, у нас было много общего: одно и то же отношение к жизни, почти одинаковые вкусы. Нам обоим нравилась домашняя жизнь с ее тихими радостями, мы оба любили готовить и старались сделать жилище удобным и уютным. От нее мне достался уравновешенный характер, и мы никогда не ссорились.

Мать приехала в ноябре, на этот раз поездом, так как везла с собой много багажа. Она основательно подготовилась к русской зиме, привезя одеяла с электроподогревом, грелки, меховые тапочки и стеганые халаты. Все это оказалось ни к чему, так как в России дома хорошо отапливаются. Нет холодных коридоров или спален, и зимой спишь под тем же количеством одеял, что и летом. Как ни парадоксально это звучит, но в России я меньше страдал от холода, чем в Англии. В доме тепло, а выходя на улицу, надеваешь меховую шапку, утепленное пальто или шубу, перчатки и зимнюю обувь.

Среди ее багажа был большой чемодан со всей моей одеждой. Вскоре после того, как я попал в тюрьму, моя жена пришла к ней посоветоваться, что делать с моими вещами, раздарить или продать? Ни секунды не колеблясь, мать решила сохранить их, веря, что непременно настанет время, когда они мне вновь понадобятся. Она отдала все в чистку и, пересыпав нафталином, сложила в чемодан. Так, живя долгие годы в Москве, я мог носить свою английскую одежду, и кое-что из нее осталось до сих пор.

Еще она привезла с собой великолепный альбом картин Национальной галереи, подписанный и подаренный ей охранниками из спецподразделения, в обязанности которых входило наблюдать за ее домом после моего побега. Кроме того, они следовали за ней повсюду, куда бы она ни пошла. Такая же слежка была установлена за моей женой. Моя мать, отлично зная меня, была абсолютно уверена, что я ни в коем случае не появлюсь в ее доме, что бы ни случилось, и не обращала внимания на слежку. Однажды в конце октября, когда погода окончательно испортилась, она пожалела полицейских, вынужденных сидеть целый день в машине, пригласила их на чашку чая и предложила им дежурить в доме, где гораздо теплее и уютнее, чем на улице. Они с удовольствием согласились, и через некоторое время у них с матерью завязались дружеские отношения. А так как им все равно приходилось везде ее сопровождать, они предложили ей место в своей машине. Когда через четыре месяца стало известно, что я

покинул страну, слежку сняли. В знак признательности охранники подарили матери этот альбом, расписавшись в нем на память.

После своего первого приезда в Москву моя мать решила покинуть Англию и вернуться в Голландию. Она получила голландское гражданство, утраченное после брака с моим отцом. Таким образом, некоторое время у нее было два паспорта: прежний, британский, и новый, голландский. Навещая в Англии внуков, она пользовалась голландским паспортом, опасаясь, что иначе ей не позволят вновь выехать из страны. Однажды, прибыв в Гарвич ночным пароходом, она проходила иммиграционный контроль через коридор для иностранцев. Офицер иммиграционной службы из спецподразделения охраны узнал мою мать и, взглянув на ее голландский паспорт, сказал, улыбнувшись: "Миссис Блейк, с британским паспортом вы бы прошли быстрее". Этот случай наглядно показывает отношение английских властей к моей семье, ни одному из членов которой никогда не препятствовали навещать меня в Москве. Их даже ни разу не допрашивали после возвращения.

Всю ту зиму мы прожили в Москве очень замкнуто, много времени занимаясь квартирой. В итоге она стала выглядеть более обжитой. В те дни еще можно было купить старинную, иногда даже антикварную мебель по умеренной цене, так что в итоге квартира обрела жилой вид и индивидуальность. Из-за долгих зим и почти полного отсутствия развлечений я скоро осознал, как здесь важно иметь уютный дом.

Иногда мои друзья из КГБ устраивали для нас экскурсии в старинные загородные дворцы и знаменитое своей красотой Подмосковье, но чаще мы просто подолгу и с удовольствием гуляли. Неподалеку от нас жила немолодая женщина со слабоумным сыном. Они тоже много гуляли, и мы часто встречались. Меня поражало странное сходство между нами, и я как-то сказал матери: "Посмотри, они совсем как мы".

Покупки неизбежно поглощали бо́льшую часть времени. В Москве это дело непростое, и иностранцу на первых порах бывает трудновато. Начну с того, что в магазинах всегда очереди. Если нет очередей, значит, нет и товаров. Это происходит отчасти из-за дефицита товаров широкого потребления и продуктов питания, а отчасти из-за плохой организации торговли. За прилавками не хватает продавщиц, вместо нескольких касс, как правило, работает одна. В итоге быстро

растущие очереди, раздражение и нервотрепка как для покупателей, так и для продавцов. Еще одна причина задержек: хотя в большинстве магазинов электронные кассы, кассиры по неясным причинам не вполне им доверяют и перепроверяют результат на счетах, то есть оплата занимает почти вдвое больше времени, чем требуется.

Иностранец в советском магазине чувствует себя совершенно потерянным в гудящей толпе покупателей у прилавков и не знает, с чего начать. Но в этом кажущемся хаосе есть своя логика, и спустя некоторое время начинаешь в нем ориентироваться. Важно знать, что магазин торгует только тем, что выставлено в этот день на витринах. Если вы не видите на них того, за чем пришли, бесполезно спрашивать продавца, – конечно, если вы рядовой покупатель, а не его знакомый. Например, если вы хотите купить сыр, вам следует выстоять очередь к соответствующему прилавку. Когда подходит ваш черед, вы говорите, сколько вам нужно (люди редко покупают меньше полукилограмма или килограмма), продавщица взвешивает сыр, заворачивает его и называет сумму оплаты. Затем вы стоите в очереди в кассу. Оплатив покупку, вы идете в начало очереди и протягиваете чек продавщице, которая, не прекращая обслуживать очередных покупателей, отдает вам ваш сверток. Если вам требуется что-то еще, продающееся за другим прилавком, то следует повторить всю процедуру.

Моя мать, не зная ни слова по-русски, очень быстро освоила эту систему и вскоре делала большинство покупок самостоятельно. С тех пор как появились специальные магазины для иностранцев, редко кто из них появляется в советских, и моя мать, выделяясь на общем фоне, стала известной всей округе. Несмотря на свойственную им грубость, продавцы были очень любезны и предупредительны с ней. Она показывала на то, что собиралась купить, и говорила, сколько взвесить (слово "kilo" по-русски звучит точно так же). Затем продавец писал на листке бумаги стоимость покупки, и мать шла в кассу. Ее уже так хорошо знали, что и спустя несколько лет после ее отъезда продавщицы из окрестных магазинов спрашивали меня, как у нее дела.

Говоря о дефиците продовольствия, я, конечно же, не имею в виду, что людям не хватает еды. Просто по сравнению с Западом здесь ограниченный выбор, и многие вещи трудно достать. Парадоксально, но, несмотря на то что в магазинах

пусто, праздничные столы в русских домах ломятся от угощений. Добыть их требует немалых сил и времени, ведь некоторые продукты то и дело просто исчезают из продажи. Вы не можете просто пойти и купить то, что надо. Например, вам нужен цыпленок, однако в этот день есть только говядина или свинина. Сыр, майонез, колбаса или что-то еще могут внезапно исчезнуть. Если вы не нашли их в одном магазине – будьте уверены, что в остальных вас ждет то же самое. Как-то я вышел купить несколько бутылок пахты, а вернулся с пивом: пахты не оказалось, но вдруг после долгого перерыва опять появилось пиво. Мы никогда не выходим из дома без сумки для покупок, поскольку нельзя знать заранее, что попадется по дороге. Эту сумку в России очень точно называют "авоськой". Когда вы на что-нибудь натыкаетесь, то покупаете это в количествах, значительно превосходящих ваши реальные потребности, потому что знаете: завтра это может вновь надолго исчезнуть. Подобная привычка сама по себе рождает дефицит. Если вы несете в сумке апельсины, или консервированные фрукты, или банку зеленого горошка, люди на улице подходят и спрашивают, где вы это купили. Поначалу подобные вопросы казались мне ужасно странными.

Трудности проистекают не только из неспособности существующей системы сельского хозяйства накормить досыта население, но и из неэффективности поставок и распределения продуктов. Вся беда в том, что никто реально не заинтересован в результатах своего труда, а прикрывается заявлениями, что следовал спущенным "сверху" распоряжениям.

Вы вполне можете покупать все необходимое на рынке (их в Москве несколько), но цены там в четыре-пять раз выше государственных, и далеко не каждый может себе это позволить. Жизнь осложняется еще и тем, что некоторые вещи можно приобрести только в специализированных магазинах, а их мало. Например, лишь в одном магазине в Москве продаются запчасти к автомобилям (если они вообще есть), а батарейки к электронным часам – в двух. Прачечные, химчистки, парикмахерские и ремонтные мастерские работают плохо, и результат их труда часто никуда не годится. Итак, нравится вам это или нет, но приходится становиться мастером на все руки и делать все самому. Я даже стригусь сам. В парикмахерской приходилось слишком долго ждать, к тому же у меня не так много волос.

Что же касается препятствий на пути получения разрешения на что-либо от правительства или городских властей, то они просто выбивают из колеи, и нужен подлинный героизм, чтобы чего-либо добиться. В Москве, например, только одна контора занимается выдачей водительских прав, и расположена она, как нарочно, на окраине города. Решение насущных проблем отнимает столько времени и энергии, что люди часто просто не в состоянии хорошо справляться со своей работой. Вот вам и порочный круг: ежедневные трудности ведут к плохой работе, а плохая работа – к дальнейшим трудностям.

Из всего сказанного ясно, что первые несколько лет моей жизни здесь я старался приспособиться к новым условиям. Только через два года мне разрешили посетить Большой театр, половину зала которого всегда заполняют иностранцы. В театр меня провели через служебный вход, а затем по "черным" лестницам – в артистическую ложу, где, сидя в заднем ряду, я не был никому виден. В тот вечер шел балет "Жизель", произведший на меня незабываемое впечатление. С тех пор я часто бывал в Большом, и ни разу никто из иностранцев меня не узнал и даже не заговорил со мной.

Помимо оперы и балета я нередко бываю на концертах и спектаклях. Очень люблю классический русский театр, особенно спектакли по произведениям Гоголя, Островского и Салтыкова-Щедрина, современные же советские драматурги меня разочаровали. Должен признаться, что я достаточно консервативен в своих вкусах и предпочитаю, если уж действие разворачивается в светском салоне, чтобы и сцена была оформлена как светский салон, а не так, как в новых театрах, где все происходит на фоне одних и тех же абстрактных декораций.

Мы с матерью жили замкнуто до тех пор, пока в 1968 году я не встретил свою будущую жену. Ее звали Ида, мы познакомились на пароходе во время круиза по Волге. После возвращения в Москву мы продолжали встречаться и год спустя поженились. Эта встреча круто изменила мою жизнь. Моя жена – очень подвижный человек, настоящая непоседа, любит плавание, лыжи и долгие загородные прогулки. Я и сам довольно активен, хотя и не настолько, и с радостью позволял вовлекать себя во все эти "мероприятия", решив, что они помогут мне поддерживать форму. В этом смысле она очень напоминала мою первую жену, тоже не сидевшую на месте и

любившую кататься верхом, лыжные и пешие прогулки, а в школе даже игравшую в хоккей. Их объединяло и то, что они обе очень честны и искренни. Парадоксально, что я, не столь прямолинейный по натуре, дважды женился на женщинах такого склада.

Иду не удивила моя связь с разведкой, она заподозрила это с самого начала. Дело в том, что, явно будучи иностранцем, я жил как рядовой советский гражданин. У иностранцев свои дома и магазины, кроме того, в конце 60-х годов они не могли свободно общаться с русскими, последним же это запрещалось еще строже. Таким образом, она пришла к единственно возможному выводу, что я занимаю особое положение, а значит, как-то связан с разведкой. Впрочем, она отнеслась к этому без особого интереса, считая такую "работу" откровенно скучной, и предпочитала говорить о чем-нибудь другом, но, как гласит русская пословица, "любовь зла, полюбишь и козла", и она вышла за меня замуж. Жили мы очень счастливо. Мой сын Миша с раннего детства знает, что его отец работал на разведку. Он часто ездил с нами в другие социалистические страны и обычно присутствовал на дававшихся в мою честь завтраках, где произносились тосты во славу того, что мне удалось сделать как разведчику. Это не произвело на него никакого впечатления, и в возрасте четырнадцати лет он твердо решил, что будет физиком, перевелся (разумеется, с нашего согласия) из французской спецшколы в физико-математическую и проявляет незаурядные способности в точных науках.

Нашему браку препятствовала моя будущая теща, вдова и приемная мать Иды. Она ничего не имела против меня лично, но ей не нравилось, что я иностранец. В ее памяти еще были живы времена сталинских репрессий, когда связь с иностранцем могла стать роковой. У нее было два сына (сводные братья моей жены), работавших инженерами на оборонных предприятиях, и она боялась, что из-за брака ее дочери с иностранцем они могут потерять работу. Когда ей объяснили, что я здесь почетный гость и персона грата в глазах КГБ, она возразила: "Да, я понимаю. Сегодня он персона грата, но кто может гарантировать, что завтра он не станет персона нон грата?" Сейчас наши отношения нормализовались, и мы время от времени навещаем ее в деревне, где она живет, но по сей день она наотрез отказывается переступить порог нашей квартиры и не разрешает этого сыновьям.

Хочу рассказать о забавном недоразумении. Адреса предприятий, работающих на оборонную промышленность, держатся в тайне и заменены номерами "почтовых ящиков". Зачастую эти предприятия просто называют "почтовыми ящиками". Когда Ида сообщила мне об опасениях своей матери, она пояснила, что они возникли из-за работы ее братьев в "почтовом ящике". Все время я получал письма через свой почтовый ящик на Главпочтамте и поэтому решил, что ее братья – почтовые служащие. Это меня серьезно озадачило. Конечно, быть почтовым служащим означает выполнять ответственную работу, но неужели она до такой степени "секретна", что ей может повредить общение с иностранцем, тем более если к нему благоволит КГБ?

У Иды было много друзей, знакомых и родственников, и я быстро вошел в их круг как "свой", получил возможность самому наблюдать жизнь русских людей, деля ее с ними.

Моя мать прожила с нами всю зиму, а большую часть лета провела в Голландии. Мы жили на последнем этаже без лифта, и ей в ее возрасте было все труднее подниматься по лестнице. К счастью, в то время мы уже могли проводить летние отпуска в других социалистических странах и вместо Москвы встречались с ней каждый год то в Венгрии, то в Чехословакии, но чаще всего в ГДР. По иронии судьбы, после демократических революций в Восточной Европе эти поездки для меня закончились.

Через несколько месяцев после моего прибытия в Москву меня посетил Гордон Лонсдейл. Мы оба были очень рады встретиться вновь на свободе, и я напомнил ему его удивительное пророчество. После этого мы время от времени завтракали вместе, предаваясь воспоминаниям о жизни в Англии и днях, проведенных в Уормвуд-Скрабс. Он вернулся к своей семье и возобновил работу в КГБ, где его встретили, как героя. Тем не менее после столь долгого отсутствия ему было непросто снова привыкать к жизни в Советском Союзе. Дело в том, что Лонсдейл был не только первоклассным разведчиком, но и крайне удачливым бизнесменом. Возглавляя канадскую фирму по производству автоматических проигры-

вателей (такова была его "крыша"), он заработал миллионы, которые, конечно же, не положил в свой карман, а полностью перевел Советскому государству. Теперь ему очень нелегко давалась полная ограничений жизнь сотрудника КГБ, некоторые же аспекты советской действительности его просто возмущали. Особенно он критиковал неэффективность и некомпетентность управления советскими промышленными предприятиями и ведения внешней торговли. Будучи человеком прямодушным и патриотом до мозга костей, Лонсдейл не скрывал своих взглядов. В то время любая критика, в чем бы она ни выражалась, отнюдь не приветствовалась, и он скоро впал в немилость. От дальнейших огорчений его избавила внезапная смерть: он умер от острого сердечного приступа, когда собирал с семьей грибы в подмосковном лесу. Я потерял друга, которым восхищался и который очень помог мне добрыми советами в мои первые годы жизни в СССР. Страна потеряла преданного слугу, который, доживи он до перестройки, мог бы принести ей неоценимую пользу.

Лонсдейл являлся так называемым "тайным резидентом". Я всегда относился с огромным уважением к этой категории разведчиков, ведь их работа требует высочайшего профессионализма. Им приходится настолько сживаться со своей "легендой", что они становились воистину другими людьми. Отказавшись от всего личного, они полностью отдаются работе, рискуя свободой, а иногда и жизнью каждый раз, когда пытаются завербовать нового агента или идут на тайные встречи. Им приходится постоянно быть настороже и жить в обстановке непроходящего напряжения. Крайне редко им удается отдохнуть, вернувшись домой к своим семьям. Иногда их сопровождают жены, но тогда и им необходимо стать другими людьми, превращаясь с этого момента из простых спутниц жизни разведчиков в их соратников, "собратьев по оружию". Лонсдейл был прекрасным образцом "тайного резидента". Лишь человек, свято верящий в идею и служащий великому делу, может согласиться на такую работу, хотя, скорее всего, здесь больше подошло бы слово "призвание"; только разведка, преследующая воистину благую цель, может требовать от своих сотрудников таких жертв. Именно поэтому, насколько мне известно, ни одна разведка мира, кроме советской, не имела в мирное время "тайных резидентов".

Весной 1970 года, вскоре после смерти Лонсдейла, я встретил Кима Филби. Хотя мы оба и работали в Главном управ-

лении на Бродвее в последний год войны и в одно и то же время находились в Бейруте, наши пути никогда не пересекались, и мы знали друг о друге только из газет. Встретились мы на завтраке, данном в нашу честь шефом советской разведки и происходившем в одной из самых роскошных квартир КГБ. С тех пор мы виделись часто. В то время Ким был одинок, и ему нравился уют нашего дома, созданный стараниями моих жены и матери, с которыми Ким был в прекрасных отношениях. Он переживал трудный период в своих отношениях с Мелиндой Маклейн. Продлившись всего два года, они оборвались, и Филби запил.

Тем летом его младший сын Томми, жокей по профессии, приехал к нему на каникулы. Это был симпатичный, общительный парень, и мы все очень его полюбили. Чтобы как-то развлечь его, мы раздобыли два билета на балет на льду и решили, что было бы неплохо подыскать ему для компании девушку. Легче сказать, чем сделать: подругам моей жены было уже за тридцать, и почти все они были замужем. А вот одна красивая женщина, Руфа, работавшая вместе с Идой, замужем не была и, как мы думали, вполне могла составить компанию молодому человеку. Она с радостью согласилась помочь и сходила с Томми на представление. Томми совершенно не знал Москвы, и Руфе пришлось проводить его домой. Так Ким Филби встретился со своей будущей женой. Ким сразу же увлекся ею. Мы с женой считали, что дружба с очаровательной женщиной скрасит его одиночество и заставит меньше пить, а значит, их дальнейшие встречи следовало поощрять.

Незадолго до этого я купил машину, "Волгу" образца 1971 года, мощную, как танк, и очень хотел ее опробовать. Мы задумали съездить в Ярославль, старинный волжский город с многочисленными церквами, монастырями и купеческими домами, и пригласили Кима с Руфой. Они согласились. Моя мать тоже поехала с нами, и мы впятером тронулись с путь, оказавшийся настоящим приключением: это был мой первый опыт вождения машины на большие расстояния по русским дорогам. Путешествие во всех отношениях оказалось удачным. Машина вела себя безупречно, Киму и Руфе было хорошо вдвоем, а в Ярославле моя жена сообщила мне радостное известие о том, что ждет ребенка.

Сразу же после возвращения в Москву Ким сделал Руфе предложение, и она, немного ошеломленная неожиданностью

этого шага, сначала колебалась. Но Ким был настойчив, и Руфа, поборов сомнения – а она была моложе Кима почти на двадцать лет, – согласилась. Пригрозив разрывом, она незамедлительно потребовала, чтобы он бросил пить или, по крайней мере, резко сократил дозы. Это было тяжело, но он сумел перебороть себя ради нее. Пятнадцатью годами счастливой и спокойной жизни он обязан ей. Руфа не отличалась крепким здоровьем, и они жили довольно уединенно в своей комфортабельной квартире.

Оба любили путешествовать, часто ездили в одну из соцстран. Ким нигде не работал и проводил почти все время дома в отлично подобранной библиотеке, слушал Би-би-си и разгадывал кроссворды в "Таймс". Сперва он пытался писать статьи о Среднем Востоке для советской прессы, но его взгляды на журналистику слишком уж отличались от официальных. В конце концов Ким сдался, другой работы искать не стал, не особенно старался в совершенстве освоить русский язык, и ему было явно безразлично, "впишется" ли он в советское общество. В качестве консультанта он многое сделал для КГБ, но, будучи человеком скрытным, никогда не говорил мне, что именно. В последние годы его жизни мы виделись редко. Разлад произошел из-за скандала по поводу публикации в британской прессе – без моего согласия – нескольких моих семейных фотографий, взятых одним из его сыновей во время поездки ко мне на дачу. Тем не менее я отдал ему последний долг, придя на панихиду.

Жизнь Дональда Маклейна была совершенно иной. Нас познакомила его жена Мелинда, продолжавшая иногда встречаться с Кимом, хотя и вернулась к мужу. Мы с Дональдом сразу же понравились друг другу и вскоре стали близкими друзьями. В отличие от Кима Филби и Гая Берджисса, он старался стать членом советского общества и помочь строить коммунизм. Со свойственной ему энергией он овладел русским языком и ко времени нашего знакомства писал и говорил по-русски без ошибок. Дональд вступил в КПСС и активно участвовал в работе партийной организации Института мировой экономики и международных отношений, где он работал. Он являлся ведущим экспертом по вопросам британской внешней политики и защитил докторскую диссертацию по теме "Британская внешняя политика после Суэцкого кризиса", изданную затем в Англии в виде книги. Одним из его самых серьезных достижений было то, что он сумел убе-

дить Советское правительство, крайне неохотно принявшее эту точку зрения, в необходимости считаться с Европейским сообществом как с третьей мировой силой, обладающей экономическим могуществом. Кроме того, Дональд был членом ученого совета института, присутствовал при защите диссертаций и присуждении ученых степеней.

У Дональда было много друзей и знакомых, его сотрудники уважали и любили его. В наш циничный век он привлекал людей не только несокрушимой верой в коммунизм, но и своей жизнью, строившейся в полном соответствии с его принципами. Он отказался от каких-либо привилегий, одевался и питался очень скромно. За все четырнадцать лет нашего знакомства он не выпил ни капли спиртного, хотя было время, в том числе после приезда в СССР, когда он сильно пил. "Вместо того, чтобы стать алкоголиком, – говорил он о себе, – я стал работоголиком". И правда, Дональд все время писал обзоры, отчеты, статьи и книги или участвовал в конференциях и "круглых столах". Он воспитал целое поколение специалистов в области британской внутренней и внешней политики. Мне кажется, Дональд был единственным сотрудником института, чья работа всегда делалась вовремя. В нем была сильна кальвинистская жилка, унаследованная от шотландских предков, и это как бы роднило нас.

Несмотря на внушительный вид – шесть футов и шесть дюймов роста, он обладал мягким характером, у него для собеседника всегда были наготове доброе слово или улыбка. Все знали, что он внимателен к людям, и если обращались к нему за помощью, то никогда не получали отказа. Больше всего на свете его интересовала политика, и он пристально следил за событиями в стране и в мировом коммунистическом движении в целом. То, что он видел, ему не нравилось, особенно окружение старика, правившего в те годы Союзом. Но Дональд не переставал верить в способность коммунистического движения самореформироваться и самообновляться. Он был уверен, что на смену дряхлым лидерам придет молодое поколение технократов, которое увидит настоятельную необходимость реформ. В этом смысле Дональд явился провозвестником перестройки, до которой, к несчастью, не дожил.

Вот что он написал в 1981 году и отдал мне на хранение:

"Правящая элита поступает иногда столь очевидно вопреки интересам советского общества, что можно без преувеличения сказать, что социалистический строй выжил вопреки характеру и действиям руководства страны. Список вождей и их жалкие деяния наводят на мысль об упорной регрессивной тенденции подменять цель поиска путей реализации потенциала общества, которым они правят, целью сохранения своей собственной власти. Они не видят, да и не могут видеть, что этот путь не ведет к процветанию и безопасности советского общества, что их интересы и интересы страны не совпадают. Скомпрометирован не социалистический способ производства, на котором зиждется весь советский строй (и который признан верным почти во всем мире), а политическая верхушка этого строя, кучка людей, принимающих ключевые решения по управлению советским обществом. Многим стало ясно, что решение сложнейших проблем управления в СССР уже недоступно сегодняшним лидерам, требуется новое поколение руководителей.

За последние двадцать лет резко возросли, в абсолютном и относительном измерениях, материальные и прочие привилегии представителей власти и их семей, что неизбежно ведет к росту их нежелания перемен и смелых решений. Эта система привилегий, по возможности скрываемая от глаз народа, одновременно отражает и ведет к дальнейшему размыванию в среде правящего слоя моральных, этических и интеллектуальных норм, служащих краеугольным камнем взглядов классического коммунизма на человеческое общество. Несомненна связь между этой формой организованной полулегальной коррупции верхушки и ее окружения со спонтанной нелегальной коррупцией в советском обществе вообще. В то же время тридцать лет жизни и работы здесь убедили меня в том, что идея "один за всех и все за одного", этот моральный рычаг социализма, глубоко укоренилась в сознании большинства людей, владеющих той или иной властью, и, похоже, не утратила своего значения.

В Советском Союзе сама инициатива творческих преобразований будет, скорее всего, исходить от партийно-государственной иерархии, а не извне. Кажется вполне вероятным, что в ближайшие пять лет благодаря позитивным переменам "наверху" произойдет улучшение

политического, культурного и морального климата в стране, будет проведен целый комплекс реформ, затрагивающих все важнейшие стороны жизни в Советском Союзе".

Внешнюю политику правительства Брежнева Дональд подверг особенно уничтожающей критике. Вот что он писал:

"Мне кажется, что характерной особенностью сегодняшней внешней политики СССР, которая, вопреки попыткам и ожиданиям ее "творцов", наносит огромный вред интересам страны, является лишенное диалектики однобокое понимание роли вооруженных сил государства в мировой политике, неумение установить в этой сфере верные пропорции и приоритеты для достижения подлинной безопасности и благоденствия советского общества. За последние пять лет, когда требовалось принятие кардинальных внешнеполитических решений, взгляды военной верхушки – чей профессиональный интерес в абсолютизации вооруженной мощи страны опирался на поддержку высших эшелонов власти – превалировали над мнением тех, кто призывал обуздать милитаризм, подчиняющий себе внешнюю политику.

Советский Союз, как бы загипнотизированный количеством и разнообразием американских ядерных вооружений, непрерывно наращивает смертоносную мощь своих собственных, что не только не дает ему никаких преимуществ, но имеет самые печальные последствия.

Последним проявлением этого явилось размещение нового поколения ядерных ракет, наведенных на западноевропейские страны и их соседей. Если советское руководство и полагало, что развертывание ракет СС-20 не побудит ФРГ, Великобританию и ряд других западных стран согласиться на размещение на их территориях нового поколения американских вооружений той же мощности, то этого не произошло. Если Советский Союз не изменит свою политику, то непосредственным результатом этого станет новый скачок ядерной конфронтации в Европе, который принесет ему не ожидаемое превосходство, а нечто прямо противоположное. Таким образом, поведение советского руководства наводит на мысль о его непонимании того, какими средствами стоит добиваться

преимуществ, равно как и о полной неспособности правильно предвидеть реакцию западноевропейских государств".

Когда ему предложили написать статью, оправдывающую развертывание ракет СС-20, он отказался, заявив, как делал обычно в таких случаях, что "не желает участвовать в антисоветской пропаганде", поскольку считал, что размещение ракет противоречит интересам Советского Союза.

Он был солидарен с диссидентами, взывавшими к обновлению, демократии, ограничению власти партийно-бюрократического аппарата. Ради этой солидарности Дональд регулярно отдавал часть своих доходов – немалых по советским понятиям – в фонд помощи семьям диссидентов, попавших в тюрьму. Он также неоднократно писал отдельным советским руководителям, выступая в защиту диссидентов и протестуя против насильственного содержания некоторых из них в психиатрических лечебницах.

Начало и конец его жизни были отмечены жертвами. Первую жертву он принес, являясь студентом Кембриджа. Тогда он мечтал преподавать в этом университете. В 30-е годы Дональд вступил в коммунистическую партию, вскоре был завербован Коминтерном на работу в пользу СССР, но вдруг получил назначение в английский МИД. И хотя жизнь дипломата с ее неизбежным социальным окружением совершенно ему не подходила, он отбросил все личные амбиции ради служения делу, в которое верил, и стал сотрудником дипломатической службы.

По иронии судьбы он сумел реализовать свои стремления, приехав в Советский Союз и избрав новую профессию: Дональд стал ученым и добился впечатляющих успехов в своей области.

И в конце жизни ему предстояло принести большую личную жертву. Через два года после приезда в СССР к нему приехали его жена Мелинда и трое их детей. Они так и не смогли освоиться в этой стране и никогда не были здесь счастливы. Всю жизнь Дональд страдал от чувства вины за то, что вырвал жену и детей из привычной для них жизни. Когда в конце 70-х годов его сыновья с их советскими женами выразили твердое желание эмигрировать в Англию или США, он счел своим долгом сделать все возможное и помочь им. Это был брежневский период, и советские власти неохот-

но позволяли людям выезжать из страны. Хотя у Дональда были хорошие отношения с КГБ, он понимал, что ему придется использовать все свое влияние, чтобы власти разрешили его семье вернуться на Запад. Зная, что у него рак и жить осталось недолго, он старался все устроить, пока еще был в силах. Власти могли не выпустить их из страны после его смерти, и он этого боялся. Как выяснилось, его страхи были напрасны: его семья уехала бы в любом случае, но тогда мы об этом не знали. Я говорю "мы", поскольку Дональд и я всегда советовались друг с другом по всем важным вопросам, и я тоже настоятельно рекомендовал ему использовать свое влияние, пока еще не поздно.

Один за другим они уехали. Дональд особенно скучал по своей маленькой внучке, к которой был очень привязан. Последние два года жизни он провел один, присматривала за ним преданная домработница Надежда Петровна, его окружили заботой многочисленные друзья и коллеги. Дональд переносил болезнь с огромным мужеством и неизменным присутствием духа, до последнего дня работал над коллективным трудом, который он редактировал.

В последние месяцы – он смог провести их дома – к нему в гости приехали его младший брат Алан, которого он очень любил, и старший сын Фергюс. По счастью, Дональд не очень страдал и из успокоительных средств пользовался только валерьянкой. Внезапно он почувствовал себя намного хуже, и мы отвезли его в больницу. Когда мы приехали туда, я помог ему раздеться, и его поместили в одноместную палату, которую по просьбе КГБ предоставила одна из лучших московских клиник. Затем я оставил его, пообещав прийти на следующий день. Это был последний раз, когда я видел Дональда живым. На другой день он уже скончался, и меня к нему не пустили.

В день похорон я вместе с Надеждой Петровной и несколькими друзьями явился в морг, чтобы забрать тело. Дональд выглядел намного моложе, очень спокойно и даже торжественно. Согласно его воле, я попросил, чтобы гроб закрыли перед тем, как мы покинем морг. Это противоречит русскому обычаю, согласно которому гроб остается открытым вплоть до того момента, когда его опускают в могилу.

Гражданская панихида, состоявшаяся в актовом зале института, выдающимся сотрудником которого являлся Дональд, превратилась в трогательное прощание с человеком,

которого очень уважали и любили все, кто знал его даже не как знаменитого разведчика, а как доброго и справедливого товарища, настоящего английского джентльмена в лучшем смысле этого слова. Выступило много людей, среди них несколько академиков, говоривших о Дональде как о замечательном ученом. В своем прощальном слове я привел библейскую притчу о сорока праведниках. Вознамерившись уничтожить этот мир за грехи человеческие, Господь пообещал отказаться от своего намерения в случае, если бы нашлось на земле сорок праведников. По моему мнению, сказал я, мы, друзья и коллеги Дональда, имели редчайшую возможность лично знать одного из тех сорока, ради которых и был сохранен наш мир.

Из-за обычной здесь неразберихи сын Дональда Фергюс приехал слишком поздно и не успел на похороны. На следующее утро мы с ним пошли в крематорий забрать прах его отца. В тот же день он увез его с собой в Англию, чтобы похоронить, согласно последней воле покойного, в семейном склепе близ деревни Пенн. Обычно приходится ждать две недели, для того чтобы забрать урну с прахом, но здесь нам смог помочь КГБ.

Портрет Дональда висит в библиотеке института, продолжая ряд знаменитых советских ученых. Даже сегодня, когда я пишу это, через пять лет после его смерти, под портретом Дональда всегда стоят живые цветы, которые приносят его многочисленные друзья и поклонники. Для меня его смерть явилась огромной личной потерей: он был мне преданным другом, мудрым советчиком и интереснейшим собеседником, общение с которым всегда доставляло огромную радость.

В наших разговорах с Дональдом и Кимом мы почти не касались темы разведки, хотя иногда и вспоминали с Кимом общих знакомых по Интеллидженс сервис. Полагаю, что это было неосознанным следствием многолетней привычки не говорить о работе. Дональд, как это вообще свойственно сотрудникам дипломатической службы, относился к разведке и разведчикам немного свысока. В отличие от Кима, который, как мне кажется, связался с разведкой (помимо его верности коммунистической идее) потому, что это ему просто нравилось, Дональд согласился стать агентом исключительно из чувства долга. Подобная работа была не по нему, и он постоянно боролся с внутренней неприязнью к ней. Тем не менее я уверен, что он многое сделал. В Вашингтоне у него

был доступ к ядерным секретам, и то, что мы последние сорок пять лет живем в мире и собираемся жить так и дальше, я в большой мере отношу на счет деятельности так называемых "атомных агентов", к которым принадлежал и Дональд. Благодаря им Советский Союз в рекордно короткий срок сумел создать атомную бомбу и достичь ядерного паритета. Это "взаимное сдерживание", уровень которого, я надеюсь, заметно снизится по сравнению с сегодняшним, служит, по моему мнению, гарантией "мира для всех".

Насколько мне известно, Дональда и Кима объединяло только одно: они оба много курили, предпочитая крепкие сорта табака – "голуаз", если удавалось его достать, но чаще "дукат", самые дешевые из советских сигарет с особенно едким запахом.

Ни Ким, ни Дональд никогда не упоминали "пятого": о существовании Энтони Бланта я впервые узнал из английских газет. Лишь после этого Дональд как-то произнес его имя в связи со своим и Гая Берджисса побегом (которого я никогда не встречал, так как он умер до моего приезда в Москву). Дональд часто рассказывал о Гае и об их непростых отношениях, когда они жили в одной квартире в Куйбышеве в первые годы пребывания в СССР. Более подробно я узнал о нем от Надежды Петровны, домработницы Дональда, с которой я до сих пор поддерживаю связь и которая работала у Гая до его смерти. Эти рассказы только подтвердили мое впечатление о нем. Он, очевидно, был умным, смелым и очень обаятельным человеком, но, судя по всему, обожал разыгрывать своих друзей и ради этого не гнушался даже вскрывать их письма.

Примерно через два года после приезда в Москву я устроился на свою первую работу: переводчиком на голландский язык в издательстве "Прогресс", однако это занятие не слишком меня вдохновляло. Не говоря уж о том, что тексты, которые я должен был переводить, большого интереса не представляли, эта работа лишь усугубила мою изоляцию: я работал дома, примерно раз в две недели приходя в издательство, чтобы отдать готовый материал и забрать новый. Таким образом, я не имел возможности узнать своих коллег и влиться в коллектив, что важно в любой стране, в которой вы собираетесь жить, но особенно в Советском Союзе, где общественная жизнь вне работы крайне ограничена.

Дональд сразу заметил это и еще на заре нашей дружбы предложил мне перейти к нему в институт, где царила совер-

шенно иная атмосфера. С его помощью и при содействии КГБ это удалось устроить, и работа в институте оказалась еще одним важным шагом к тому, чтобы почувствовать себя полноценным членом общества и жить нормальной жизнью.

Работа оказалась интересной, а сотрудники – доброжелательными. Каждый в моем отделе специализировался на чем-то своем в области международных отношений, и многие жили или бывали за рубежом, вследствие чего они были лучше информированы и отличались более широкими взглядами, нежели большинство их сограждан. Среди них я встретил людей, обладавших огромными знаниями, с ними было интересно беседовать, и, находясь в их компании, я получал истинное удовольствие. Сейчас я даже не могу себе представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы мне не посчастливилось попасть в институт. Наверняка она была бы гораздо более унылой.

Я занимался изучением Ближнего Востока и имевших там место конфликтов, прежде всего арабо-израильского. Эта область не была для меня незнакомой. Время от времени я писал статьи или заметки, анализируя изменения в ходе событий. В своих работах я долгое время указывал на настоятельную необходимость восстановления дипломатических отношений с Израилем. Если уж хочешь выступать в роли примирителя, то необходимо иметь одинаково хорошие отношения с обеими сторонами. Мне казалось, что Советскому правительству было бы гораздо легче помочь в решении палестинского вопроса, говоря напрямую с израильским правительством, чем лишая себя такой возможности. Безусловная, а часто и некритичная поддержка Израиля со стороны администрации США не мешает ей сохранять хорошие отношения с подавляющим большинством арабских стран. В последние годы в результате нового политического мышления появилась надежда, что положение в области советско-израильских отношений постепенно нормализуется.

Примерно три года назад благодаря гласности наш институт начал издавать ежегодник "Разоружение и безопасность", в котором анализируется весь спектр проблем, связанных с обузданием гонки вооружений, снижением уровня военной конфронтации в различных регионах мира и уменьшением угрозы войны. Книга выходит на русском и английском языках, и меня попросили помимо прочей работы быть редактором английского издания.

Тем не менее я не могу сказать, что перегружен работой, в этом смысле наш институт не отличается (да и не может отличаться) от прочих советских учреждений, где существует избыточный штат сотрудников. Кроме того, сам ритм жизни в этой стране заметно медленнее, чем на Западе. Здесь, на мой взгляд, есть два преимущества: высокий уровень социальных гарантий и отсутствие безработицы, так что не чувствуешь себя участником бешеной гонки. С другой стороны, уровень жизни значительно ниже. Но приходится выбирать, ведь в жизни невозможно иметь все. Хочешь жить лучше – будь готов работать не покладая рук, а если предпочитаешь более умеренный ритм, то и довольствуйся меньшим. Я часто объяснял своим русским друзьям, что третьего здесь не дано, этот закон справедлив как для целых народов, так и для отдельных людей. Большинство исследователей ходят на работу три раза в неделю, эти дни называются "присутственными". Оставшиеся два дня, именуемые "библиотечными", люди, как правило, проводят дома, и уже дело их совести, работают они или нет. Нет сомнения, что работа, связанная с анализом политической ситуации, в основном лучше получается дома, в кабинете. В конце концов важнее всего сделать ее вовремя, хотя сроки – тоже понятие растяжимое.

Атмосфера в большинстве советских учреждений (я знаю это по собственному опыту и по рассказам других) весьма расслабленная. Много времени тратится на разговоры о домашних проблемах или, как в моем институте, о международных делах. Мы с Дональдом занимали соседние комнаты, часто виделись и всегда вместе пили по утрам кофе, а днем – чай, которые готовили сами. Утренний кофе и дневной чай в советских учреждениях столь же священный ритуал, как и в британских.

Дисциплина, как правило, слаба. Люди приходят на работу поздно и уходят рано, а так как большинство насущных проблем можно решить только днем, когда открыты нужные для вас учреждения, то и дневные отлучки не считаются столь уж серьезным проступком.

На советских предприятиях часто организуются экскурсии, иногда довольно дальние, и тогда, чтобы хватило времени, к выходным прибавляется еще один день – понедельник или пятница. Здесь это в порядке вещей, но я никогда этим не пользовался, мы с женой предпочитаем проводить уик-энд на даче.

Когда я купил машину, что было бы невозможно без содействия КГБ, поскольку список очередников крайне велик, мы решили использовать ее в основном для того, чтобы объездить весь Советский Союз. Сейчас этот проект мне кажется совершенно нереальным. Путешествие на машине здесь сопряжено с множеством затруднений. Заправочных станций немного, они находятся далеко друг от друга, и часто их трудно найти. Станций техобслуживания еще меньше, сложно достать запчасти. Если вы сами не хороший механик – а я таковым не являюсь – и у вас нет связей среди автомобилистов, починить машину становится настоящей проблемой. Так что отправляться в дальнее путешествие на машине – довольно рискованное предприятие. Мне так и не пришлось испытать свое мастерство и выносливость в этой области. Как я уже упоминал, во время нашего первого путешествия моя жена сообщила мне, что ждет ребенка. Это ставило крест на наших планах объездить страну. Теперь я пользуюсь машиной только летом, чтобы ездить на дачу и обратно. Зимой я ездить не люблю: дороги скользкие, по утрам тяжело завести мотор, кроме того, прежде чем сесть в машину, часто приходится счищать с нее снег. Поэтому в конце октября я ставлю ее в гараж на даче и не сажусь за руль до середины апреля.

Как только мои друзья в КГБ узнали, что я жду прибавления семейства, они предоставили мне дачу. Сначала я не очень этого хотел. Мне казалось неудобным покидать город на целых три или четыре месяца, а то и больше и три раза в неделю являться на работу. Но жена настаивала, говоря о пользе пребывания на свежем воздухе для здоровья моего маленького сына, родившегося весной 1971 года. Этому доводу я не смог противостоять и принял любезное предложение КГБ. Теперь я так привык к даче, что уже не мыслю свою жизнь без нее. У нас типично русский деревянный дом, стоящий в довольно большом саду, который с нашего "позволения" разросся и стал напоминать нехоженый лес. На даче мы бываем не только летом, но и почти каждый зимний уикэнд: там газовое отопление и всегда тепло. Обычно мы уезжаем в субботу утром и возвращаемся в воскресенье вечером. Дорога занимает два часа. У нас есть собака – красавец кокер-спаниель по кличке Денни, из-за него мы не можем пользоваться метро и идем двадцать минут пешком до вокзала, где садимся на электричку, через час выходим на станции и еще полчаса идем пешком. Летом мы отправляемся в даль-

ние прогулки и купаемся в маленьких окрестных озерах. Осенью собираем грибы в лесу – чисто русское времяпрепровождение, а зимой подолгу катаемся на лыжах. Занимаясь то тем, то другим, наша собака вволю бегает, а мы, наблюдая за сменой времен года, подмечаем каждое, даже самое мимолетное изменение в природе.

У Дональда Маклейна тоже была своя дача. Как истинный англичанин, он очень любил сад и постоянно занимался им, выращивая цветы, фрукты и овощи. Но его дача не отапливалась, и на зиму он ее запирал. Дональд был заядлым лыжником и каждую зиму на несколько недель приезжал ко мне на дачу, часто привозя с собой друзей, коллег по институту и Надежду Петровну, которая для нас готовила. Я храню много добрых воспоминаний о тех зимних днях с их долгими лыжными прогулками по заснеженному лесу и нескончаемыми увлекательными беседами в теплой уютной гостиной.

Когда моя жена ждала ребенка, я почему-то решил, что это будет девочка. Когда же родился мальчик, я сначала был даже немного разочарован: я уже имел троих сыновей, и мне хотелось дочь. Впрочем, разочарование длилось недолго, я быстро привязался к моему маленькому сыну. В некотором отношении он заменил мне трех других, от которых я оказался оторванным, я смог проследить все стадии развития ребенка, а с моими сыновьями в Англии мне этого так и не удалось. Он хорошо учился в школе, и сейчас это высокий симпатичный юноша, изучающий физику в МГУ, постоянный источник радости для нас с женой. Он стал мне не просто еще одним сыном, но и добрым другом.

Моя жена, занимавшаяся физикой и математикой в одном институте, а французским языком – в другом, долгие годы работала переводчиком с французского в Центральном экономико-математическом институте, находившемся рядом с моим институтом. Когда несколько лет назад в результате перестройки и реорганизации ее института она попала под сокращение штатов, то решила полностью посвятить себя домашним делам. Мне всегда нравилось готовить, я научился этому от матери, и пока Ида работала, кухней в основном занимался я, отдавая предпочтение сладким блюдам и пудингам, которые очень люблю. Русская кухня, делая основной упор на закуски или hors d'oeuvres*, довольно бедна сладкими

* Закуски, дополнительные блюда (*фр.*).

блюдами. В русских ресторанах на сладкое подают или довольно вкусное мороженое, или компот, состоящий из нескольких консервированных фруктов в большом количестве жидкости. Теперь, когда у Иды стало больше времени и она изучила большинство моих рецептов, в основном готовит она, я лишь помогаю ей – хожу за покупками, что само по себе непростая задача. Все, кроме разве что тяжелой мебели, приходится приносить в дом самому. Со временем Ида стала превосходно готовить. С наступлением перестройки и гласности она страстно заинтересовалась политикой и читает почти все, что появляется в печати. Наиболее интересные статьи зачитываются нам вслух и сопровождаются нелицеприятными комментариями. Теперь, памятуя знаменитую ленинскую фразу, мы называем ее "кухаркой, которая может управлять государством".

Лишь рождественский пудинг я всегда готовлю сам. Раньше готовил два пудинга: один для нас, а другой для Дональда, который, как и мы, всегда праздновал Рождество в кругу своей многочисленной семьи, детей и внуков. Мы наряжаем елку, готовим по всем или почти по всем правилам индейку и, конечно же, пудинг. Подлинно праздничной атмосфере способствует и то, что Москва и пригороды в это время, как правило, лежат под толстым снежным покровом, и, посмотрев в окно, вы видите настоящую рождественскую открытку, особенно в сумерки, когда в домах зажигаются огни. Мы всегда зовем на Рождество наших русских друзей, они с удовольствием приходят, ведь отмечать этот праздник для них вновинку.

Для православных главный церковный праздник – Пасха. В этой стране долгие годы, несмотря на, мягко говоря, негативное отношение властей к религиозным обычаям, праздник Пасхи живет в народе и особенно в последнее время широко отмечается. Готовятся специальные пасхальные блюда, например крашеные яйца и куличи. Также в обычае посещать в эти дни могилы родственников. Вводятся дополнительные рейсы автобусов и электричек, ГАИ выбивается из сил, регулируя потоки транспорта и людей, направляющихся на кладбища. Посетители кладут на могилы крашеные яйца или горсть зерен и иногда выпивают рюмку водки как бы вместе с покойным. Затем дотрагиваются рукой до могильной земли и трижды вслух повторяют: "Христос воскрес! Воистину воскрес". Я всегда считал эту церемонию очень трога-

тельной: как будто люди уверяют усопших в том, что те в могиле лишь на время.

Сегодня я могу сказать, что моя жизнь сложилась хорошо, возможно, даже лучше, чем, по мнению многих, я заслуживаю. Хотя долгие годы я был оторван от своих детей в Англии, настал день, когда, уже оставив всякую надежду увидеть их вновь, я с ними еще раз встретился. Моя мать всегда поддерживала связь с моей женой и часто видела детей. Она передавала мне новости, а иногда и фотографии, так я следил за тем, как они растут. Когда они достаточно подросли, жена рассказала им все обо мне, ведь не могли же они вечно пребывать в неведении. Долгое время они если и хотели меня видеть, то никак не проявляли своего желания. Но вот средний сын в возрасте двадцати четырех лет высказал твердое намерение встретиться со мной. Мы договорились, что летом он вместе с моей матерью приедет в ГДР, где мы и проведем три недели на одном из балтийских курортов. Я страшно волновался, как он отнесется ко мне, ведь я исчез из его жизни, когда ему было два года, и он меня, естественно, не помнил. Встреча прошла на редкость удачно. Я поведал ему всю историю своей жизни так же, как изложил ее в этой книге. Хотя, как и все члены моей семьи, он, возможно, и не одобрил то, чем я занимался, но понял мои мотивы, и между нами не возникло напряжения. С самого начала нам было очень хорошо вместе, казалось, что мы знаем друг друга всю жизнь. Он отлично ладил с моей женой и своим русским сводным братом, говорившим по-английски свободно, но, так же как и я, с легким акцентом.

На следующий год два других сына, старший и младший, наверняка подбодренные рассказами среднего, тоже решили приехать. Старшему было четыре года, когда я уехал, и он смутно помнил меня, младший же вообще никогда меня не видел. Был конец марта, и еще лежал снег, когда они прибыли берлинским поездом на Белорусский вокзал. Вместе с Мишей я встречал их на платформе. Стоило им выйти из вагона, мы сразу узнали друг друга и всю неделю без умолку проговорили. Беседы помогали нам постепенно "познакомиться". Они сочли мой английский язык старомодным, но лед был сломан отчасти из-за того, что мой старший сын унаследовал некоторые мои манеры. Младший заметил это и заявил, что мы похожи. Но напряжение не проходило. Поладим ли мы? Поймут ли они? Я вновь подробно все им рассказал, и

вновь не напрасно. Этому способствовали, на мой взгляд, три вещи. Во-первых, моя бывшая жена в разговорах с ними никогда не отзывалась обо мне плохо. За это я ей очень благодарен. Во-вторых, моя мать спокойно говорила с ними обо мне, когда они подросли и проявили к этому интерес. И наконец, мои сыновья были христианами и, как ни парадоксально, это сближало нас. Все прошло хорошо. Успеху содействовало даже то, что при встрече на вокзале мы лишь обменялись рукопожатиями. Когда они уезжали, мы расцеловались.

С тех пор они каждый год приезжают в Москву на несколько недель и регулярно мне пишут. Когда они здесь, я беру их с собой путешествовать, показывая интереснейшие места Советского Союза.

Хочу вспомнить еще об одной неординарной и даже неожиданной встрече. В феврале 1990 года в Москву приехали Майкл и Энн Рэндл вместе с Пэтом Поттлом и его женой Сью (они поженились после моего побега). Мы всегда хотели встретиться вновь, но, понимая, что риск слишком велик, не предпринимали для этого никаких шагов.Теперь этой проблемы не существовало. На основании информации, содержащейся в книге Шона Бэрка, Монтгомери Хайд в своей книге "Суперагент Джордж Блейк" впервые прямо упомянул Майкла и Пэта, впрочем, под другими именами. Историю подхватила "Санди таймс", заявив в одной из своих статей, что Пэт Поттл и Майкл Рэндл явно помогали в организации моего побега. Британская полиция, конечно же, уже все знала из книги Шона, но решила, что нет достаточных улик для проведения следствия или ареста.

После статьи в "Санди таймс" поползли слухи, втягивающие в эту историю людей, никогда никоим образом с ней не связанных, и обвиняющие Пэта и Майкла в том, что они неоднократно помогали то КГБ, то МИ-6, то тому и другому одновременно. Это, естественно, полная ерунда, поскольку ими двигало исключительно человеколюбие, и они никогда не работали ни на одну разведку. Чтобы раз и навсегда положить слухам конец, Пэт и Майкл решили написать книгу, в которой признали свое участие в побеге, рассказали всю правду и особо подчеркнули мотивы своего поступка. С момента выхода книги британские власти уже не могли сидеть сложа руки. Но они начали действовать не раньше, чем разразился скандал в палате общин, в котором участвовали 110 членов

парламента от консервативной партии, потребовавших, чтобы главный прокурор предъявил обвинение Пэту и Майклу.

Когда они с женами приехали в Москву, то привезли с собой адвокатов, которые хотели получить официальное заявление о том, что их клиенты никак не были связаны с КГБ и не получали ни денег на организацию побега, ни вознаграждения за него. Все это было правдой, и когда они попросили меня сделать соответствующее заявление, я согласился, хотя и понимал, что тем самым подтвержу их участие в побеге и это может быть обращено против них. Я отлично понял, однако, зачем им понадобилось мое заявление, и готов был сделать все, чтобы помочь им.

Мы провели вместе замечательную неделю. Я показал им Москву, а во время вечеров в кругу семьи мы смогли поднять бокалы за успешный побег. Удивительно, но двадцатичетырехлетний перерыв никак не повлиял на наши отношения. Обсуждая проблемы, связанные с возбуждением дела против них и моим заявлением, нам казалось, что это просто продолжение бесед в Хэмпстеде о том, как лучше вывезти меня из Англии. Меня очень взбодрил их приезд. Я вновь почувствовал себя в своей среде, но моя радость омрачалась беспокойством за исход неизбежного суда. Мне, как и тогда, вновь не хватало слов, чтобы выразить мою признательность, ведь я-то теперь находился в полной безопасности, а они из-за меня предстанут перед судом.

Если своей свободой я обязан им, то возможностью чувствовать себя полноправным членом советского общества я обязан в большой степени помощи моих друзей из КГБ. С самого начала они делали все, чтобы максимально облегчить мне жизнь здесь, впрочем, точно так же, как они делали это для Кима, Дональда и любого из нас. Сперва, с изрядной долей скептицизма, я думал, что их забота скоро иссякнет и я буду брошен на произвол судьбы, но, к моему немалому удивлению, эта забота окружает меня все годы, ничем не отличаясь от той, что была вначале. Благодарность за мою работу? Да, конечно, но благодарность – столь редкое качество в этом мире, что, не познав, ее невозможно оценить.

Помощь моих друзей была бесценной для преодоления бюрократических препонов, весьма осложняющих жизнь в этой стране. Не представляю себе, что бы я делал без их помощи. Опять же благодаря им начиная с 1973 года мне с семьей позволено выезжать каждое лето в одну из соцстран.

Это стало особенно важным, когда моя мать уже не могла приезжать к нам в Советский Союз вместе с одной из моих сестер и мы встречались там. Местные товарищи всегда принимали нас с большим гостеприимством, и мы проводили вместе незабываемое время. Особенно хорошо нам запомнилось девяностолетие моей матери, когда на балтийском курорте в ГДР собралась вся семья и немецкие товарищи устроили по этому поводу грандиозный праздник, причем, я уверен, больше ради нее, чем ради меня. Но все когда-нибудь кончается, и доброе, и злое, и в последние три года мы не встречаемся. Хотя, несмотря на преклонный возраст, у нее все еще хорошее здоровье и она сохраняет ясность мыслей, путешествовать для нее более невозможно. Теперь мы часто общаемся по телефону, вспоминая те благословенные времена, когда мы были вместе. Нам обоим есть за что благодарить судьбу.

Два сотрудника КГБ, один высокопоставленный, другой меньшего ранга, постоянно "присматривают" за мной. Когда были живы Ким Филби и Дональд Маклейн, это относилось и к ним. Если у нас возникали какие-то проблемы, то было к кому обратиться за помощью. Пользоваться подобной поддержкой в стране, где все и каждый зависят от милости государства, поистине неоценимо. Вообще, когда возможно, Ким, Дональд и я старались решать все вопросы самостоятельно. Лишь в исключительных случаях я просил о помощи. Например, до перестройки, в старые "добрые" брежневские времена, потребовались бы бесконечное хождение по инстанциям и уйма согласований для того, чтобы меня мог навестить кто-нибудь из родни. С помощью КГБ все формальности были улажены в кратчайший срок. Когда моя машина после шестнадцати лет безупречной службы потребовала капремонта, в КГБ решили, что будет проще предоставить мне возможность купить новую. Сам я, не имея связей с дельцами, вряд ли сумел бы отремонтировать машину, а что до покупки новой, то мне пришлось бы ждать лет десять, если не больше.

Мои отношения с этими и другими сотрудниками КГБ всегда очень сердечны. Исходя из требований службы, они меняются каждые три-четыре года, таким образом, за примерно сорок лет моих связей с советской разведкой я повстречал немало сотрудников, от руководителей до шоферов, начиная с Бориса Коровина и его помощника Василия. Послед-

него – он теперь генерал – я как-то встретил на официальном приеме. Мы были очень рады увидеться вновь и решили, что время пощадило нас обоих. Конечно, у меня разные отношения с теми сотрудниками, с которыми я был связан по работе, и с теми, кого встретил в Москве. Первых я зову по имени, и они называют меня "Джордж". То, что мы подвергались одним и тем же опасностям, во всем завися друг от друга, и служили одному делу, превратило нас в по-настоящему близких людей. С другой стороны, ограничения, налагаемые тайными встречами, делали невозможным более тесное знакомство.

Отношения с их московскими коллегами более формальны, мы называем друг друга по имени и отчеству. С другой стороны, так как мы встречаемся в основном у меня дома за чашкой чая или за бокалом вина на праздник, создается менее натянутая обстановка, позволяющая лучше узнать друг друга. Иногда завязываются действительно дружеские отношения, которые сохраняются и после того, как этого сотрудника переводят на другую работу. Как ветерана разведки меня часто приглашают на официальные приемы и встречи по поводу государственных праздников и предлагают место в президиуме. Время от времени меня просят рассказать молодым сотрудникам КГБ о моей жизни и работе советского разведчика. Хотя это и напоминает мне иногда старую граммофонную пластинку, которую заводят снова и снова, я не всегда могу отказаться. Я рад хотя бы так ответить на то, что для меня делают. Кстати, русские не любят, когда слово "шпион" применяют в отношении их агентов. Они называют их "разведчиками", а шпионы – это разведчики противника. Довольно тонкий момент, который напоминает то, как одни правительства называют взбунтовавшихся "борцами за свободу", "партизанами" и "патриотами", а другие – "террористами", "экстремистами" и "бандитами".

Конец моей истории близок, и теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, правомерно задать вопрос: что же случилось с моей мечтой помочь построить коммунистическое общество, это царство справедливости, равенства, мира и всеобщего братства людей? Нужно быть или слепым, или жить с закрытыми глазами, чтобы за пять лет перестройки не увидеть:

великая попытка построить подобное общество потерпела крах. Сегодня никто в Советском Союзе или где-нибудь еще не сможет всерьез утверждать, что мы движемся к коммунизму. Напротив, мы уходим от него все дальше, ориентируясь на рыночные отношения, частную собственность и частное предпринимательство. И никакой эвфемизм вроде "социалистического" рынка или "индивидуальной" собственности не в состоянии скрыть этого факта.

Сейчас трудно прогнозировать, что породит начавшийся процесс. Одно не вызывает сомнений: к коммунистическому обществу он не приведет. Если все пойдет хорошо и не будет гражданской войны, мы сможем получить смешанную экономику и тип общества, против которого не станет возражать ни один социал-демократ.

Но почему все кончилось крахом? Почему не удалось построить коммунистическое общество? Насколько я понимаю, ответ в следующем: коммунистическое общество – действительно высшая форма общественного развития, и люди, строящие его, должны обладать высшими моральными качествами. Они, безусловно, должны ставить интересы коммунизма и интересы других людей выше своих собственных. Они воистину должны возлюбить ближнего, как самого себя. Вот в чем вся сложность. Ни в этой стране, ни в какой другой в конце XX века нет людей, которые бы доросли до морального уровня созидателей коммунистического общества. Отцы-основатели коммунистического движения верили, что стоит лишь трансформировать экономическую систему, изменить производственные отношения, избавиться от частной собственности, и сознание людей сразу станет новым, готовым для вступления в коммунизм. Опыт последних 70 лет в Советском Союзе и 40 лет в восточноевропейских странах показал, что это не так. Центральная идея социализма "один за всех и все за одного" не оказалась достаточным стимулом поднятия производительности труда до уровня, необходимого для создания процветающего общества, все члены которого имели бы высокие социальные гарантии и высокий уровень жизни. Тот факт, что в последние годы в Советском Союзе стало необходимо прибегать к частной благотворительности, для того чтобы помочь государству окружить заботой сирот и брошенных детей, стариков и инвалидов, свидетельствует о том, что по большому счету социализм провалился. При социализме нет нужды в частной благотворительности.

При всей моей нелюбви к соревновательности меня особенно разочаровало то, что в Советском Союзе был совершенно обязателен ее искусственный вид, призванный, при отсутствии стимулов рыночной экономики и безработицы, заставить людей работать больше и лучше и существовавший как внутри предприятий, так и между ними. Назывался он "социалистическое соревнование", но это не было соревнованием, оно не несло в себе ничего от социализма и совершенно не стимулировало производство, а лишь рождало в людях неприязнь и зависть.

Но наибольшим моим разочарованием в этой стране было то, что ее общество так и не породило человека нового типа. Человек социализма, в сущности, ничем не отличался от своего капиталистического собрата. Я увидел те же инстинкты, желания, амбиции, добродетели и пороки. Разница лишь поверхностная. Никакой "новый" человек не появился, и до тех пор, пока этого не случится, никакие попытки построить царство справедливости не увенчаются успехом. Конечно, есть люди-исключения, готовые к новому обществу, но они существовали всегда и везде. Всегда были люди вроде Алеши из "Братьев Карамазовых" или князя Мышкина из "Идиота", Дональда Маклейна, Пэта Поттла, Майкла и Энн Рэндлов или матери Терезы, но они – лишь предвестники грядущего. Это лишь доказательство того, что человек несет в себе потенциал представителя лучшего общества. Когда оно будет построено, никто не знает. Но я уверен в одном: человечество еще вернется к этому идеалу. То здесь, то там будут предприниматься новые попытки построить коммунизм, поскольку внутри нас – каждого из нас – живет инстинктивная жажда его.

Спросите кого-нибудь, верящего в загробную жизнь, как он ее себе представляет. Он может оказаться ярым реакционером, даже самой миссис Тэтчер, но опишет вам то, что, по сути, и является коммунистическим обществом, где все равны, где нет богатых и бедных, борьбы и войн, зависти и ненависти. Это значит, что сей идеал живет внутри нас и заставит человечество вновь и вновь стремиться к нему. Тогда Октябрьская революция будет изучена заново, люди извлекут из нее уроки, и это поможет им в дальнейшем избежать ошибок. Одной из них, на мой взгляд, главной, было то, что людей пытались силой впихнуть в "смирительную рубашку" социализма. Если опыт последних 70 лет нас чему-то научил, – так

это тому, что коммунизм нельзя насадить силой, жесткой дисциплиной или террором. Люди сами должны выработать в себе необходимые моральные стандарты. Лишь когда эта перемена произойдет в результате естественного процесса духовного роста, может быть построен коммунизм, и только тогда он будет прочным.

А как же жертвы, невыразимые страдания, которых потребовал этот эксперимент? Неужели все напрасно? Отвечу на это вопросом. Разве было хоть одно сколько-нибудь масштабное начинание, не повлекшее жертв и страданий? А создание могучих колониальных империй? А Великая французская революция или промышленные революции? А распространение важнейших мировых религий? За примерами далеко ходить не надо... Разве все это не сопровождалось огромными жертвами и невыразимыми страданиями?

Что касается моего отношения к религии, то оно не изменилось. Время от времени я хожу на службы в русскую православную церковь. Я делаю это ради прекрасного ритуала и красивого пения, а не потому, что опять стал верующим. С другой стороны, я и не атеист. Верующего и атеиста объединяет, на мой взгляд, то, что оба утверждают вещи, которые никто не может проверить. Есть или нет Бог и тот свет, нам дано узнать лишь в час смерти или же мы ничего не узнаем вообще. Сказав это, должен признать, что я больше склонен верить в Бога как в Высшее Существо, Творца Неба и Земли, чем в то, что его нет. Мне трудно поверить, что Вселенная, частью которой мы являемся, образовалась случайно. Но мой Бог, если он есть, – это не Бог христиан, хотя я и полностью согласен с великолепным псалмом 89: "Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог". Бог, как я Его себе представляю, – это не тот Бог, которому мы можем молиться, прося о милости или о предотвращении несчастья. Он непоколебим, и ни наша воля, ни наши просьбы не заставят Его изменить Свои извечные цели. По-моему, при обращении к Нему допустима лишь одна молитва: "Да будет воля Твоя", – произносимая не с мольбой, а как констатация факта, с полным приятием ее и со смиренным подчинением ей.

Как я уже говорил, годы, проведенные в этой стране, где я живу среди русских людей, как один из них, оказались самым счастливым и спокойным периодом в моей жизни. Думаю, что мои русские друзья извинят меня за сравнение, но

связь с этим народом подобна любви к красивой, но немного взбалмошной женщине, с которой я разделил свою судьбу и с которой буду пребывать, что бы ни случилось, и в радости и в горе, пока нас не разлучит смерть.

Я распорядился, чтобы после моей смерти меня кремировали, а прах развеяли в лесах рядом с моей дачей, где я так часто гулял и катался на лыжах с женой и сыном. Тогда можно будет сказать: "Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его"*.

---

* Библия, Книга Иова, гл. 7, стих 10.

Исповедь разведчика, или Двадцать лет спустя...

Впервые я, как и подавляющее большинство моих соотечественников, узнал о Джордже Блейке в 1970 году из публикации в "Известиях", в которой подробно рассказывалось о его поистине фантастической жизни – участник голландского Сопротивления, офицер королевских военно-морских сил Великобритании, преуспевающий сотрудник британской разведслужбы (СИС) и, наконец, – агент КГБ, отмеченный орденами Ленина, Боевого Красного Знамени и многими другими наградами СССР. Но, пожалуй, самым поразительным был его сенсационный побег в октябре 1966 года из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс, где он отбывал отмеренные ему английской Фемидой 42 года заключения.

Менее всего мог я тогда предположить, что судьба сведет нас в стенах ИМЭМО АН СССР, где я долгое время работал, и что мне доведется по просьбе Джорджа написать о книге его воспоминаний. Кстати, о предстоящей публикации мемуаров Блейка было объявлено тогда же, в 1970 году, "Известиями". Обещанного, говорят, три года ждут. На этот раз ожидание затянулось на два десятилетия. В конечном счете книга Блейка от этого лишь выиграла. Истекшие годы позволили автору существенно обогатить фактический материал, уточнить свои позиции, а быть может, в чем-то и пересмотреть их. Выход книги Блейка в настоящем виде стал возможен лишь в условиях духовного обновления нашей страны, гражданином которой он является без малого четверть века. Опубликуй Блейк свои воспоминания тогда, в годы застоя и ожесточенной конфронтации между Востоком и Западом, мы многого бы так и не узнали. Да и сам автор,

думаю, не испытал бы удовлетворения, потому что вынужден был бы искусственно подгонять свою сложную жизнь под жестко заданную схему – заданную даже не "товарищами" (так Джордж называет своих коллег из КГБ), а самой обстановкой "холодной войны" с ее безжалостными, антигуманными законами.

Воспитанные на умело культивируемой романтизации жизни разведчиков, мы долго не могли понять, что Рихард Зорге, Шандор Радо, Ким Филби, Джордж Блейк и многие другие не только герои, но и жертвы "холодной войны", начавшейся еще за тридцать лет до знаменитой фултонской речи Черчилля. Кому-то из них повезло больше (Филби), кому-то меньше (Леопольд Треппер), кому-то совсем не повезло (Зорге), но, в сущности, все они – люди с изломанными судьбами, заслуживающие скорее сострадания, чем восхищения, особенно те прежде вполне благополучные иностранцы, кто по различным причинам связал свою судьбу с нашей нелегкой судьбой.

Будущие историки "холодной войны" не смогут обойтись без важных свидетельств активных ее участников из числа бойцов "невидимого фронта" с той и другой стороны. Эти свидетельства тем более важны, что они весьма редки. Бессмысленно резонерствовать о безнравственности разведки и контрразведки, являющихся непременными атрибутами любого государства на протяжении многих столетий. Спецслужбы не более и не менее безнравственны, чем использующая их государственная власть. Они таковы, какова эта самая власть, будь то СД в гитлеровской Германии или БНД времен Аденауэра, НКВД при сталинщине или КГБ эпохи Брежнева, ЦРУ – ФБР в разгул маккартизма в США или британская СИС в годы "холодной войны"...

И все же нравственную сторону дела нельзя игнорировать. Книги бывших разведчиков интересны не только уникальным фактическим материалом по истории "холодной войны"; они незаменимы и как свидетельства морали, господствовавшей в ту печальной памяти эпоху, нравов самих спецслужб.

Известно, что мемуары – и здесь почти не бывает исключений – пишутся прежде всего для оправдания своей жизни в глазах современников и потомков. Отсюда и весьма осторожное отношение историков к мемуарным источникам, нуждающимся в строгой проверке. По понятным причинам воспоминания разведчиков (или контрразведчиков) труднее поддают-

ся проверке, чем, скажем, мемуары ушедших на покой государственных деятелей. Но что всякому мемуаристу трудно скрыть, так это свой нравственный, человеческий облик. Читая, например, воспоминания Кима Филби, невольно чувствуешь мотив некоторого самолюбования автора, не скрывающего, или неумело скрывающего, свою гордость за то, как долго и успешно он дурачил своих коллег по СИС. Я не был лично знаком с Филби, но убежден, что всякая книга, тем более мемуарного характера, несет на себе отпечаток личности автора.

Это в полной мере относится и к воспоминаниям Джорджа Блейка, проникнутым скорее грустной иронией по отношению к самому себе и прожитой жизни. Перед читателем предстает много повидавший и много переживший человек, любящий как бы в шутку повторять: "Не стоит принимать все слишком серьезно". Именно так он обычно пытается успокоить кого-то из друзей, оказавшихся в трудной ситуации. Кто знает, может быть, в этом житейском убеждении содержится ключ к разгадке нелегкой судьбы самого Джорджа Блейка?

Не являясь специалистом в области "тайной войны", не берусь профессионально судить об этой стороне деятельности Блейка, отмеченной, как я уже говорил, многими высшими государственными наградами СССР. Об этом с бóльшим знанием дела могли бы рассказать соратники и коллеги Блейка из КГБ.

Догадываюсь, правда, что самыми уязвимыми местами в исповеди Дж. Блейка могут показаться те, где он объясняет причины и мотивы своего перехода на "нашу" сторону в начале 50-х годов. В самом деле, жил человек тридцать лет антикоммунистом, даже активно боролся с этим самым коммунизмом, и вдруг в одночасье на него снизошла марксистско-ленинская благодать, круто переменившая всю его жизнь.

Что тут скажешь? Легче всего заподозрить автора в неискренности. Вот если бы марксово учение осенило Блейка на студенческой скамье, как это случилось с Филби или Маклейном, тогда, мол, другое дело... Гораздо более вероятной коллегам Блейка из СИС после его разоблачения представлялась версия о насильственной его перевербовке под угрозой смерти. Ему прямо предлагали принять эту версию и держаться ее на суде, что сулило снижение срока заключения до разумного предела. Блейк не ухватился за брошенную ему соломинку и тем самым добровольно навлек на себя невиданный в новой

истории Англии приговор – 42 года тюремного заключения. Что это – безумие, упрямство или то и другое вместе?

Думаю, ни то, ни другое. Скорее, чувство элементарного достоинства и самоуважения. Вдумаемся еще раз: провозглашение на суде своих коммунистических убеждений гарантировало Блейку дополнительно долгие годы заключения. И все же он пошел на это, заставив даже противников уважать себя.

Конечно, не следует упрощать такие сложные вопросы, как смена мировоззрения или вероисповедания. Наверное, и мемуары Блейка дают основания так думать, это происходит исподволь, быть может, не всегда вполне осознанно для самого человека. Но вот наступает какой-то критический момент, и человек решительно отказывается от прежних убеждений во имя новой веры. И да простит мне читатель одно сравнение, но напомню, что Федор Михайлович Достоевский пересмотрел свои революционно-демократические воззрения под непосредственным воздействием процедуры смертной казни, устроенной, но в последний момент отмененной над ним и другими петрашевцами 23 декабря 1849 г. И пусть кто-нибудь докажет мне, что это было не так.

Или другой пример. Мы знаем множество случаев, когда в годы Великой Отечественной войны накануне боя, где они вполне могли погибнуть, беспартийные вступали в ряды ВКП(б). Меньше известны другие, далеко не единичные случаи внезапного обращения на той же войне отчаянных безбожников к Христу и его учению. Кто знает, сколько офицеров и солдат в 1945 году сменили свои мундиры на рясы священников и даже монахов? Те же примеры нам дала несчастная афганская война...

Один из моих давних друзей сел на шесть лет при незабвенном Леониде Ильиче как неистовый марксист-ленинец и, достойно пройдя от звонка до звонка мордовские лагеря и Владимирский централ, вернулся смиренным христианином, каковым и остается вот уже полтора десятилетия. Нам, более или менее благополучно проживающим свой век, трудно понять, что происходит в душе и сознании человека, попавшего в экстремальные условия, но это непонимание еще не основание для неуважительного отношения к сделанному человеком выбору, каким бы он ни был.

Джордж Блейк сменил веру тоже в смертельно-критический момент своей жизни и, насколько я могу судить, до сих пор не раскаивается в сделанном выборе. Это тем более важ-

но подчеркнуть, что за спиной у Блейка уже более чем двадцатилетний опыт советской действительности. Не имея ничего общего ни с апологетами "развитого социализма", ни с фанатами необольшевизма, он исповедует гуманный социализм, продолжая убежденно говорить о коммунистической природе изначального христианства. Его последовательность и убежденность не могут не вызывать уважения.

Так или иначе, но объяснение Блейком обстоятельств его перехода к нам внушает доверие. Во всяком случае, никто на Западе, насколько я могу судить, не предложил более убедительной версии.

Оставляя в стороне вопросы, относящиеся к ведомству госбезопасности, ограничусь лишь некоторыми дополнениями к жизни Блейка в СССР и его работе в ИМЭМО, где мы познакомились и подружились.

Надо сказать, что "товарищи" поступили очень гуманно, разомкнув круг фактической изоляции Блейка в СССР после его побега из лондонской тюрьмы и приезда в Москву. Наверное, в его тогдашнем положении главным для успешного вживания в новую почву (а может быть, и самого выживания?) было чисто человеческое, а не только узкопрофессиональное общение. Это желанное человеческое общение Джордж обрел в ИМЭМО, оказавшись в обществе дружелюбно встретивших его научных работников. Там, кстати, работал и Дональд Маклейн, ставший старшим другом и наставником Джорджа в новой, советской жизни. Блейку по-настоящему повезло, что он оказался именно в ИМЭМО – одном из немногих в то застойное время островков относительного свободомыслия. Еще в 60-х годах там удалось собрать наших лучших политологов и экономистов-международников. Институт переживал пору расцвета, не ведая, что в 1982 году подвергнется идеологическому погрому, нанесшему ему тяжелый урон. Но тогда, в 1974 году, когда Блейк появился в институте, до всех этих потрясений было еще далеко.

Помню первоначальное смущение бывалого разведчика в связи с предстоявшей ему новой, неведомой для него работой, его тщетные попытки казаться незаметным в нашей среде. Увы, его старания не увенчались успехом, и дело было не только в сильном акценте, с которым новоиспеченный научный работник Георгий Иванович Бехтер (именно под этим именем он появился в ИМЭМО) говорил по-русски. В еще большей степени его подводили голландско-британская шко-

ла воспитания, присущие Блейку такт, вежливость, предупредительность, неизменная доброжелательность ко всем без исключения, наконец, мягкость в самых ожесточенных спорах, постоянно возникавших в нашей, считающейся вполне интеллигентной, среде, где тем не менее не всегда выбирали выражения. Блейка особенно отличало напрочь забытое у нас за последние десятилетия рыцарское отношение к женщине, что, разумеется, снискало Джорджу единодушную симпатию (если не сказать больше) многочисленных сотрудниц ИМЭМО. Каждый раз накануне Дня Победы, а также 11 ноября (его день рождения) Блейк покидает институт с охапками цветов, подаренных друзьями и коллегами.

Одним словом, он сразу же вписался в наш коллектив. Вписался до такой степени, что какой-то профсоюзный умник доверил Блейку "святая святых" – распределение продовольственных заказов. Поистине что-то сюрреалистическое было в том, как еженедельно озабоченный super spy по нескольку раз пересчитывал плохо ощипанных "синих птиц" и прочие "деликатесы", достававшиеся нашей научной братии от щедрот советской торговли. Как правило, что-то у него не сходилось, и тогда Блейк втайне от всех доплачивал из своего кармана в профсоюзную кассу недостачу, проистекавшую из-за царившей в этом деле общей неразберихи. Сам крайне редко бравший заказы, Джордж мужественно нес свою нелегкую вахту до того поистине счастливого для него дня, когда новый профорг, осознав с нашей помощью всю нелепость подобной ситуации, освободил Блейка от этой повинности. Впрочем, Георгий Иванович никогда не роптал. Думаю даже, что он совершенно искренне хотел разделить нашу жизнь во всех ее проявлениях. Так или иначе, но приход в ИМЭМО безусловно был благом для Блейка, обретшего новых друзей в новой для него среде.

Трудности поначалу были с профессиональной адаптацией вчерашнего разведчика, с его становлением как политолога. После некоторых колебаний Джордж остановил свой выбор на изучении проблем Ближнего и Среднего Востока. В короткий срок он стал одним из ведущих экспертов ИМЭМО по ближневосточным делам. Проблема была лишь с публикацией его статей и других материалов. Редакторы застойных лет всякий раз вставали в тупик от его непривычной манеры изложения. Русским языком Блейк худо-бедно овладел, но вот птичий язык советской печати оказался ему не по силам. Редакторы

безжалостно вымарывали из статей Блейка все указания на соответствующие места из Священного Писания или Корана, которые он считал важными для понимания происходящего на Ближнем Востоке.

Долгое время не придавали должного значения призывам Блейка учитывать в исследованиях важный фактор конфессиональных различий и оттенков внутри арабо-мусульманского мира. Блейк не склонен был, в отличие от некоторых наших ближневосточников, идентифицировать политику США и Израиля в этом регионе. С первого дня советского военного вмешательства в Афганистане он не одобрял эту безумную акцию, хорошо представляя себе все ее пагубные международно-политические последствия. Разумеется, в открытой печати он не мог в те годы излагать свою точку зрения, но в закрытых материалах, адресованных в "инстанции", Блейк, как и некоторые другие наиболее смелые политологи ИМЭМО, в той или иной форме высказывал свои соображения.

К сожалению, в силу разных обстоятельств Блейк не реализовал в полной мере свои возможности и не создал капитальное исследование по проблемам Ближнего Востока, хотя он, безусловно, является одним из наиболее авторитетных специалистов в этой области. Зато он нашел себя в новом, очень интересном издании, делающем честь ИМЭМО, – я имею в виду ежегодник "Разоружение и безопасность", постоянным автором и англоязычным редактором которого является Джордж Блейк.

Говоря о нелегкой судьбе Блейка, я всячески старался избегать слова "везение", считая его по меньшей мере бестактным в данном случае. И все же, думаю, без этого слова не обойтись, это означало бы сказать не всю правду. В многотрудной жизни Блейка везение играло не последнюю роль. Ему повезло, что он избежал встречи с гестапо в 1940–1942 годах как участник голландского Сопротивления; повезло, что в 1953 году выжил в северокорейском лагере, а в 1966-м благополучно бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс; повезло, что нашел убежище в СССР не в 30 – 40-х, а в 60-х годах; повезло, наконец, что нашел в себе силы вписаться в нашу нелегкую жизнь (это редко кому удавалось из иностранцев – коллег Блейка), стать полноправным гражданином нашей многострадальной Родины. Впрочем, во всех этих везениях очевиден огромный личный вклад самого Блейка – человека

удивительной стойкости и жизнелюбия, что не мешает ему философски-иронично оценивать прожитую жизнь.

Позволю себе оставить за скобками жизненные потери Джорджа – они столь же очевидны, сколь и невозвратимы. О них, как и о многом другом, советский читатель узнал из захватывающе интересной, честной и немного грустной исповеди старого разведчика.

Петр ЧЕРКАСОВ,
доктор исторических наук

мемуары

Джордж Блейк

ИНОГО ВЫБОРА НЕТ

Редактор *Е.В. Архипова*
Оформление художника *А.С. Яцкевича*
Художественный редактор *С.С. Водчиц*
Технический редактор *Т.С. Орешкова*
Корректор *Э.С. Казанцева*

ИБ № 1750

Сдано в набор 21.01.91. Подписано в печать 22.02.91. Формат 84 × 108 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Пресс-роман". Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80 + 0,42 вкладка. Усл. кр.-отт. 17,86 (в обл.), 18,06 (в пер.). Уч.-изд. л. 18,10. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1253. Цена в обложке 7 руб. Цена в переплете 8 р. Изд. № 33-Ю/90. Издательство "Международные отношения", 107078, Москва, Садовая-Спасская, 20 — фирма "Ариадна" СП Лесинвест. Отпечатано с готового оригинал-макета издательства "Международные отношения" в Минском производственном полиграфическом объединении им. Якуба Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.



8 р.

Этой книгой открывается
новая серия "Секретные миссии".
В ней будут публиковаться
книги о специальных службах
ведущих мировых держав
и их наиболее значительных
операциях.

СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ

Это будут мемуары и биографии
крупнейших разведчиков,
аналитические исследования,
воспоминания очевидцев
и участников событий.
Наряду с новыми работами
советских и иностранных авторов
в серию войдут еще
не издававшиеся в СССР книги.
Джордж Блейк и Аллен Даллес,
Гордон Лонсдейл и Клаус Фукс,
Маркус Вольф и Вальтер
Шелленберг, атомный шпионаж,
покушения на известных
государственных и политических
деятелей, борьба разведок –
эти имена и сюжеты о многом
могут сказать читателю.
В отборе книг и подготовке
публикаций принимают участие
известные писатели
и журналисты, издатели
и редакторы, а также
авторитетные специалисты
в данной области.


Джордж Блейк
ИНОГО ВЫБОРА НЕТ